

**Министерство высшего и среднего специального образования
Узбекский Государственный университет мировых языков
Ташкентский Государственный педагогический
университет им. Низами**

**Современный литературный процесс
(русская проза)
ХРЕСТОМАТИЯ**

**Составители:
Н.М. Миркурбанов, О.Ч. Хергай**

**Ташкент
MUMTOZ SO‘Z
2012**

УДК: 821.161.1
КБК 83.3(Рос=Рус)6

«Хрестоматия по современной русской литературе конца XX нач. XXI века» – первый опыт учебного издания «Современной русской литературы» в системе высшей школы Узбекистана. В структуре художественных текстов предъявлены разножанровые эпические произведения. Каждое указанное явление научно обосновано, сопровождается биографической информацией об авторе, контрольными вопросами по художественным текстам и краткой библиографией. В книге решен принцип преемственности школьного и вузовского (специального) образования.

Представленные в хрестоматии художественные тексты демонстрируют многоаспектность, сложность и многогранность литературного процесса конца XX – нач. XXI века (1990-2010).

«Современный литературный процесс: Хрестоматия» представляет собой учебное пособие со своей научно-методической базой. Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, магистрантов, соискателей, преподавателей филологических специальностей и может использоваться на занятиях по русской литературе в академических лицеях, колледжах, средних школах.

Составители:

Миркурбанов Н.М., Хегай О.Ч.

Ответственные редакторы:

***Доктор филологических наук, профессор Балтабаев Х.У.,
кандидат филологических наук, доцент Т.Я.Рахманов***

Рецензенты:

***Кандидат филологических наук, доцент А.В. Попов;
кандидат педагогических наук, доцент Е.А.Лагай***

ISBN 978-9943-398-80-2

© MUMTOZ SOʻZ, 2012

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное пособие «Хрестоматия по современной русской литературе конца XX и начала XXI века» представляет первый научно-практический опыт учебного издания по современной русской литературе в системе Высшей школы Узбекистана.

Структура данной «Хрестоматии» обусловлена целью и задачами данного издания – дать срез современной русской литературы (1990-2010), с наибольшей полнотой продемонстрировать через творчество разных художников развитие современной русской прозы. За основу взято состояние современного литературного процесса периода 90-х годов XX века – первого десятилетия XXI века, которое воссоздает во всем многообразии его жанровых и стилевых тенденций. Необходимость появления данного пособия была продиктована определенными объективными обстоятельствами.

Отсутствие отдельных изданий, поэтических альманахов и российских журналов («Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. в условиях постсоветского пространства на современном этапе, в которых публикуются, в основном, новейшие произведения современной литературы), знание которых предполагают учебные дисциплины «История русской литературы XX века», а также «Современный литературный процесс» – определяют актуальность данного издания. Взгляд на классическую литературу в вузовской методике и в современном литературоведении в целом сформирован. А новейшую литературу приходится «осваивать» самостоятельно, в режиме «сегодняшнего дня». Данная «Хрестоматия» представляет собой определенную помощь в освоении нового по тематике и проблематике материала.

И, наконец, материал, предлагаемый в пособии, может дать возможности индивидуальной работы с теми студентами (учащимся любого уровня), которые не ограничиваются обязательным программным минимумом, чувствуют потребность в самообразовании, хотят быть в курсе современной литературной ситуации, испытывают потребность в овладении читательской культурой.

В «Хрестоматии» представлены тексты писателей последнего десятилетия XX и начала XXI века, наиболее значительные явления в современном литературном процессе (все они номинировались или же были отмечены литературными премиями).

Самой большой трудностью для авторов данной хрестоматии был вопрос о принципе композиционной дифференциации и систематизации избранных писателей и произведений. Как известно, существуют различные варианты деления:

- по периодам (для данного пособия нецелесообразный, в связи с тем, что хронологические рамки достаточно конкретно определены: 90-е годы и начало XXI века);

- по литературным направлениям, отражающим мировоззренческие и эстетические взгляды писателей. Данный вариант кажется весьма спорным, в связи с тем, что ни одна из существующих ныне в современной критике концепций не имеет окончательной оценки и вызывает сомнения¹. Это обусловлено тем, что многие писатели не укладываются в рамки какого-либо одного направления (в частности, В.Маканин, А.Ким, Л.Петрушевская и др.);

- тематический принцип является также не достаточно убедительным и бесспорным, поскольку диапазон тем в представленных произведениях весьма широк и многопланов;

- и, наконец, процесс развития современной литературы, душается, еще не завершен, и картина литературной современности находится еще на стадии диалектического развития.

Учитывая сложившиеся перечисленные обстоятельства и факторы, был избран универсальный принцип расположения материала в алфавитном порядке, что, в первую очередь, позволит избежать навязывания направленных позиций и охватить наиболее ярких и знаковых писателей 90-х годов, независимо от типа сознания и, соответственно, художественного направления, от его «писательского статуса», возраста и т.д.; продемонстрировать все многообразие и жанрово-стилевые тенденции литературного процесса на современном этапе.

Литературный процесс современности актуализирует, на наш взгляд, художественные и эстетические искания 20-го столетия и пытается осмыслить его с точки зрения концептуальной закономерности, выявляемой в процессе диалектического развития, рас-

¹ См. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х начала 90-х годов XX века. – Минск, 1998; Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература (в трех книгах) – М., 2001; Черняк М.А. Современная русская литература. Санкт-Петербург–Москва: Сага-Форум, 2004; Колядич Т.М. Русская проза рубежа XX–XXI веков. – М.: Флинта-Наука, 2011 и др.

крывающей перспективные возможности литературы в аспекте ее новационных достижений.

В изучении современной русской литературы следует, видимо, отказаться от старых традиционных критериев, ощутить пространство живой, текущий словесности, которая создает новую эстетическую иерархию, почувствовать смену литературных знаков, представить литературный процесс в непрерывном диалектическом развитии.

Думается, утверждение современного критика, что «литературные жанры и стили сосуществуют одновременно», что «все существует сразу и развивается в разных направлениях»² звучит особенно остро и актуально.

Таким образом, тенденция литературной современности заключается в ее полифонической многозначности и многомасштабной выразительности.

Весьма примечательно, что в пособие наряду с именами известных писателей вошли и писатели молодые, но уже прославившиеся в читательской среде и определившие характер современной литературной культуры. Так, наряду с произведениями «старших» писателей (В.Астафьев, Ф.Искандер и др.) в пособие включены М.Бутов, Я.Мельник и др. Заслуживает внимания тот факт, что в пособие вошли произведения, получившие высокий резонанс в современной литературной культуре и критике. В частности, антиутопия Т.Толстой «Кысь», из которой была включена в текстовое пространство «Хрестоматии» глава «Слово», явившаяся кульминационной в системе художественно-эстетических координат произведения.

Каждый автор представлен наиболее характерным (с точки зрения современности и актуальности) произведением. Текстам предпосланы краткие биографические очерки, характеризующие основные моменты жизненного и творческого пути писателя, его стилевую манеру. Помимо биографической справки, по каждому писателю дана литература, содержащая критический аппарат по изучению творчества данного автора. Тексты, включенные в учебное пособие, представляют произведения в малом жанре (рассказ, новелла) или небольшой фрагмент крупных жанров (повесть, роман).

² Эпштейн М. *De vit de siecle или от пост – к прото. Манифест нового века* // Знамя. – 2001. № 5. С.78.

В заключение по каждому произведению составлены вопросы и задания, нацеливающие на раскрытие идейно-тематического содержания, его проблематики и стилистических особенностей.

Настоящее пособие – это лишь попытка раскрыть модель литературной современности в режиме реального времени, движение которого обуславливает бесконечный, живой процесс литературного развития.

Пособие многоадресно: оно обращено к студентам и магистрантам гуманитарных специальностей, но в то же время может быть использовано как методический материал учителями и вузовскими преподавателями. Его можно использовать при чтении альтернативных курсов, подготовке спецкурсов и спецсеминаров. Оно рассчитано также на читателей, интересующихся современным литературным процессом.



Виктор АСТАФЬЕВ

Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Красноярского края, умер 29 ноября 2001 года там же. Участвовал в Великой Отечественной войне. Первая книга была опубликована в 1953 году (сб. рассказов «До будущей весны»). Последующие книги рождаются из памяти о детстве и войне («Перевал», «Стародуб», 1959), «Звездопад», 1960; «Кража», 1966; «Где-то гремит война», 1967; «Пастух и пастушка» 1971). В них главное внимание писателя приковано к теме устойчивых ценностей, укрепляющих человека в его жизни на земле» (Г.Белая). Теме природы посвящена «Царь-рыба» (1975).

В произведениях Астафьева последних лет («Людочка», «Прокляты и убиты», «Веселый солдат», «Затеси», «Пролётный гусь») на первом плане общественно-политическая и этическая функции. Он продолжает традиции русской классической литературы, определяющими чертами которой были и остаются законы правды и совести, высокая нравственная требовательность.

Цикл «Затеси» печатается по изданию: В.Астафьев. Затеси // Новый мир. – 1998. №8; 2002, №2; 2001. №7

Из цикла «Затеси» приводятся только те рассказы, которые повествуют о судьбе русских поэтов: Н.Рубцова, Л.Ошанина, Е.Куренного.

Литература

1. Корякина М. Астафьева свет в далеком окне // День литературы. – 1999. №5.

2. Уроки великого простого. В.Астафьев в беседе с корреспондентом «МН» Ю.Васильевым // Московские новости. – 1999. №16, 27 апреля.

3. «Если хватит сил...» (Беседа В.Астафьева с М.Ремизовой) // Независимая газета. – 1999. № 79, 20 апреля.

4. Липовецкий М. Растратные стратегии, или метаморфоза «чернухи» // Новый мир. – 1999. № 11.

5. Астафьев В. Сейчас в обществе состояние усталости (Беседа с Г.Сопроновым). // Литературная Россия. – 2000. № 41, 13 октября.

ЗАТЕСИ

Урок

Не сразу, постепенно поэзия Николая Рубцова входила в каждый местный дом, и прежде всего в дома волгоградских литераторов. Для того, чтоб войти ей в большой дом России, надо было умереть. Обычное для нас дело.

В литературных волгоградских кругах у каждого писателя появилось «свое» рубцовское стихотворение. Чтобы не внести путаницы, не буду перечислять, кто чего читал рубцовское, но я читал и читаю «Вечерние стихи». Марья Семеновна своим небогатырским голосишком пела «Отцветет да поспеет на болоте морошка, вот и кончилось лето, мой друг...», и у нее славно, прочувственно получалось именно это творение. Со смерти дочери она больше не поет, а молится по уграм за здоровье тех, кто жив, за упокой своих многочисленных родичей. Она не была истовой коммунисткой, почитала верующих отца и мать, против Бога никогда не выступала, и, я уверен, Он простит ей её невольные прегрешения и всяческие нарушения святых канонов и заветов. Право же, она заслужила это своей праведной жизнью и хотя бы тем, что за жизнь свою не произнесла ни одного хульного слова против Бога.

Николай Михайлович среди других читал иногда стихотворение, еще без названия, о вечере, о Вологде – реке. Пока еще оно «плавало», в нем не было наполнённости чувством, вроде как стержень отсутствовал, однако поэт не отставал от этого произведения, оно прикипело к нему, и однажды громко, почти с восторгом, сияя своими смородиновыми глазами, он прочел законченное поэтическое создание.

Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смирение и тоску,
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет,
Я уплыву за Вологду – реку!
Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я, пожалуй что некстати,

Так много лет – не больше чем знаком.
Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.

От самого Николая, от вологодских ребят я узнаю причудливую, по-российски дурацкую, историю сложения этого не только мною любимого стихотворения, но мною в особенности.

Распределивши всех вологодских писателей, как оседлых, так и приезжих, по квартирам, в том числе и холостых, незамужних либо в силу изгибов жизни овдовевших, руководство города решило пристроить под крышу и самого бесприютного, скитающегося поэта Рубцова. Комната с подселением досталась ему за Вологдой-рекой. Николай этому обстоятельству несказанно обрадовался: плавать, мол, буду по реке – и стихи рекой потекут. Ан судьба – злодейка, и тут взяла поэта на излом, и тут ему подсунули испытание, да еще какое!

Соседом по квартире – оказался инструктор обкома партии, этакий, типичный выдвиженец из низов в плотные непоколебимые ряды. Колю, значит, ему соквартирантом подкинули.

Расставил свои небогатые мебели и хрустали партдеятель, похвальные грамоты приколотил, коврик, хотя и не персидский, повесил, за шесть двадцать в магазине «Уют» купил, не поспешил. Уютненько так все получилось, и для полноты радости квартирновладелец, недавний обитатель отдаленного района, решил познакомиться с тем, кого ему дали в придачу.

Слышал, что поэта, правда, пока ничего у него не читал и вообще на какую-то поэзию у него не хватает времени, да и стишки он со школы запоминал тугο; честно сказать, ни одного так и не запомнил до конца.

Поправил галстучек заречный, новожитель и прямо в жилетке, по-свойски, по-домашнему отправился к поэту в гости. Тот пьяненький лежит на совершенно изувеченной раскладушке, в углу к стенке прислонена старая икона, две – три связки книг, на полу стакан, явно «уведенный» из автомата с газировкой, недопитая бутылка вина. Большая бутылка с криво прицепленной наклейкой, и название на ней внушительное – «Мицное»

Более всего квартирновладельца поразил даже не поэт, а раскладушка, прогнутая почти до полу совсем невнушительным телом. Половина, если не более, пружинок из раскладушки была вырвана с мясом и болталась по бокам, при шевелении издавая скорбящий звон. Почтенному гостю и в голову не могло прийти, сколь грандиозную работу выдержала эта раскладушка, нещадно эксплуатируемая как самим ее обладателем, так и сладострастниками – гостями, по темпераменту с которыми, хотя они и из северных народов происходят, сравниться могут разве что африканцы.

Гость робко представился поэту, тот плеснул в стакан какой-то горючей смеси и, сказав «Ваше здоровье!» – хлопнул содержимое, не предложив, однако, гостю выпить.

В этих делах Коля был бит и натаскан, знал, кого угощать в расчете на ответное угощение. От этого хмыря, в галстук и в жилетке с пуговками хреп чего дождешься, этот явно не попутчик, и не контактировать им в дальнейшей жизни.

– Как же вы так? – несмело начал свою проповедь гость, ведь на то и партдеятель, пусть и маленький, чтоб вразумлять людей, учить их правильно жить.

– Чего как?

– Да вот не прибрались, не устроились – и уже новоселье справляете, – смягчил гость упрек.

– А твое, какос дело? Я не новоселье справляю, не пьянствую, я думаю.

– О чем же?

– А вот думаю, как воссоединить учение Ленина и Христа, а ты मुदак мне мешаешь.

Не сразу партдеятель пришел в себя после тирады поэта, заикаться начал.

– Ды – да ка – ак вы можете? Я честный партийный работник, я...

– Запомни, рыло честных партийных работников не бывает. Бывают только честные партийные дармоседы. И уходи отсюда на...

Разумеется, после такого диалога никакого милого соседства получиться не могло. Партийный ярыжка накатал на Рубцова жалобы во все инстанции, и в Союз писателей тоже, с крутыми обвинениями соквартиранта в оскорблении партии, несоблюдении квартирного режима, словесной развязности, доходящей до нецензурных выражений.

Послание это в Союзе писателей было зачитано вслух, при скоплении народа нашим воеводой Романовым, и осмеяно, и обмыто. Однако ж воевода наш сам был партиец, его поволокли в самое красивое помещение города, где раньше размещалось Дворянское собрание, ныне обком, сделали соответствующее внушение.

Вернувшись из высокой партийной конторы с испорченным настроением, начальник писателей глянул строго на братию свою, хлопнул какой-то книжкой о стол и послал подвернувшегося под руку молодое дарование в магазин за вином, сказав отрешенно» Без пол – литра тут не разобратся».

Народ был удален из творческого помещения, поэт – бунтарь и отец наш, слуга творческого народа, остались наедине – для конфиденциальной беседы.

О чем они беседовали, ни тот, ни другой нам не доложились.

Рубцов все реже и реже стал навещать в свою келью за рекой, снова превратился в бесприютного бродяжку, ночевал у друзей, у знакомых бабенок, бывал, реденько правда, в доме у начинающей поэтессы Нелли Старичковой, работавшей медсестрой в местной больнице. к ней он относился с уважением, может быть, со скрытой нежностью. Здесь его не корили, не бранили, чаем поили, маленько подкармливали, если поэт был голоден, но бывать часто у Нелли, живущей с мамой, он стеснялся. Загнанность, скованность, стеснительность от вольной или невольной обязанности перед людьми – болезнь или пожизненная ушибленность каждого детдомовца, коли он не совсем бревно и не до конца одичал в этой разнообразной, нелегкой жизни.

Недосыпал поэт, недоедал, обносился, чувствовал себя неполноценным, от этого становился ершистей, вредней, гордыня ж стихотворца непомерна, как кто-то верно заметил.

Была у Рубцова любимая обитель для приюта – ресторан «Поплавок» на дебаркадере. Приют этот достоин некоторого внимания и пристального изображения.

Стоял дебаркадер на реке Вологде, ниже так называемой Золотухи, про Золотуху тут пелось, « Город Вологда – не город Золотуха – не река», далее там непристойность идет – ныне неприличий на Руси столько, что я попушу с самой значительной частью напева, тем более, что Золотуха и в самом деле не река. Вал это, канава, вырытая во времена Ивана Грозного при строительстве

здешнего уютного кремля и Софийского собора. В Золотуху волжжане сливали все, что можно и невозможно. И все это добро выплывало в Вологду – реку. Двухэтажный дебаркадер стоял почти на окраине, в конце города, сама же река малопроточная, глубокая, в ней зимней порою без всякого загона и притона отставивался местный флот, и его не мяло ледоходом, потому как никакого ледоходу тут и не происходило, лед просто иставивал, рассасывался, исчезал, флот оказывался на плаву и дебаркадер на месте.

От берега к дебаркадеру из прогибающихся плах был сооружен широкий помост, поверх которого наброшены трапы, на корме дебаркадера кокетливо красовался деревянный нужник с четко означенными буквами:

«М» и «Ж», который никогда не пустовал, потому как поблизости никаких сооружений общественной надобности не водилось.

С дебаркадера в особенности с кормового сооружения, с головокругительной высоты любили нырять ребятишки. Разгребая перед собой нечистоты, вынесенные Золотухой, натуральное дерьмо, плавающее вокруг дебаркадера, шпыли вдаль будущие граждане Страны Советов.

По набережной набиты широкие щиты с запрещением купаться. В газете «Красный север» почти еженедельно печатались устрашающие статьи о вредности здешних вод. Но ни что не могло удержать мятежный вологодский люд от желания освежиться в воде родной реки.

Вот здесь-то на втором этаже дебаркадера, располагалась забегаловка, называющаяся рестораном, и занавески на окнах тут были, несколько гераней с густо насованными в горшки окурками, горячее тут подавали и горячительное, это самое «кадуйское вино».

Большой мистификатор был Рубцов, по-современному говоря – травила. В его сочинении «кадуйское вино» звучит как бургундское иль, на худой конец, – кахстинское. А вино это варили в районном селе Кадуй еще с дореволюционных времен из калины, рябины и других растущих вокруг ягод, настаивали в больших чанах, которые после революции мылись или нет – никто не знал. Во всяком разе, когда однажды, за неимением ничего другого, я проглотил полстакана этого зелья, оно остановилось у меня под грудью и никак не проваливалось ниже. Брюхо мое, почечуй мой и весь мир противились, не воспринимали такой диковинной настойки.

Но главной достопримечательностью «Поплавка» были все же его хозяйка и распорядительница Нинка. Блекленькое, с детства заморенное существо с простоквашно-кислыми глазками, излучавшими злое превосходство и неприязнь ко всем обретающимся вокруг нее людям и животным, она была упряма и настойчива в своем ответственном деле.

Из еды в «Поплавке» чаще всего подавались рассольник, напоминающий забортную жидкость реки Вологды, лепешку, называемую антрекотом, с горошком или щепоткой желтой капусты, сверху в виде плевка, чем-то облитой, и мутно – розовый кисель с не промешанным в нем крахмалом в глубине напоминающим обрывки глистов. Случалось на закуску подавали две шпротины, кусочек селедки с зеленым луком или на какой-то хирургической машинке тонко-тонко нарезанный сырок. Три кусочка, разбросанных по тарелке. Считать Нинка умела, но по экономическому соответствию далее трех счет в уме у нее не шел. Она таскала за собой старые, грязно облапанные счета, на которых косточки по проволочным поперечинам проталкивались с большим усилием. Но, тем не менее, Нинка, лютая воровка, изображала честность, считала каждому клиенту по отдельности, чего и сколько он съел и выпил. Протаскивая косточки по проволоке, она отворачивалась к окну и отчужденно роняла «Руп семисот». А дебаркадер-то на реке стоит, по нему флот туда – сюда движется, народ все более поспешливый в «Поплавок» заходил: геологи, сплавщики, разные артельщики и просто колхозники иль северные зимогоры. Грамотей-геологи иль гидрологи, геофизики – разный грамотный народ – говорят Нинке:

– Нас десятеро, вот и возьми сразу семнадцать рублей, да и отпусти нас с Богом.

– Н – нет, я точный шшот люблю, штабы без притензий, штабы не говорили, што обшшиытала, – и мурыжила клиентов, мучила до психоза, получая от этого натуральное наслаждение.

Вот сюда, в это заведение, и любил захаживать поэт Николай Михайлович Рубцов. Сидит себе за столиком, подремывает, иль стихи слагает. Дебаркадер покачивает на волнах, сотворенных мимо пробегающими катерами. А когда и пароход плицами зашлепаст, машиной запыхтит. Пароход старых времен и назван в унисон работе Рубцова именем «Шевченко».

Превратившись сызнова в бродяжку из-за того, что квартиродержатель за речкой не терял надежды перевоспитать соквартиранта в духе учений великого мыслителя Маркса и приблизить к идеям коммунизма. Коля все чаще и чаще уплывал за Вологду – реку, ютился в ресторане «Поплавок». Переезжал он через реку на сооружении, напоминающем деревянное корыто, покрытое тесом, посреди которого торчала тонкая палочка, и на ней горела тусклая лампочка.

Я жил не далеко от пристани, и всякий раз, когда доводилось провожать Колю за реку, на этом углу, смиренном суденышке, и огонек постепенно тускнел во мраке, исчезал в надмирном пространстве, мне хотелось отчего-то заплакать. Поэзия – дитя несказанное, рождаемое в муках, в озарении мало кому ведомом, из чувств необъяснимых, что смешно делается, когда люди на школьных уроках иль в длиннющих статьях и монографиях доступно, как им кажется, объясняют Пушкина, разбирают Лермонтова, постигают Державина, заодно и поэтов далеких времен – Данте, Петрарку, Байрона, Шелли, Петефи иль Бернса.

Сам поэт объяснить не может, что тут к чему и откуда возникло, примется тайну свою растолковывать, нагородит с три короба, сочинит что-то упрощенное, народу понятное, и чего ж тут учителку, даже многоначитанную винить. У нее профессия такая, доносить, разбирать...

И вот в один не очень погожий вечер, не сойдясь в идеях с соседом, переругавшись с ним в пух и прах, усталый, не выпавшийся поэт Рубцов, переплыв через Вологду – реку – отнюдь не на катере, а на допотопном сооружении, – прилепился в «Поплавке» за угловым столиком, покрытым пятнистой тряпкой, именуемой скатертью, заказал себе винца, антрекот, а поскольку ножа тут не выдавали, поковырял, поковырял вилкой антрекот этот самый, да и засунул его в рот целиком, долго жевал и достиг той спелости, что он проскочил через горло в неприветливое брюхо и осел там теплым комочком. Чтобы смягчить ободранное антрекотом горло, Коля налил еще в стакашек и сопровождал закуску винцом, после чего облокотился на руку, да и задремал умиротворенно.

Приходил в «Поплавок» и уходил народ в плащах и телогрейках, в длинных сапогах и ботинках, с котомками и без котомок. Поэт все это движение замечал и отмечал своим тонким слухом, но потом вовсе погрузился в глубокую дрему, может, и в сон.

Нинку скребло по сердцу, ох как скребло! Не может она видеть и терпеть, чтоб во вверенном ей заведении спали за столом. Тут что, заезжий дом колхозника иль гостиница какая-нибудь? Бегала, фыркала, головой трясла Нинка, стул нарочно на пол уронила – не реагирует клиент. И тогда она кошкой подскочила к нему и со словами: «Спать сюда пришел?» – дернула его за рукав, за ту руку, на которую он щекой опирался. От редкого приятного сна на ладонь поэта высочилась сладкая, детская слюна, от неожиданности и расслабленности Коля тюкнулся носом в стол и мгновенно, не глядя, ударил острым локтем Нинку, да попал ей полдых – унижать много униженного бывшего подзаборника – занятие опрометчивое, по себе знаю.

Похватав ртом воздуху, Нинка огласила «Поплавок» визгом:
– О – ой, убили! О – ой, милиция!

Милиционеры чаще всего попарно дежурили на пристани, но на тот момент их, Слава Богу, на месте не оказалось, народ все больше геологического вида, в плащах, и здешний люд, знающий Рубцова, начал заступаться за поэта, кое-как успокоил Нинку. «Не убил же он тебя», – говорили добрые люди, кто-то добавил: «А надо бы». Увели поклонники поэта за свой стол, угостили, попросили почитать стихи и сами почитали, дойдя аж до Пушкина и Вийона. Ну, может, и читали Пушкина, а Вийона и не читали. Дивное звучное имя загадочного поэта помнил и вставил в стих Рубцов для экзотики и чтоб знали в столицах, что мы, провинциалы, тоже кой – чего читали и читаем.

Словом, все завершилось мирно и хорошо, только Нинка перестала после этого вечера пускать ненавистного клиента в «Поплавок».

Нынче уж нет на месте ни пристани, ни дебаркадера, ни «Поплавка», и где, кого сейчас обсчитывает Нинка, кому и где хамит, знать мне не дано.

Бог с ней, с бабой этой. Дело не в ней, дело в том, что буквально через несколько дней Коля заодно читал нам замечательное, не побоюсь сказать, звездное стихотворение, в котором он преподавал урок всем поэтам, читателям будущих времен, урок доброты, милосердия, сердечного, может, и святого освещения.

Поэзия не должна и не может быть злой, утверждает этим стихотворением поэт Рубцов.

Поглядите, каким грустным и ясным взором увидено здесь все, каким элегическим настроением, говоря старинным прекрасным слогом, овеяна каждая строка и все стихотворение в целом. И все в строку, все раздумчиво – складно, все звучит, льнет к сердцу и слуху. Простим Поэту, что вместо злобной бабы, Нинки трогательную Катю вставил, это имя хорошо тут рифмуется со словом «катер», возможно, он и любил это теплое имя, ну, восславил бурдамагу, назвав ее вином, да еще и кадуйским, ну, охваченный поэтическим восторгом, высветил тоску, бесприютность свою, корыто облагородил, и Вологду – реку восславил, и еще, и еще присочинил высокое, пронзив в очередной раз сердце русское, усталое и затверделое любовью к своей «тихой Родине».

Учитесь, соотечественники, у поэта Рубцова не проклинать жизнь, а облагораживать ее уже за то, что она вам подарена свыше и живете вы на прекрасной русской земле, среди хорошо Богом задуманных людей.

Я это говорю к тому, что в последние годы осатанение, охватившее Россию, проникло и в светлое окно поэзии. Ослепленные злостью люди пишут нескладные, лишённые чувства и нежности, облаивающие все и всех стихи.

И еще одна очень важная, отличительная особенность поэзии Рубцова. Когда он про себя писал «душа моя чиста» – это было истинной правдой, и белый лист его творений остался чистым. Как и всякий подзаборник – детдомовец, человек, послуживший на флоте, повкалывавший на советском производстве, побродивший по земле, пообретавшийся в общагах и разного рода «творческих кругах», он, конечно же, основательно знал блатнятину, арестантский и воровской сленг, но никогда и нигде вы в его стихах не найдете и отзвука словесного поганства, этой коросты, ныне покрывшей русский язык и оголтелое наше общество - и в первую голову, разнузданную эстраду.

В заключение для улады души повторю безраздельно любимого мной поэта Рубцова, строки из самого любимого мною стихотворения.

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,

И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

Поэты уходят от нас, как правило, несправедливо рано, на Руси часто трагично, но слово, сердце, озаренность жизнью, радость общения с людьми и природой, неиссякаемая доброта остаются с нами. Надо только почаще внимать поэтическому слову, впитывать его каждодневно, и тогда непременно мы станем лучше, чище, достойней и благородней.

Заматерелое зло

Жил да был на свете писатель Евгений Куренной. Он очень долго руководил Читинской писательской организацией, бился за ее сохранение, помогал, чем мог своему немногочисленному, но провинциально вздорному коллективу. Был он человек добрый, к себе располагающий и, кроме того, слыл заядлым рыбаком, норовил зацепить на блесну непременно таймсню, частенько и залавливал.

Чистый лицом, с яблочным румянцем, телом плотный, с крепкими руками, способными не только писать, но и тяжелую работу делать, за себя постоять.

Должность его не велика, но суетная, времени много отнимающая. Поработать ему удавалось лишь в выходные дни.

И вот однажды, в пятницу, к вечеру, он приехал на свой участок, именуемый у нас всюду дачей. Домик со столом, с печкой, с лежанкой-топчаном. Словом, хоромы по достатку. Но в тихом на загляденье месте Забайкалье, вроде бы, где и нет некрасивых-то мест. Присхавши на дачу, он загонял своего «жигуленка» в гараж, и машине, и гаражу было уже лет за двадцать – бегал транспорт и жив был только благодаря хорошему догляду. Я ездил с женой в отдаленный сильный совхоз и, хозяин нового тогда «Жигули», отец малого мальчика и муж молодой светловолосой жены, не мог налюбоваться на свою новую машину, скрыть гордость машиновладельца, все норовил он взлететь на своем боевом коне в гору, засхаты в такие места, где и грузовику не пройти.

И вот загоняет он своего изношенного «Жигули» в гараж, а сзади него являются два солдата, протягивают консервную банку, просят бензин – завести какой-то дизель. Женя откликнулся на просьбу без раздумий и подозрений. Открыл багажник машины и

только наклонился, чтобы взять канистру, как сзади его ударили топором по голове. Он еще вскинулся, обернулся, и его рубанули второй раз.

Два солдата, два дезертира, подавшиеся в бега, жили на дачах – тут их не найдешь. Пожили они и в домике писателя Куренного, все тут приiali, припали и решили овладеть машиной хозяина – раз уж писатель, то у него и машина должна быть соответствующая, не менее чем «Хонда» или «Фольксваген». Но их устроил и древний «жигуленок», на нем они отвезли труп в ближайший лес, неглубоко прикопали и поехали колесить по земле.

Глянешь на нашу дорогу, везде менты маячат пеше и омашиненно, палками машут, но на дороге вольно и безнадзорно. Убийцы проехали всю Читинскую область на всем тут известном «жигуленке», милиционеры тоже, видимо думали, что писатель непременно должен ездить на иномарке.

Тем временем дома поднялась тревога, и сын Жени успокаивал мать;

Мол, папа у нас умеет постоять за себя и все умеет, что надо уметь мужику

Но против подлости и сильный бессилен.

Приехали на дачу, в ней погром, и не простой погром, но с презрением ко всяким там интеллигентам, тем более писателям. На столе Жени лежала незаконченная рукопись, так два высокоумных, хорошо нашей злой действительностью подготовленных беглеца топили рукописью печку, брали с собой машинописные листы в туалет, подтирались ею, хотя там, на веревочке висел рулончик туалетной бумаги. Я вижу, явственно вижу, как они, ослабившись от удовольствия, зачитывали друг другу листы рукописи перед употреблением, шутовали, небось, не каждому, мол, повезет литературным произведением задницу подтирать. Но вот они сподобились.

Их задержали уже в Иркутской области, в узком месте над Байкалом, возле туристической базы «Листвянка». Тут много бывает иностранных туристов, и, следовательно, милиция бдит, проверяет едущий народ более внимательно.

Женя, Евгений Евстафьевич Куренной, пролежал в земле полмесяца. Подонки сразу сознались во всем, указали место «захоронения». Но ни на суде, ни до суда, ни в чем они не раскаялись,

ничего особенного не переживали, угрызений совести не испытывали. Да и о чем переживать-то? Наоборот, внутренние торжество испытывали – не кого-нибудь, но писателя угрохали, не каждому солдату так повезет.

Получая письма с угрозами выковырять мне последний зрячий глаз, уцелевший на войне, от злобствующего быдла и читая оголтелые статейки отставников в красноярской патриотической газете, самозвано поименованной народной, о том, что они, патриоты, как только вновь завладеют властью, всех неугодных им людей на лесоповал пошлют (редактор газеты – бездарный и подлый писатель, оголтелый демагог – сулится лично меня наказать строго за строптивость и непочтение к нему и к коммунистам), – я ничему не удивляюсь. Да и как удивляться, если общество, пройдя лагерную выучку, а лагерем была вся страна, творит не просто преступления, но преступления изощренно – эстетического порядка.

Когда-то Гоголь Николай Васильевич от бездушия и безвыходности воскликнул: «Скучно жить на этом свете, господа!» Николай Васильевич и в дурном сне не мог представить, что на этом свете жить сделается не скучно, а страшно – до того, что живые начинают завидовать мертвым.

Зачем меня окликнул ты?

Молодой красивый мужик в темно – красной рубаше с россыпью белых пуговиц, зажмурюсь, от всех отстраненный, пел песню мне незнакомую:

Зачем меня окликнул ты?

Это я, гонимый тоской, издалека прилетел в Сибирь, гостевал у любимой сестры в ее однокомнатной уютной квартире, и она, чтобы развезть меня, порадовать, созвала знакомых в гости

Красавица, добрячка, всем и во всем готовая услужить, сестра моя по застенчивости своей долго оставалась в девках, выскочила, наконец, нечаянно за нечаянного, нелюбимого человека и теперь куковала с ребенком одна. Подруги и друзья у нее сплошь разведенки и разведенцы – с незадавшейся жизнью, с несложившейся судьбой

И этот мужик или парень в нарядной рубаше, по профессии инженер, был только что оставлен, брошен женою – вертихвосткой, с двумя детьми брошен, с зарплатишкой инженерной, в такой же вот малосортной советской квартирке.

По роду – племени местный, плакать не умест, вот и выпевает долю – бездолье:

Зачем меня окликнул ты?
В толпе бесчисленной людской,
Зачем цвели обман – цветы?

Молчат гости, бабы сморкаются, платочки теребят, предлагают певцу, уже изрядно хмельному, еще выпить, душу размочить. Чья песня-то такая славная, спрашивают.

– Не знаю, – отвечает гость, – недавно явилась и уже народной сделалась.

Скоро я узнаю: песню эту написал насквозь комсомольский, всю дорогу бодрый поэт Лев Ошанин.

Здесь же, в Сибири, и свело меня с поэтом, в гостях у моего бывшего школьного учителя и тоже в дальнейшем бодрого поэта, воспевателя новостроек и ленинских мест. Оба они полуслепы были, выпивохи в ту пору ретивые. Это, видать, их и свело. Потом у нас случилась очень хорошая творческая поездка по обским местам. Большой творческой шайкой двигались мы по Оби на теплоходе, и за нами прилетел вертолет, чтобы кинуть нас к нефтяникам или рыбакам на выступления. С Левого хорошо и легко работать было. В какую аудиторию ни войдешь, везде под хлопанье народ скандирует: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».

И хочешь не хочешь, по желанию и призыву трудящихся говорить, петь песни, словом, общаться с народом приходится Ошанину, а мы, устроившись за его спиной, дрыхнем с похмелюги. Читать и говорить Лева умел зажигательно, с энтузиазмом, но однажды все же взмолился не могу, говорит, братва, больше вострублять, – и в Нарыме, на краю земли, пришлось вечер вести мне, однако народ все равно востребовал Лева, он пошел и, хотя;

Вяло уже, потопал и похлопал вместе с гостеприимным народом.

Он подарил мне добротню, почти роскошно изданный двухтомник своих стихотворений с сердечной надписью. Я листал книжечки, листал и говорю:

– Лева! Как это тебя сподобило написать такие шедевры, как «Дороги» и «Зачем меня окликнул ты?»

– Не знаю, – снова как бы виновато развел он руками, – с «Дорогами» тайна простая, как-то и где-то нечаянно добавилось к

известному слову это «эх», и песня, точнее, пока текст ее зазвучал в сердце. А Толя Новиков точно услышал мой звук. Ну а со второй, твоей любимой песней, как это часто в поэзии бывает, случай помог. Выходил в метро из вагона. Медленно выходил – вижу ж совсем хреново, – меня обогнала девушка, за нею парень, и она говорит ему, почти кричит: «Зачем ты меня окликнул? Зачем?» Я слова переставил – и пошло – поехало. Кнопка эта, даровитейшая баба Пахмутова, вставила песню в кинофильм «Жили-были старик со старухой», с экрана и пошла песня в народ.

Вопросы

1. Как раскрывается вопрос о роли поэта в обществе?
2. Отношение автора к вопросу о взаимоотношениях поэта с властью.
3. Что является объединяющим звеном в «Затесях»?
4. Какова судьба поэта в России?
5. Как раскрывается публицистическое начало в «Затесях»?
6. На чем основывается конфликт рассказа о судьбе поэта Николая Рубцова?
7. В чем В.Астафьев видит особенности поэзии Николая Рубцова?
8. Раскрыть смысл названия «Заматерелое зло», как он раскрывает авторскую концепцию?
9. В чем обвиняет Виктор Астафьев современность, поведав о трагической судьбе поэта Евгения Куренного?
10. В чем выражается народность поэзии Льва Ошанина?



Бежин (наст. фамилия Балдыкин) Леонид Евгеньевич (29.05.1949, Москва). Окончил в 1972 году Институт восточных языков. По образованию востоковед, выпустил по истории литературы и культуры Китая книги «Под знаком ветра и потока» (1982) и «Ду фу» (1987). В 1989-1990 годы был главным редактором издательства «Столица». Во «Всемирном биографическом энциклопедическом словаре» (М., 2000) отмечается, что книгам Бежина присущи «интеллектуальная атмосфера и нравственные поиски городской интеллигенции. Притчевость сочетается с детальным изображением быта». В конце 1990-х годов удивил читающую публику романом «Калоши счастья», в котором во весь голос прозвучала евангельская тема. Живет в Москве.

Сочинения: Метро Тургеневская. – М., 1979; Гуманитарный бум: Рассказы, повесть. – М., 1985; Тыквенное общество: Повести и рассказы. – М., 1989; Ангел Варенька – М., 1989; Калоши счастья (записки случайного философа). // Новый мир. – 1991, № 11.

В «Калошах счастья» (записки случайного философа) так именует себя рассказчик – раскрывается экзистенциальная философия одинокого существования. Здесь она воплощена в словах: «Одинокий человек у буфетной стойки. Один. И ничто не спасет его от одиночества». «Экзистенциальное постижение жизни», – так определил свою задачу герой Бежина. «Калоши счастья» печатаются по изданию: Л.Бежин. Калоши счастья. – Новый мир, 1991, №11. Текст печатается выборочно.

Литература

1. Елисеев Н. Мыслить лучше всего в тупике. // Новый мир. – 1999, № 12.
2. Клименко В. Несущие благую весть: (беседа) // Литературная Россия. – 2000, 26 мая.
3. Ремизова М. Детство героя: современный повествователь в попытках самоопределения // Вопросы литературы. – 2001, № 3-4.

КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

Почтенное занятие – запереться дома и засесть за свой «Тарантас» или «Историю двух калош», но в том-то и штука, что сам я не лев, и некая призрачная странность клонила меня в совсем иную сторону – клонила так же, как болотные огоньки заманивают путника в дебри волшебного леса. Сторону не литературную, а скорее фи-ло-со-фи-чес-кую. Извините, чуть было не сказал – фосфорическую, но если и сказал бы, то не очень бы и ошибся, потому что философия здесь особая, и мерцание, свечение (болотные огоньки) – ее вернейший признак.

И Сологуб здесь не тот картинно-классический, а помельче, без двойного «л», и из-за плеча у него выглядывает не златокудрый ангел, не муза с оливковой ветвью, а мелкий бес. Да и обстановка вокруг отнюдь не литераторская – не та, которую любят создавать жены преуспевающих писателей, усаживающие своих мужей за дубовые письменные столы с бронзовой лампой и мраморным чернильным прибором, укутывающие им ноги клетчатым пледом, устилающие пол кабинета толстым ворсистым ковром и увешивающие стены картинами в золоченых рамах. Нет, вместо дубового стола – убогая конторка со следами засохших чернил, вместо ковра и пледа – засаленный халат и стоптанные шлепанцы, вместо картин – пара пожелтевших фотографий под пыльным, надтреснутым стеклышком (...)

...Одиноким человек у буфетной стойки – вот наша экзистенциальная драма, разыгрывающаяся почти без слов, без жестов и движений по сцене, но куда более кровавая и страшная, чем драмы Шекспира. Кровавая – хотя на сцене не льется кровь, и страшная – хотя злодеи не вливают яд в ухо своим жертвам и призраки умерших отцов не являются детям, чтобы поведать тайну собственной смерти. Но в том-то и ужас, что все это – без слов, без жестов, без движений и даже без страстей – в безмолвии и бесстрастии. Никаких леденящих душу криков, воздетых к небу рук, проклятий и заклинаний – просто человек у буфетной стройки. Один. И ничто не спасет его от одиночества, не заслонит от ужаса собственного существования, и если говорить о том единственном чувстве, которое испытано им сполна, изведено до последних глубин, до самого донышка, то это – мучительное чувство жизни.

Жизнь, жизнь, жизнь – это становится похоже на навязчивую идею. Обо всем прочем люди давно забыли и лишь страстно хотят жить. Хотят – и не живут, хотят – и не живут. Появилось огромное множество неживших – жуткая, знаете ли, вещь! Просыпаться, завтракать, спешить на службу – и не жить! Не чувствовать этого рассеянного, растворенного в воздухе, именуемого счастьем, а износить свое счастье, как пару стоптанных калош...

Ради экзистенциального постижения я и совершал свои визиты: поднимался по лестнице, стучался в двери, расспрашивал и записывал в книжечку. Мне хотелось узнать не то, чего я не знал, а то, что очень хорошо знал; но в том-то и смысл избранного мною метода (социалистический экзистенциализм!), чтобы заново узнавать узнанное и описывать уже описанное.

Вот об этой-то жизни – в ее экзистенциальных ответах – мне и предстоит рассказать, и я чувствую себя летописцем семейства, одного из многих и почти *случайного*.

Собственно, и я отношу себя к летописцам такого семейства, состоящего из матери, отца и двоих детей, и надо заметить, что летописец я весьма обстоятельный, придирчивый и дотошный – из тех, кого на мякине не проведешь. – и помимо ответов моих собеседников, подчас уклончивых и противоречивых, полагаюсь на такие испытанные и надежные источники, как сочинения экзистенциальных философов и книги четырех евангелистов. Мое сочинение – не семейная хроника, не философский трактат, не затейливый роман с эпиграфом из Шекспира, а роман-существование, роман-жизнь, отличающийся от обычного романа тем, что автор должен описать эту жизнь в не событиях, а ответах, экзистенциальных и евангелических (...)

Вместе с чувством потери, вызванным смертью бабушки и жалостью к опустевшему подвалу, через несколько дней после похорон у меня появилось другое чувство, относящееся не столько к бабушке, сколько к отцу, и заключавшееся в том, что бабушка умер и это, конечно, большая потеря, но ведь отец-то у меня *остался*. Остался и даже стал мне ближе, хотя бабушка его вовсе не заслонял собою и не отдалял от меня, но тем, что он когда-то был, он словно бы отнимал частичку бытия у отца, и моему сознанию приходилось раздваиваться между отцом и бабушкой, чтобы вместить в себя – вобрать, втянуть, будто глоток воздуха сквозь стиснутые зубы, –

бытие обоих. Теперь же дедушки не стало, и поэтому частичка его бытия слилась с бытием отца, так же как сливаются контуры изображения в глазке фотоаппарата, стоит лишь получше навести объектив на резкость: покрутишь, покрутишь – и контуры сольются. Вот и два бытия теперь слились, и умерший дедушка стал для меня отцом, а отец – дедушкой.

Мне же – как опытному фотографу – предстояло лишь вовремя нажать на кнопку и сделать снимок. Иными словами, я должен был как бы узаконить и зафиксировать в сознании домашних и в своем собственном сознании то, что отец у меня теперь единственный и *последний*, а значит, и любить его надо иначе, чем прежде, – и любить, и жалеть, и *показывать*, как я его люблю и жалею. Но если выполнить первое условие мне было довольно легко и я постоянно чувствовал тайное стремление к отцу, доказывавшее, что он любим и жалеем мною, то второе условие казалось мне совершенно невыполнимым, и все попытки *показать* свою любовь и жалость оканчивались полнейшей неудачей.

Так в моем отношении к отцу возникла, обозначилась и стала причинять мне боль, словно распухшая миндалина, навязчивая экзистенция, рождавшая меж нами неуловимый холодок неловкости, отчуждения, взаимного неудобства. Да, да, миндалина припухла и мешает глотать – вот так же и нам с отцом словно бы что-то постоянно мешало, и если я с радостным криком бросался на шею матери, возвратившейся вечером с работы, а затем барахтался у нее на коленях, пока она снимала туфли и переобувалась в домашние шлепанцы, то к отцу я приближался слегка недоверчиво, опасливо и, может быть, даже неохотно, и когда он брал меня на руки и подбрасывал под потолок, я старательно и добросовестно смеялся, но одновременно с этим чувствовал странное желание заплакать.

Иногда мне казалось, что это желание появляется от слишком пылкой и восторженной любви к отцу, такому большому и сильному, способному меня так высоко-под самый потолок – подбросить, а затем поймать и поставить на пол. Сила и ловкость, которые я угадывал в руках отца, а также его высокий – в несколько раз больше моего – рост вызвали во мне смешанное чувство подавленности, зависти и невозможности с ним сравняться, придавая моей любви нечто женственное, затасанное, близкое к запретному обожанию. Такое обожание выплескивается лишь в беспричинных

слезах — вот почему и мне хотелось заплакать в тот самый момент, когда, подбрасываемый отцом, я с таким старанием выдавливал из себя натуженный и притворный смех. Иногда же желание это я как бы считал продолжением своей мстительной нелюбви к отцу, рождавшейся от неверия в то, что я его люблю, и словно заполнявшей пустую выемку, которая образовывалась на том месте, где должна была быть любовь.

Одним словом, в моем самолюбивом противоборстве с отцом, в моей восторженной любви к нему, смешанной со мстительной нелюбовью, обнажалось нечто ноздреватое, пористое, как пемза... вещество жизни.

Недоумение, собственно, и заключается в таком досадном неудобстве: привыкли, что в жизни все *так*, а оказывается-то — нет, не все... и есть нечто такое, что в это самое так упрямо не вмещается. Не вмещается, и все тут — страшно дело! Выходит, у других все так, а у тебя на самую малость — на мизинчик — не так, и сам ты не такой, как все остальные. Быть же не таким в обществе, где все *такие*, — весьма опасно, поэтому забудем скорее о досадном недоумении. Будем и попытаемся не вспоминать — как будто его и не было.

Я начинаю понимать, что события, разговоры, мысли и чувства — это и не жизнь вовсе, и глубоко заблуждаются те, кто, описывая и воссоздавая их, думает, будто они описывают и воссоздают жизнь. Какая чепуха! Какая детская наивность! Воссоздать жизнь можно лишь одним — единственным способом — проникнув в сердцевинку яблока и уловив то странное, потайное, скрытое, словно нежное семечко, под полупрозрачными чешуйками, что мы именуем экзистенцией. И я проник, я уловил, и вот передо мною возникает *ответ* сороковых годов, и когда я пытаюсь выразить их экзистенцию, мне вспоминаются слова отца, сказанные им в ответ на мои настойчивые — может быть, даже слишком настойчивые — просьбы объяснить наконец, а что же это такое — сороковые! И можно ли их с чем-нибудь сравнить, как подыскивают сравнение для причудливой лесной коряги, или сросшихся корней, напоминающих то голову медведя, то обросшего мхом лешего, то бабу-ягу в стуле. Поворачивают то так, то этак, разглядывают с разных сторон, покачивают головами, дивятся — и подыскивают: медведь, леший, баба-яга?! Так же и сороковые мне мучительно и непреодолимо хотелось сравнить — да так сравнить, чтобы почувствовать:

хоть я тогда и не жил, хоть меня тогда еще не было, но вот она, экзистенция! Вот она, голубушка, — у меня в кулаке!

— Представь себе черный, ноздреватый весенний снег, — глуховатым голосом сказал мне отец, откидываясь на подушки дивана, одной рукой обнимая меня за плечи, а другой поглаживая медный медальон в форме львиной морды, оттягивающий обшивку тугого валика. — Снег, сначала растаявший, смешавшийся с сором и грязью, а потом затвердевший до ледяной хрустящей корки, — это и будут сороковые!

Сказал — и я представил. Да, да, представил эту смешанную с грязью и сором, истончившуюся ледяную корку, и в моем крепко сжатом кулаке округлилась и набухла экзистенция.

И точно так же, как я угадывал черты матери, я угадывал черты отца в застекленных дверцах резного буфета, оранжевом абажуре с бахромой, спинке дивана с наброшенной на нее вязаной шалью и круглой крышке обеденного стола с вышитой дорожкой посередине, на которой — до того времени, пока не грянет торжественный час воскресного семейного обеда, — покоились неуклюжие хрустальные вазы и фарфоровые безделушки. Странное дело: в дверцах, абажуре, спинке дивана и крышке стола, но — угадывал, угадывал, словно невидимые крылья серафима (Серафима!) осеняли их своим прикосновением. И, открывая буфет, зажигая свет под абажуром, прислоняясь к спинке дивана или садясь за обеденный стол, я словно повторял собою то, что когда-то совершал отец, я заполнял обозначенное им пространство, вливался в его распавшуюся форму, и так было во всем — я действительно осознавал себя его *продолжением*, а сам он словно окутывал меня невидимым дуновением и оберегал, как серафим, мой верный ангел-хранитель. Поэтому чёрные, ноздреватые, осевшие, как подтаявший снег, и зияющие провалами мерзлой земли сороковые — это тоже мои годы, и я пережил их в ту пору, когда еще не был собою, а был своим собственным отцом и моя жизнь ещё не успела затвердеть и сгуститься до плотного материального ядра, а лишь струилась эфирными отсветами: красным-экзистенциальным, и голубым — евангелическим.

Ангелина нетерпеливо подпрыгивает, а мать устало встает, подходит и выдвигает, хотя ее давно уже нет на свете, и дедушки тоже нет, и сама Ангелина — давно уже не Ангелина, а седенькая старушка с узлом заколотых гребнем волос на затылке, которая целы-

ми днями носит на руках ленивого кастрированного кота, смотрит в мигающий телевизор и лежит на диване с газетами. Да, носит кота, смотрит в телевизор и лежит на диване. Носит, смотрит и – лежит. И никто ей теперь не скажет, как она неаккуратна и не приучена к порядку, потому что тридцатые, сменились сороковыми, а сороковые – пятидесятыми и то, что было в жизни красным, экзистенциальным, стало голубым, свангелическим...

Шагкий дощатый заборчик, разгораживающий наш участок, появился уже не в пятидесятые, а в начале шестидесятых годов. Во всяком случае, на одной из фотографий, хранящихся в альбоме и помеченных июлем 1962 года, он уже достаточно хорошо заметен, этот заборчик, хотя еще и не до конца ясно, разгораживает он участок или просто поддерживает отяжелевшие (год-то был яблочный, урожайный) ветки яблонь.

Но вот на фотографии, помеченной следующим, 1963 годом, заборчик выглядит уже несколько иначе: подновлен, починен, и ни у кого не остается сомнений в том, что он все-таки *разгораживает*. Как ни крути, как ни верти, с какой стороны ни приглядывайся, а разгораживает, так что получается половинка к половинке, а между ними – заборчик. Заборчик, а по обе стороны от него – половинки.

Именно такой запечатлена наша дача на фотографиях, которые я часто разглядываю, листая твердые, картонные, с синеватым крапом страницы альбома, переложенные хрустящим пергаментом, и во мне причудливо оживает давнее – знакомое, как привкус касторки или рыбьего жира на кончике серебряной ложки, – экзистенциальное чувство.

Половинки не соединяются, не складываются вместе – между ними заборчик, и вот у меня, запечатленного на фотографиях рядом с дачей ребенка, появляется чувство некоей утесненности, *половинчатости* жизни. Я вроде бы и живу – бегаю, прыгаю, раскачиваюсь на скрипучих качелях, привязанных к старой елке, лазаю по кривой березе с ромбиками моха в трещинах коры, но в то же время меня словно бы что-то теснит, что-то мне мешает. Я бегаю, прыгаю, раскачиваюсь на качелях и лазаю по березе *здесь*, перед своим забором, а туда, за заборчик, мне нельзя – там *чужая* половинка.

Нельзя, нельзя – как бы мне ни хотелось думать, что можно. Стараясь себя обмануть, я, однако же, позволяю себе подумать, как бы невзначай приближаюсь к забору, ставлю ногу на камушек, что-

бы легче было перелезть через забор, но при этом я все-таки знаю, что нельзя, – и не перелезаю. Не перелезаю и делаю вид, что мне хотелось просто подойти и поставить ногу. Просто подойти и поставить – бывает же такое желание! Бывает, конечно, бывает, и вот я делаю вид. Надо сказать, что у меня это очень хорошо получается, и мне не требуется подсказок в том, с чего начать и чем закончить. Начать – с безразличного и скучающего выражения лица, присущего ребенку, который вечно томится от безделья, а закончить – вздохом полнейшего разочарования: и *это* оказалось неинтересным! Иными словами, я человек искушенный: научился, натренировался, поднатерел, а сделать вид для ребенка – это уже экзистенция, и вот я делаю, делаю, делаю, как бы ощупывая кончиками пальцев ноздреватое, пористое вещество...

Ни философии, ни героев, ни сюжета нет и в помине, а есть все та же жизнь в сс экзистенциальных ответах и под пальцами – ноздреватая и пористая пемза. «Да хватит вам про пемзу! Сколько можно!» Ага, не выдержали! Значит, и вы теперь экзистенциалист, раз подушечки ваших пальцев покалывает при каждом упоминании о ноздреватом и пористом веществе.

Преследующий вас страх однообразия и есть начало болезни, и коли уж вы заболели, батенька, то лучше поймете меня в том, что мне сейчас хочется сжать в комок слипшиеся крошки жизни, размягчить, размять их в пальцах и слепить уродливую экзистенциальную фигурку под названием *пятидесятые* годы.

Что же это были за годы – мои пятидесятые?

Эта вмерзшая в ледяные шарики черная шерсть от валенок и есть мои скудные пятидесятые, вызывающие во рту привкус зимнего двора, помоек, голубятен, ржавых и скрипучих ворот на столбах с облупившейся штукатуркой, дровяных сараев с заснеженными крышами, с которых мы прыгали – летишь, и ветер свистит в ушах – в горбатые сугробы. Впрочем, обо всем этом можно не говорить – достаточно черных шерстинок. Ни о чем не рассказывать, ничего не описывать – только шерстинки, вмерзшие в ледяные шарики, и это будут пятидесятые годы, и это будет моя жизнь, моя единственная половинка...

Рассказать, пожалуй, стоило бы лишь о студебекере и любви к Шурочке. Стоило хотя бы потому, что в этом заключалось нечто *проживаемое* мною.

В самом конце мая, когда хромая дворничиха в брезентовом фартуке и рукавицах начинала поливать двор из резинового шланга, змеившегося по мокрой земле, мы заказывали грузовик для перевозки вещей, грузили в него старенькие, расшатанные стулья, столы и шкафы, пару закоптившихся кастрюлек, чайник с отбитым носиком – не новое же грузить! – и ехали на нашу половинку.

И я всецело находился под властью одной лишь жгучей, лихорадочной, почти маниакальной мысли: когда же? Когда же я наконец проснусь утром, зная, что сегодня за нами приседет *студебекер*?!

Это магическое слово вот уже несколько дней произносилось у нас дома на все лады, с разными оттенками голоса, с разными выражениями лица и жестами такими же разными, то подчеркивающими значительность предстоящего события: «Да, да; мы скоро переезжаем! На среду уже заказан студебекер!» – то призывающими отрешиться от всех прочих забот и целиком посвятить себя переезду на дачу: «Нет, нет, мы скоро переезжаем... на среду... уже заказан...»

Приходилось снова распаковывать коробки и развязывать тюки, снова все пересматривать и пересчитывать, докладывать недостающую ложку, чашку или тарелку и-в который раз! – запаковывать и завязывать, принося тем самым еще одну жертву грозному и ненасытному идолу с языческим именем студебекер.

Но если взрослые вскоре безнадежно уставали от жертв и, мечтая избавиться от ненасытного идола, произносили с обреченным вздохом: «Когда же все это кончится!» – то я без усталости шептал его имя, и оно звучало во мне как молитва: студебекер... студебекер... студебекер... Это было очень важно, что за нами придет не просто грузовик, а именно он, грозный и величественный, загадочный и непостижимый студебе...

Наконец наступала среда – тот самый долгожданный день, когда, проснувшись утром, я уже знал: сегодня! Именно сегодня произойдет то, к чему стремились, к чему готовились, чего с таким нетерпением ждали, а сегодня оно *произойдет*. Произойдет, произойдет – немыслимо себе представить. Настолько немыслимо, что даже думаешь: а может быть, лучше, чтобы оно не происходило?! Зачем ему происходить, если оно и так *есть* и то, что тебя переполняет, радует и мучит, от чего тебя лихорадит и бросает в жар, – это именно оно, уже существующее в тебе и не требующее

воплощения в мире реальных предметов. Воплощение же только похитит твой восторг, отнимет частичку того блаженства, которое ты испытываешь, и ты почувствуешь себя счастливым, обманутым собственным счастьем.

И вот ожидаемое случилось, и сначала я слышал – улавливал воспаленным слухом звук, который нельзя было спутать ни с чем, кроме приближающегося шума мотора, а затем в моем сознании обозначалась мысль, что это не просто шум проезжающей мимо машины, а мотор студебекера, который разворачивается и задним ходом подруливает к подъезду. Именно так, как я себе и представлял: разворачивается и задним ходом... Боковая дверца при этом, конечно же, приоткрыта, и шофер, чья правая рука лежит на баранке, выглядывает из кабины, чтобы – не задеть за столбы ворот, забор палисадника и шесты, поддерживающие бельевые веревки. Именно, именно не задеть и остановиться прямо у подъезда. Остановиться, опустить задний борт и сказать хозяевам: «Ну что? Будем грузить?» И хозяева ответят: «Будем, будем!» – и сейчас же возьмутся за тюки и чемоданы, стаскивая их вниз по деревянной лестнице, тараня ими забухшую, с трудом поддававшуюся дверь и подавая в пыльный кузов шоферу, и я буду так настойчиво им помогать, суетиться, хвататься за все подряд и вырывать из рук, что они не выдержат и скажут: «Ах, не мешай ты, ради Бога!» Они скажут, а я с удивлением подумаю: когда же моя *помощь* успела превратиться для них в помеху?! Подумаю и даже немного обижусь: когда же? Не тогда ли, когда я пыхтел и отдувался, вместе с ними волоча по ступеням большой, обвязанный ремнями чемодан? Обижусь, отойду в сторону и даже отвернусь к стене, чтобы мой несчастный вид служил для них укоризной, но тогда и забуду о своей обиде, такой ничтожной и мелкой по сравнению с тем, что долгожданный день наконец настал и студебекер отвезет нас сегодня на дачу.

Я полюбил Шурочку после того, как она перестала со мной играть. До этого я не испытывал к ней никакой любви и относился весьма сдержанно, с сознанием своего превосходства и даже некоторой заранее заготовленной насмешливостью, с которой и следовало относиться к соседской девочке, участвующей в твоих играх и отстающей от тебя ровно настолько, насколько она – девочка, а ты – мальчик. Насмешливость, заранее заготовленная и спрятанная под терпеливо-выжидательной и оценивающей улыбкой, проявлялась

всякий раз, когда отставание становилось особенно заметным и победа над отставшим давалась слишком легко для того, чтобы приносить удовлетворение. Вот тогда-то вместо гордости за свою победу я проникался насмешливым презрением к проигравшему, который был виноват лишь в том, что на его месте не оказался другой, способный осчастливить меня возможностью и побеждать и гордиться. Поэтому в моем презрении было больше досады, а в насмешливости – обиды и разочарования, и я чувствовал себя заранее обреченным на выигрыш, заключавшийся в сомнительном праве дать боязливый щелчок тому, кто проиграл. Боязливый – потому что иначе проигравший заплачет, и тогда – виноватым окажусь я, от моего выигрыша ничего не останется, и он превратится в позорный проигрыш. Превратится потому, что мне станет жалко плачущего, а плачущий получит несомненное право на ответную неприязнь. Значит, между выигрышем и проигрышем вообще нет границы, как нет ее между презрением и жалостью, жалостью и любовью, и главное не в том, кто проиграл и кто выиграл, а в том, что один из нас мальчик, а другой – девочка, и поэтому презрение так легко переходит в жалость, а жалость – в любовь.

Те самые шестидесятые, которые дедушка считал временем Иоанна, чье Евангелие особенно старательно и пытливо изучалось в его кружке, собиравшемся за таинственной дверью.

Свое Евангелие Иоанн создал уже глубоким, седобородым стариком – ему было около ста лет.

Гераклит впервые разработал учение о Логосе – духовном первоначале мира, с которым Иоанн отождествил Иисуса Христа: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца», Так писал Иоанн в своем Евангелии – Евангелии Слова и Любви, единственном, в котором я не нахожу экзистенциальных отсветов. Не нахожу нигде, ни в одной строке, как будто и нет зеленовато-красных, и лишь голубое сияние струится надо мной, и я снова вижу мои шестидесятые годы, забор, разгораживающий наш участок, марлевые занавески на окнах и замшелый валун перед крыльцом...

Экзистен... экзи... и нет никакой жизни, а есть лишь обманчивый зеленоватый отсвет. Обманчивый, зеленоватый, странно колеблющийся, словно сотканный из зноя мираж – неужели это и есть

моя жизнь, моя любовь, моя единственная половинка?! Лишь это – неужели?! Так я спрашиваю, мучительно допытываясь у себя ответа, и когда к горлу подкатывает тошнота, именуемая экзистенциальным отвращением к жизни, меня внезапно окутывает голубое сияние и слова четвертого евангелиста, апостола Любви, звучат надо мною: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас: пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

Сам не знаю, почему я влюбился в Галю Кондратьеву, хотя она была ничем не лучше всех прочих девочек из нашего класса.

Это было для меня загадкой тогда, это остается загадкой и поныне, и я постоянно ловлю себя на том, что о Гале я думаю иначе, Чем обо всех прочих девочках, хотя они совершенно одинаковые, Галя и все прочие, с одинаковыми коленями, косичками, веснушчатými носами, но я все-таки думаю иначе, и в этом крошечном зазорчике, впадинке, щелочке между досками пола и заключалась моя любовь, похожая на закатившуюся в щель стеклянную бусинку.

Мы выбираем людей, зацепившихся за жизнь тем же способом, что и мы сами, – в этом, собственно, и родство. Родство пожелтевших дубовых листьев, упавших с дерева и – зацепившихся. Зацепившихся и повисших на лесной паутинке – вот вам и вся любовь! Давайте говорить проще – не любовь, а экзи... экзистен... Экзистенция, милостивые государи, ядовито-зеленый ответ!

И в тот самый момент, когда действительно – никого, почувствовать, как вам хорошо. Хорошо оттого, что плохо и хуже быть не может. Предельно хорошо, а уж это чувство – будьте уверены! – истинное...

Но бывает и так, что в одиночестве вы совсем не одиноки, и тоска не корчит плаксивые рожицы, и вам не хочется подпирать собою угол, и все происходящее с вами отбрасывает совсем иной – голубоватый – ответ. Голубоватый, струящийся, похожий на бледное зарево рассвета. Тот самый ответ, который мы называем евангелическим. Он касается вас, милостивые государи, и ваше одиночество скрадывается, словно клочковатая ночная тьма, и вам

становится так хорошо, что от этого даже делается плохо. Плохо оттого, что хорошо и лучше быть не может. – тоже, знаете ли, предельное чувство. Предельное и истинное, оно знакомо всем экзистенциалистам.

Лишь во дворе я освобождался от своего домашнего несчастья и становился счастливым. Охватывавшие меня одиночество и бездомность таили ту странную притягательность, которая заставляла враждебно и непримиримо коситься на окна наших комнат и, вместо того чтобы гулять неподалеку – под самыми окнами, – убегать далеко, как можно дальше, где меня не видно и не слышно.

Правда, иногда эта же мысль вызывала во мне легкое чувство страха и отвращения к самому себе, не подозревающему, какая опасность грозит ребенку, оставшемуся без присмотра взрослых.

Я остаюсь, укутанный призрачным, одурманивающим теплом своего одиночества, и мне до слез не хочется вставать, распрямляться, высовывать голову из лопухов, чтобы меня снова видели и слышали.

Видели, слышали – и любили. Да, да, пусть даже и не любят – все равно мне здесь лучше, чем там, словно, лишённый любви родных и близких, я приобретаю взамен нечто большее – любовь и ласку Бога, которого я представляю в виде большого, склоненного надо мною лица.

Странная вещь, но в детстве я очень хорошо знал, что надо мною есть Он, всесильный и всемогущий, и, убегая от матери – подальше от окон, в которые она могла меня видеть, – убегал к Нему, смотревшему на меня отовсюду и оберегавшему как свое собственное творение, свое собственное дитя. Отовсюду – из-за сараев, бачков помойки, кирпичной стены с проломом в соседний двор, и мое сидение в лопухах было сидением в самом центре мира, в той единственной точке, где сходились все лучи, земные и космические, и сливались все ответы жизни, экзистенциальные и евангельские.

Вопросы

1. В чем сущность экзистенциализма, как философии одинокого существования?
2. В чем особенности «экзистенциального постижения жизни»?

3. Охарактеризовать природу экзистенции, рождающейся в чувствах и отношении героя к отцу.
4. В чем суть экзистенции 40-х годов в понимании героя?
5. Как интерпретируется героем экзистенция 50-х годов?
6. Как характеризуется героем Л.Бежина экзистенция 60-х годов?
7. Какую функцию выполняют свангелические идеи в контексте произведения Л.Бежина?
8. Провести сравнительный анализ героев произведений (М.Бутов «Свобода», Л.Бежин «Калоши счастья» в отношении к понятию «свобода»; сравнить их жизненные позиции).
9. Определите философские мотивы в романе Л.Бежина «Калоши счастья».
10. Особенности современного повествования в попытках самоопределения.



Родился в Иркутске в 1938 году. Окончил педагогический институт Улан-Удэ. Писатель с прошлым и будущим. Жизнь сделала Бородина работником экстраширокого профиля. Когда-то его, студента, КГБ благословил так: «Познай идеологию рабочего класса». И он познавал. Был бурильщиком, составителем поездов, делал мебель, кочегарил, преподавал в школе, сторожил церковь.

Проза Бородина одновременно и жестока, и сентиментальна. В ней обнаженный реализм видения и романтизм, до пределов обостренный обстоятельствами жизни. Рассказам Бородина свойственна остросюжетность, та упругая детективность, которая скрыта в каждом, самом незначительном событии. В «Посещении» герой летает. Тема не нова и достаточно традиционна в литературе. Для Бородина ощущение полета не как начало новой жизни, но как достаточно резкая переоценка старого, как иной ракурс бытия, которое всегда богаче, чем представляется читателям во снах и наяву.

За рубежом Бородин признан – ему присвоены две литературные премии, два Пен-клуба Англии и Франции открыли ему свои двери. Самооценка писателя такова: «Я надеюсь, что не преувеличиваю своих способностей и догадываюсь о пределах своих возможностей».

Автор повестей и рассказов: «Посещение» (Юность. – 1989, № 11), «третья правда» (Наши современники. – 1990, № 1-2), «Женщина в море» (Юность. – 1990, № 9), «Ловушка для Адама» (Юность. – 1994, № 9) и др.

Литература

1. Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX века. – М.: Флинта-Наука, 2003.
2. Бородин Л. Три рассказа. Вступ. ст. В. Липагова // Юность, № 11, 1989.

ПОСЕЩЕНИЕ

Недавно попал мне в руки документ, автором которого, как предполагают, был один провинциальный священник, умерший всего лишь год назад. Характер документа таков, что я не решился передать его куда-нибудь, но и умолчать о нем оказалось выше моих сил. Я слукавил. Я написал рассказ. И тем самым снял с себя всякую ответственность!

В сельской церкви уже час назад закончилась служба, но священник, отец Вениамин, только что направился домой. С одним из своих прихожан обсуждал он важный вопрос – смену церковной ограды, поскольку нынешняя, стоявшая с незапамятных времен и без конца подправлявшаяся, совсем прохудилась. Разговор шел потому о столбах и штакетнике, о краске, то есть о цвете, какой приличествует ограде Божьего храма. Понятное дело – голубой. Но в магазинах только желтая да красная. Значит, переплата! Отец Вениамин перебирал бородку, мужичок чесал в затылке. Наконец, договорились по самому хорошему: ограда ставится бесплатно, а на штакет да на краску подкинуть надо с запасом. Договорились...

И после этого отец Вениамин все равно не торопился домой, оттягивал что-то...

Всем знакомо, как это бывает: делаешь что-то, суетишься, суетишься, но знаешь, что, как останешься один, поджидает тебя дума печальная и будет эта дума печальная и будет эта дума тебе душу травить до петухов...

Священнику, однако, седьмой десяток, и по опыту знает он, что надо всегда печаль по имени называть, чтобы не таилась она в душе мукой непонятной. Понять печаль – значит найти ее причину, причина же – это уже факт, а факту всякому полочка есть, где лежать ему да забываться...

И как только домой пришел и на иконы взглянул, вспомнил причину своей печали. Это было лицо юноши, что пришел сегодня в храм к началу службы и простоял у двери, не перекрестившись ни разу, до самого конца. И ушел, не перекрестившись. А что же было в лице его? Для отца Вениамина в его лице была память. Много лет назад, в годы молодости своей, знал он такие лица, русские лица, с мукой в глазах, лица, которые потом стали исчезать в земле русской, а те, что приходили им на смену, и необязательно безбородые,

не в бороде смысл, просто это были совсем другие лица, и говорили они на каком-то чужом языке, в котором слова не то штыки, не то скрежет зубовой. И тогда кончилась Русь! И как в татарщине или в неметщине жили. Даже православные, веры не изменившие, даже в их лицах не было светлости русской, а лишь страх, отчаяние да богооставленности мука.

Отец Вениамин прошел через расколы и тюрьмы и выжил чудом. Слово Божие нес людям, как крест подносят к глазам преступника, на смерть обреченного.

Привык священник думать, что кончилась Русь и с каждым днем кончается. Но вот через полвека, после всего, что было, вдруг стали встречаться ему то тут, то там знакомые лица. С удивлением и трепетом душевным приглядывался к ним, и было поначалу разочарование великое, казалось, будто напрокат взяты лики русские про русское забывшие!

Встретил он однажды в городе двух молодых людей. Бороды русые, глаза синие, руки нервные... Стоят в стороне, говорят о чем-то горячо... Глаза горят... Стал загадывать отец Вениамин, о чем разговор их. О смысле жизни? О Боге? О прекрасной даме, наконец? Подошел близко сзади, и будто в душу плюнули! Говорили о хоккее. С ликами Алеши Карамазова – и о хоккее!

И все же! Все же это было знамение! Может быть, сначала лица русские, а потом и души...

Вот сегодня один из таких, новых, простоял у него в церкви всю службу. Несколько раз пристально вглядывался ему в глаза священник. Веры не видел, но и пустоты воинствующей не было в них. Значит, все-таки что-то было! И вот это «что-то» и есть сегодня печаль отца Вениамина. Подумалось ему, что такие глаза должны быть у арестанта за решеткой, или у неизлечимо больного, или у потерявшего самое дорогое в жизни... Хотелось молиться за эти глаза, просить Господа избавить их от боли и тоски, хотелось самому сделать что-нибудь в помощь, в облегчение, в избавление! Он знал, что ночь проведет в молитве и слезах, и уверенность была, что сегодняшняя его молитва непременно услышана будет...

И как-то совсем машинально готовил себе ужин, яичницу поджаривал да чай кипятил. И когда уже за столом собирался произнести предтрапезную, услышал стук в дверь. Удивился, потому что

не ждал гостей. Но удивился еще больше, когда, открыв дверь, увидел того, о ком только что думал.

– Можно? Я не помешал вам? – неуверенно спросил юноша, не переступая порога.

– Отчего же, – ответил отец Вениамин. – Собирался ужинать в одиночестве, Господь гостя послал, и я очень рад. Заходите!

Тот прошел в прихожую, потом в комнату, благословения не попросил, на иконы не перекрестился. И казалось, будто знал, что нужно это сделать, и не сделал умышленно, чтобы подчеркнуть свое отношение и не создать двусмысленности положения. Держался просто. Охотно сел за стол и если от яичницы отказался, то чай пил с удовольствием, из блюдечка, держа его обеими руками, так же, как и хозяин дома, словно обычай древний припоминал.

Они сидели друг против друга, смотрели друг другу в глаза и улыбались, может быть, каждый своему, но близость рождалась несомненная, хотя вместе с тем какая-то смутная тревога входила самым краешком в сердце священника.

– Меня Алексеем зовут, – сказал, наконец, гость. – А о вас я знаю давно. И много хорошего слышал от тетки моей, она в соседней деревне живет и к вам в церковь ходит.

Отец Вениамин молчал. Пил чай и смотрел на гостя улыбаясь.

– А пришел я к вам за помощью, отец... хотя почти уверен, что помочь мне вы не в силах... И все-таки пришел... Должен был я попытаться, правда?

– Конечно, – согласился священник.

Чувствовалось, что юноше очень трудно начать, и не слова он подыскивал, а форму разговора, так, словно сказать хотел лишь немного, но чтобы ответ получить по самому главному. Отец Вениамин не торопил его и не поощрял к откровенности, потому что знал: откровенным человек по нужде бывает да по вере. Гость без веры. Значит, нужда... Разговорится.

– Наверное, я все расскажу вам, – продолжал гость. – Наверное. Но не сразу. Сначала я хотел бы получить от вас ответ на один вопрос, для меня очень важный. И очень прошу вас, не торопитесь с ответом! У меня философское образование, и я знаком с богословской литературой. Казенный ответ меня не устроит. Я хочу знать ваше личное мнение! У вас за плечами жизнь. Мне нужен откровенный ответ человека, прожившего жизнь. Представьте, что от искренности вашего ответа зависит моя жизнь!

Отец Вениамин заволновался.

– Вы можете быть уверены в том, что я не солгу вам, о чем бы вы меня ни спросили, и все же стоит ли ставить в зависимость от чьей-то искренности, даже священника, свою жизнь. Ведь так трудно бывает понять человеку человека. А, если я правильно понял вас, вы хотите спросить меня о чем-то таком, о чем нелегко говорить?

Юноша несколько смутился.

– Ну, пожалуй, я чуть сгустил краски! Вопрос, в сущности ... то есть... я бы мог его задать любому священнику... но к вам у меня уже была заочная расположенность...

Он замялся.

– В общем, отвечая на мой вопрос, учтите, пожалуйста, что я неверующий и что, я уже сказал, для меня это очень важно!

Помолчал и выпалил:

– Что такое чудо, отец?

Священник даже растерялся.

– Чудо?! Но... Вы же ставите меня в невозможное положение! Вы спрашиваете о чуде и говорите, что неверующий! Так как же я вам отвечу! Ведь для меня чудо – это явление бытия Господа нашего, знак Его присутствия в мире... если говорить о так называемых сверхъестественных явлениях... Но для меня, поверьте, для меня чудо – все творение Божие! Вам трудно понять это, но взгляните на мир глазами ребенка или как посторонний, и каждая букашка и жизнь человеческая – все чудо, и ничто без Бога объяснения не имеет...

Священник увидел, как потускнели глаза юноши, и прервался на полуслове.

– Не то! Все не то! – пробормотал гость и... вдруг дернулся, как-то весь дернулся, будто судорога прошла по телу. Поймал встревоженный взгляд священника, смутился и заговорил сбивчиво: – Не обращайтесь внимания... я после объясню... бывает так у меня... иногда...

И вот только после этих слов отец Вениамин заметил нечто особенное в облике юноши, в его манере держаться, в позе, как он сидел на стуле. В чем особенное – не объяснишь, может быть, болен?

Теперь он сидел боком на стуле, всплывшись руками в спинку, напряжение чувствовалось и в руках, и в лице.

– Не то я хочу услышать от вас! – с болезненной grimасой сказал гость.

– Что же? – спросил священник и подумал о заведомой бесполезности этого разговора.

– Вот вы, лично вы, были когда-нибудь, ведь вы прожили большую жизнь, были вы когда-нибудь сами свидетелем чуда? Настоящего чуда!

– Нет, – ответил священник.

– И при этом вы верите в чудо?

– Мне трудно ответить вам, молодой человек. Ведь если я вам скажу, что воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а пред тем жизнь, деяния и смерть Его – величайшее чудо, засвидетельствованное апостолами, ведь для вас это неубедительно. А между тем после этого величайшего события вообще недостойны были люди внимания Господа, ибо сколько же свидетельствовать! Но так мыслю я – грешник из грешников! Господь бесконечно добр! И чудеса, кои происходят с людьми, есть милость, есть деяние милосердия, есть переполнение любовью к твари сердца Господнего! Милость отвергающему ее!.. – Тут он прервался и недоуменно посмотрел на юношу. – Но... помилуйте! Если вы не веруете в Бога, то ведь для вас и чуда не существует! Зачем же?..

– Я верю в чудо, отец. Точнее, я признаю чудо!

– Немыслимо! – изумился священник. – Если без Бога, какое же может быть чудо? Если вокруг материя одна да причинность жестокая, откуда чуду взяться? А если признавать чудо, то необходимо предполагать при этом хотя бы, скажем, некую силу, некий источник чуда...

– То есть вы хотите сказать, – не без ехидства вставил гость, – что надо предполагать причину чуда, а только что сами говорили о жестокой причинности материального мира! А?

– Не ловите меня на слове! Это нехорошо! Вы же понимаете меня, мысль мою понимаете!

Отец Вениамин не столько обиделся, сколько огорчился.

– Конечно, я понял вас. Но все дело в том, что возможны в мире явления, как следствия нарушения причинности. Могу я так посмотреть на вещи?

– Можете, – был спокойный ответ. – Но ответа на вопрос не получите, и удовлетворения не будет. Такой ответ не снимает вопроса, а рождает новые и бесконечные.

– А разве гипотеза Бога не порождает сомнения и бесконечность вопросов?

Священник помолчал некоторое время, ответил потом не торопясь.

– Гипотеза Бога – это удел ищущих в гордыне. Не вера рождает сомнения, а слабость наша, греховность, неспособность следовать путем веры! Но сомнением вера проверяется! Испытывается! Преодоление сомнения – радость великая, коей лишены безбожники...

– Отец Вениамин почувствовал вдруг, что начинает уставать, что говорит вяло и неубедительно. – Не кажется ли вам, Алеша, что мы уходим в тему, которая, как вы сказали, уже решена вами? Я не улавливаю сути вашего вопроса? Я ведь могу говорить о чуде только как о явлении Божьем, в Бога же вы не веруете. Чем я могу помочь вам? Попробуйте поискать ответ у науки...

Алексей саркастически усмехнулся:

– Увы! Наука мне еще менее способна помочь!

При этих словах он вдруг снова дернулся. Лицо перекошилось. Но была это не гримаса боли, а скорее досады... Пошатываясь, он встал со стула и подошел к окну. Лево́й рукой вцепился в подоконник, правой ухватился за ручку рамы и стоял к священнику боком, словно единственную позу выбрал.

– Никто мне помочь не может! – с каким-то тоскливым отчаянием прошептал он.

– Вы больны? – неуверенно спросил отец Вениамин.

– Болен? Если бы я сам знал, что со мной!

– Не понимаю... – пробормотал священник, не в силах оторвать глаз от лица своего гостя. Было это лицо человека в отчаянии, но оно не было лицом в обычном смысле больного человека. Что же?

Снова заговорил Алексей.

– На чем мы остановились? Да... На гипотезе Бога. Оставим... Значит, вы считаете, что всякое чудо – это непременно явление Бога?

– Так, – неохотно ответил священник.

– Если от Бога, значит, какой-то смысл в каждом чуде. Намек своеобразный?

– Именно. Иначе зачем Господу являть себя, как бы в указание! Однако являет себя Господь без навязывания, и на волю не посягая!

– Не понимаю! – поспешно и нервно спросил Алексей.

– Упорствующему в неверии и чудо не поможет. Так я мыслю.

– Упорствующему? А если не упорствующему? Если желающему поверить?

– Уверует! – твердо ответил отец Вениамин.

Теперь на лице гостя была улыбка, не то снисходительности, не то сожаления.

– Ну, а вы, отец, вы если бы увидели, к примеру, человека, идущего по воде, как бы вы отреагировали на это?

– Колени бы преклонил в радости и благодарении за милость Господню...

Хохот прервал слова его, грубый, циничный хохот, и священник не успел даже обидеться. Его гость вдруг оторвался от окна, как стоял, в рост, медленно всплыл к потолку, и теперь хохот падал на священника сверху, сверху же падали прерываемые хохотом слова:

– Ну, так преклоните колени, отец, возблагодарите!

С последним словом гость занял в воздухе горизонтальное положение, выставил вперед руки и с растопыренными пальцами поплыл к священнику, не переставая хохотать...

Очнулся отец Вениамин на своей кушетке, что в углу, от прикосновения холодного ко лбу. Это Алексей прикладывал к голове мокрое полотенце. Лицо юноши было испуганным и слезы! – да, слезы – это первое, что увидел священник.

– Вы живы! Слава Богу! Если можете, простите меня, пожалуйста! Я негодай! Прощу вас, простите меня! Вам лучше?

– Что это было? – еле слышно выговорил все еще бледный священник.

– Я все объясню вам! Я должен был сразу рассказать все! Но так глупо и подло получилось!..

– Вы гипногизер и пришли посмеяться надо мной?

– Нет! Честное слово, нет! Я все вам объясню! Сейчас же! Поверьте, я не хотел того, что получилось! Вы были так бледны, я испугался ... Хотите воды?

– Да...

Отец Вениамин на мгновение закрыл глаза, но тотчас же вцепился в руку Алексея.

– Вы действительно летали или это бред?

– Я принесу воды...

Растерянность и испуг все еще были в голосе гостя, но когда он бросился за водой в прихожую, священнику показалось, что ноги

его не касаются пола, и когда тот вернулся с кружкой, отец Вениамин снова был близок к обмороку. Пил он судорожно, с закрытыми глазами. Потом почти простонал:

– Рассказывайте же, наконец! Я буду лежать... Возьмите стул, садитесь рядом... И говорите!..

Видимо, не так просто было начать, и первые фразы были обрывочны, но только первые, потому что потом началась исповедь.

– Я окончил философский... Готовился в аспирантуру ... Знаете ли вы, отец, как заманчива философия! Как таинственно это слово! Как загадочно величественны имена жрецов – Гегель! Кант! Платон! Фихте! Сейчас уже пусто.. А раньше у меня голова кружилась при упоминании этих имен! А какое ни с чем не сравнимое наслаждение испытываешь, когда начинаешь понимать мысль великого философа, словно сам пережил ее. А гордость при этом! Но это что! Вот когда впервые вдруг обнаружишь у великого философа, к пониманию которого стремился годы, когда обнаружишь у него первую крохотную неувязочку, нелогичность – вот где плеск тщеславия! А потом, когда сам составишь мнение о великом, даже высказывать это мнение никому неохота, так горд и доволен собой бываешь! Многие на этом останавливаются и удовлетворяются, из них потом рождаются чванливые комментаторы, но в философов они не превращаются. Я останавливаться не хотел, но со мной случилось другое: я вдруг почувствовал, что пустое все это... Сколько людей – столько философий. Каждый прав лишь постольку, как видится ему мир... Истины в философии нет, есть лишь одни более или менее талантливые интуиции, оригинальные конструкции... и не более. И все! Как бы это сказать... одни стены... перегородки... лабиринты... а крыши нет... здания нет! Я имею в виду истину... – Прервался. – Лишнее говорю, да? Но это необходимо, поверьте...

Священник схватил его за руку. – Говорите! Не нужно ничего объяснять! Говорите!

– Вот тогда и обратил внимание на религию. Началась тогда мода на кресты и иконы... Я прочитал Евангелие и сказал себе: это то, что я искал! Это мудрость, которую я чувствую, но постичь не в силах. Она выше моих возможностей! Я понял, что всю жизнь буду каждый раз по крупице понимать эту мудрость, и жизни моей не хватит! А если есть такая возможность – познавать конечную

мудрость, можно ли жить еще ради чего-нибудь другого? Тогда я объявил себя верующим.

– Объявили? – удивленно переспросил отец Вениамин. – Разве вы не уверовали, если поняли, что нет мудрости большей?!

Алексей невольно улыбнулся.

– Я объявил, что уверовал. Я думал, что это одно и то же. Признавать правоту христианства и поверить в Бога.

– А разве это не так? – изумился священник.

– Конечно! Ведь и христианство можно воспринимать лишь как зашифрованную философию сохранения человеческого рода, полученную, к примеру, от космических пришельцев высших по разуму!

– Да, – печально согласился священник, – люди готовы верить во что угодно, но только не в истину, простую и очевидную.

– Очевидность – явление субъективное... – начал было юноша, но замолчал. Потом продолжал: – Так я стал верующим. Отрастил бороду, бросил курить, упорядочил отношения с женщинами... Благодаря своей философской патаस्कаниости я стал в своей среде чем-то вроде проповедника. Церковь, разумеется, посещал и даже посты держал строго по календарю... Но вот месяц назад случилось...

– Будьте добры, дайте мне еще глоток воды! – Пил, а руки заметно дрожали, и бледность будто снова выступила на лице. – Ну, ну... я слушаю! Говорите!

– Вы думаете, это случилось во время молитвы, или во время благостных размышлений, или при чтении Священного писания? Это было на пляже, когда я валялся на песке, и не было у меня в тот момент ни благих, ни грешных мыслей. Я хотел подняться, оперся ладонями на песок и вдруг понял, что повис над песком... так... сантиметра на четыре. Казалось, что я не сделал ни одного движения, только подумал – и тут же поднялся еще! У меня закружилась голова, то есть произошло примерно то же, что и с вами полчаса назад. Я потерял сознание. Правда, лишь на мгновение. А когда снова пришел в себя, то уже знал каким-то особым телесным знанием, что могу подняться в воздух без малейшего усилия и напряжения. Заметьте, отец, при этом я даже не вспомнил о Боге! Я просто был ошеломлен... Я быстро оделся, еле удерживаясь от эксперимента, прыгнул в автобус... Он был полон, но не слишком, я же висел между людьми, поджав ноги... В комнате я заперся на ключ и, обратив внимание, даже не взглянул на иконы, которыми был полон угол. Я набрал воздуха, как для храбрости, и всплыл к

потолку. Я летал, опускался, переворачивался вниз головой, роняя из карманов всякую ерунду... было как во сне...

Вы говорите, всякое чудо от Бога... Но ведь если это было так, то в душе моей я чувствовал бы хоть что-то! Но ничего! Понимаете, ничего не было, скорее, напротив, ощущение уродства, ненормальности... Не было чуда... Был лишь парадокс причинности... И тогда пришло прозрение! Я никогда не был верующим... Более того, я почувствовал ну, что ли, пустоту вселенной, безбожие мира, собственное сиротство...

— Возможно ли это! — воскликнул священник. — Ведь вы же летаете! Летаете! И говорите о пустоте вселенной, о сиротстве. — Господи! Да что же это случилось с людьми! Ни кары, ни благодати не приемлют!

Поднявшись с кушетки, он подошел к иконостасу, почти упал на колени.

— Господи! Не гневайся на неразумение рабов Своих! Разум их помутнен, и душа осквернена! Велико терпение и безгранична любовь. Твоя, Господи!

Гость стоял в стороне. На лице была досада, или печаль, или досада печальная. А когда священник умолк и склонился в поклоне, голос Алексея зазвучал резче и будто даже с издевкой;

— Я ведь еще не все рассказал вам, отец!

Тот поднялся, снова сел на кушетку, закрыл лицо руками.

— Рассказывайте! Все рассказывайте! Ничего не оставляйте на душе!

Алексей подошел к иконостасу.

— Символы! Символы вашего Бога! А признает ли Сам Бог эти символы за Свои! Богохульство? Да? — Сел рядом. — Тогда, в своей комнате, обнаружив себя уродом, я под конец сорвал икону со стены и летал с ней и глумился над Богом умышленно. Я ведь рисовал, правда? Но ничего со мной не случилось, икона же треснула, когда я выронил ее из рук под потолком. А жаль! Вот если бы в этот момент я брякнулся на пол, да переломал себе руки или ноги...

— Тогда бы уверовали?

— ...Еще бы! — рассмеялся Алексей.

— Нет, и тогда бы не уверовали... Впрочем, нет, нет, не знаю.

Чего-то смутился отец Вениамин, потому что пожалел о своих словах.

Алексей не обратил внимания.

– Так началась моя новая жизнь! Жизнь в чуде! Чего там! Я о Боге и думать забыл в первые дни! Ведь летать! Господи! Можете ли вы себе представить, какое это удовольствие, не, наслаждение – летать! Ночью над степью или озером! Вскинешь руки, и паришь, и падаешь, и взмываешь! И ничего больше не нужно в жизни! Так легко!..

При этих словах он поднялся, возложил руки на голову и с пьяной улыбкой поплыл по комнате как-то в полувертикальном положении. Но, видимо, спохватился, быстро, словно прыгнул, опустился на пол и тревожно взглянул на священника. Тот был бледен и торжествен, стоял в полный рост.

– Чудо! Чудо! – шептал он. И столько счастья было в его голосе, что откровенная зависть отразилась на лице юноши. – Теперь можно и умереть!

Отец Вениамин вдруг нахмурился, лицо стало озабоченным.

– За что же дал мне Господь лицезреть чудо? – спросил он, тревожно взглянув на Алексея. – За что? разве я не отягощен грехами более других? Неужели...

Он тут побледнел, как перед обмороком, и даже закачался... Гость поторопился подхватить его под руки, но был мягко отстранен и отошел в угол удивленный. Священник опустился на кушетку, отсутствующим взглядом смотрел куда-то мимо Алексея.

– Вы хотите еще что-то рассказать...

– Вам плохо? Может, воды?..

– Нет, – безучастным голосом ответил он, – Говорите же! Я знаю, вы не сказали еще чего-то очень важного...

Алексей пожал плечами.

– Главное сказал. Странно... Сначала вы были счастливы, когда узнали... А сейчас походите на самого несчастного человека в мире... Я подозревал, а теперь уверен, что мое чудо в итоге всем приносит несчастье...

– Всем? – встрепнулся отец Вениамин. – Разве еще кто-нибудь?..

– Вот об этом я и не успел вам рассказать! – усмехнулся Алексей. – Но сначала о себе.. Что мне лично делать с этим чудом? Для меня утерян смысл жизни! Я уже не могу жить среди людей, потому что не могу контролировать себя! – Улыбнулся. – Ах, если бы вы знали, отец, сколько соблазнов я преодолел! Больше, чем Иисус, поверьте! Сколько раз мне хотелось взлететь где-нибудь

посередине улицы и полюбоваться сверху на физиономии моих современников, пожизненно опьяненных всеобщим детерминизмом природы! А сегодня, в вашей церкви, думаете, мне не хотелось устроить потеху!

– Но вы не сделали этого! – тихо сказал священник.

– Не сделал. Но вовсе не по причине порядочности! Мне объявиться, значит превратиться в подопытного кролика науки или в обожествленного кролика Церкви! Я самолюбив! И не могу позволить, чтобы меня и з у ч а л и!

– И до сих пор никто...

– Увы! – перебил его гость. – Но к рассказу об этом вам, отец, следует подготовиться.

Хотел, кажется с иронией... Но ирония не прозвучала. и потому священник ответил серьезно:

– Я готов.

– Невозможно мне жить среди людей! Скучно! Я не чувствую себя суперменом! Я просто хочу летать! Я превратился в ночную птицу, отец! Днем летать нельзя... Я уехал в деревню, бросил учебу и все прочее, как ненужную бумажку выбрасывают... Пьянством никогда не страдал... О наркотиках понятия не имею... Но, кажется, со мной происходит то же самое! Днем сплю, а во сне летаю... Просыпаюсь всегда в страхе: неужели только сон?! Если один, тут же буквально бросаюсь в воздух. и когда убеждаюсь, что это не сон, что я действительно летаю, то плачу от счастья! Если я нахожусь где-то, где нельзя взлететь, вдруг появляется мысль, что чудо кончилось, и я спешу куда-нибудь, чтобы убедиться... Самое страшное, отец, это что с каждым днем сокращается время, когда я могу не летать... Люди раздражают своим присутствием... Хамом становлюсь... равнодушным... Только летать!

Но я хотел рассказать... Да... Однажды я убежал в лес в полдень, когда сомнения напали... Убежал в лес и, забыв обо всем, начал гоняться за птицами! Такой переполох наделал... Птицы, отец, они тоже детерминисты! Они терпеть не могут, когда нарушаются законы природы...

В общем, увлекся я, смотрю – мужик ... Стоит внизу с выпученными глазами, корзину выронил... челюсть на подвесе... Мне хоть бы исчезнуть сразу! Я а к нему полетел ... Он как стоял, так и грохнулся на спину без звука. Когда к нему подлетел, он уже все...

Я уже убийца! Вот как! И вы вот уже чуть Богу душу не отдали, а уж вы – то ...

Священник вскочил с кушетки. Глаза расширены, в глазах ужас, руки трясутся... Алексей шарахнулся от него.

– Вот! – крикнул отец Вениамин. – Вот! И я тоже! И Вы, и мужик, и я тоже!

Он схватился за голову.

– Только этого не хватало! – пробормотал Алексей, пятясь к двери.

– Стойте! – крикнул священник. – Простите меня!

Он вдруг упал перед Алексеем на колени.

– Простите! Христа ради! Я вас поучал, проповедь читал о вере! Простите! Не имел права! В обмане был сам и вас обманывал! И Бога! И Бога! Вы честно ... прямо... А я всю жизнь ...

Он упал на пол и зарыдал. Алексей в отчаянии заметался по комнате.

– Будь проклято это чудо! – крикнул он в отчаянии, опускаясь на колени перед священником. Тот живо поднял голову, обнял его, тоже встав на колени.

– Нет! Не смейте говорить так! Вы не понимаете! Мы все предали Господа! Я первый! Он чудом своим разоблачил ложь мою!

Он перешел на шепот.

– Ведь я же испугался! Понимаете! Испугался! Как и тот мужик, что не верил! И вы в страхе перед чудом, потому что и вы без веры! И я! Господи! Простится ли такое? Я фарисействовал! Понимаете!

Алексей осторожно высвободился, поднялся, поднял священника.

– Вы уж извините, – как-то зло сказал он, – только мне, очевидно, таких тонкостей не понять! У меня от своих забот голова кругом... Я пойду, пожалуй...

– Подождите! Прошу вас, подождите!

Отец Вениамин усадил его на стул, сел рядом на кушетку, не выпуская из своих рук руки Алексея.

– Мы не можем, поймите вы, не можем сейчас вот так расстаться! Господь, связал нас с вами одной милостью, судьбы наши связал...

– Милостью? – усмехнулся Алексей. – А зачем мне эта милость? Я признал Его доброй волей! Было ведь так! Чудом Он посягнул на свободу моей веры и уничтожил ее!

– Да нет же! Нет! – горячо возражал отец Вениамин. – Не вы ли признавались, что не было веры в вас! Не поддавайтесь гордыне! Вы хотите быть свободным от Бога, но быть свободным от Бога – значит быть в рабстве! Поймите! – От волнения голос его срывался на шепот, он крепко сжимал руку Алексея, крепче, чем можно было ожидать от человека его возраста. – Вы думаете о Боге! Вы жадуете веры! Перешагните через гордыню, станьте дитем, которому только мир открылся, сердце послушайте свое! В его побуждениях истина ваша!

Алексей сделал рукой жест досады, но священник не дал ему говорить:

– Вы не хотите принять чудо! Но вы ... подумайте! Вы бы и Христа не приняли! Ведь вы бы Его распяли!

Алексей внимательно посмотрел на него.

– Какая-то логика есть в ваших словах... Но разве кто-нибудь уверовал благодаря логике?

– Не логика, истина в моих словах! Тысячелетняя истина, которую, было время, признавал весь мир!

– Весь мир признавал Птолемея! Ну и что?

– Господи! – зашептал отец Вениамин, закрыв глаза. На щеках показались слезы. – Господи! Вразуми меня! Дай мне слова!

Алексей попытался высвободиться. Облегчение не пришло, и он уже тяготился разговором.

– Слушайте! – снова горячо и страстно заговорил священник. – Сегодня же, сейчас же идите домой, уединитесь, упадите на колени и заставьте всей силой, какая есть в вашей душе, заставьте себя быть искренним! И молитесь! Не почувствуете ничего, молитесь еще усерднее! Молитесь и час, и два, и три, пока не услышите! Вы услышите, потому что услышаны будете! Дорогой мой, жизнь ваша решается, и не только жизнь, скоротечная и неверная, но и та, вечная которая есть, к которой готовит вас Господь особой милостью Своей.

Он обнял его, уговаривал и умолял.

– Я тоже ... всю ночь молиться буду! И двоих нас услышит Господь, если об одном просить будем! Моя жизнь – это три ваших! И всю мне ее отмолить нужно! Сил хватит ли! Прошу вас! Ступайте домой и обратитесь! Обещайте мне!

Алексей, наконец, высвободился, поднялся.

– Я обещаю вам, отец, что сейчас пойду домой ...

Тут он прервался, глаза засветились скрытой радостью.

– ... ведь уже темно, да? Значит, я полечу! Я буду лететь и думать над вашим советом. Большого обещать не могу!

Он начал торопливо прощаться со священником, глаза у того были полны слез, и он уже больше ничего не говорил, и только крестил несчастного, и что-то шептал.

Когда за Алексеем захлопнулась калитка, священник уже стоял на коленях...

Ночь была теплая и темная. На холме стоял человек и не виден был никому, кроме самого себя. Еще, может быть, видел его Бог!

Ни звука не было в ночи. А вокруг притаилось дремавшее человечество, и снились ему сны о грехах. Все уже было! Был убит Авель и распят Христос, а убийство и распятие были забыты человечеством, как забываются детские шалости. И человек на холме под звездным небом сын Адама, был лишь образом и подобием Адама – Адама, а не Бога, потому что о Боге он уже ничего не знал сам, а тому, что знал понаслышке, верить не мог!

Ночь была теплая и темная. Дремавшее человечество скулило во сне, как собака, обманутая в куске хлеба. Человек на холме слышал этот скулеж, но сочувствия не испытывал, он уже не принадлежал к тому человечеству, с которым разделяла в его теплая и темная ночь.

Человек вглядывался глубину звездного неба и думал:

«Допустим, есть нечто, обобщающее эту бездну материи и пустоты, имеющее в самом себе смысл равный всему разобщению мира. Я могу представить его, как некий имманентный разум, я могу назвать его Богом. Но что такая Я – пылинка от пылинки, какой контакт может быть у меня с тем, что можно предположить под именем Бога?! Как нужно сократиться и упроститься этому Нечто, чтобы заговорить со мной на одном языке, моими жалкими понятиями! Человеку легче установить контакт с амебой! Тут хоть есть некий общий принцип бытия... белок и прочее. Нелепа сама идея Бога... а я летаю!

Но довольно! Я отказываюсь больше ломать голову! Пусть теперь этим займется человечество! Завтра оно узнает обо мне! Я нанесу оплеуху одновременно и науке и религии! Ни попы, ни книжные черви не спекулируют на мне! Пусть ползающие завидуют летающему! Летать! Летать!»

Он отбежал назад от края холма, разбежался и, вытянув руки вперед: ринулся вверх. Опынение полетом овладело им, и больше не было никаких мыслей, никаких проблем и противоречий. Он не чувствовал своего тела, было только сознание самого себя, словно был он теперь тем, чем должен быть от рождения, – бессмертной свободной душой, не отягощенной никакими заботами плоти. Жизнь его стала полетом, и другого смысла в ней не было!

Счет времени был потерян. Он летел и знал, что никогда не устанет, как не может вечное устать от бессмертия. Машинально менял направления и не думал о том, куда летит, далеко ли...

Должно быть, прошло много времени. Неожиданно исчезли звезды, невидимые тучи перекрыли их. Он забыл, с какой стороны они должны быть. Исчезло ощущение верха и низа, вообще исчезло ощущение пространства. Земля и небо исчезли. Подъем и спуск потеряли всякий смысл. Он обнаружил себя стоящим, но где была земля, вверху или внизу, слева или справа, – пространства не было. Страх, никогда ранее не испытанный, ледяным панцирем сковал сердце. Отчаянно он начал метаться из стороны в сторону, но сторон оказалось больше, чем четыре, больше чем шесть, сторон оказалось столько же, сколько мыслей о них. Он закричал, дико и отчаянно, но человечество, даже если оно и было где-то рядом, спало и не услышало его крика. Он понял, что потерял землю. А без нее, как оказалось, невозможно жить! Бог дал ему крылья, а земля отказала в притяжении...

Задохнувшись от крика, он все данной ему силой полета кинулся куда-то...

Всю ночь отец Вениамин провел в молитве и слезах. Обессился, к утру задремал на полу перед иконостасом. Разбудила его соседка, что обычно в седьмом часу приносила ему молоко. Обеспокоенно спросила, здоров ли батюшка. Потом рассказала, что беда случилась в деревне. Человека убили ночью. Доярки утром шли на ферму и увидели. Молодой такой, красивый, говорят...

– Где? – крикнул священник так, что напугал женщину.

– Милиция с району приезжала, забрала.

С удивлением смотрели проснувшиеся жители деревни на священника, почти бегущего по улице с развевающимися по ветру волосами и бородой.

Деревенская фельдшерица оторопела, когда к ней ворвался священник. Он не поздоровался.

- Скажите, вы видели его?
- Кого? – еле выговорила девушка.
- Юношу ... убитого ...
- Видела, – ответила она, не понимая, чего от нее хотят.
- Что с ним?

Она наконец обрела дар речи.

– Не – знаю, так, как будто он с самолета упал... весь разбитый...

Когда вбежал в свою квартиру, дверей не закрыл, у порога не задержался, с размаху упал на колени перед иконостасом и захлебнулся в рыданиях...

Вопросы

1. Раскрыть явление «чуда» в контексте рассказа.
2. Как характеризуются религиозные взгляды отца Вениамина?
3. Какой образ складывается в авторской концепции героя?
4. В чем отец Вениамин видит знаки возвращения «святой Руси»?
5. Охарактеризовать образ Алексея.
6. Какое образование у Алексея? Каким было отношение Алексея к богословской литературе?
7. Анализ диалога отца Вениамина и Алексея о природе и сути чуда?
8. Как можно объяснить реакцию священника на летающего Алексея?
9. Какое открытие сделал для себя священник Вениамин, увидев летающего Алексея?
10. Разъясните смысл фразы: «Бог дал ему крылья, а земля отказала в притяжении».

Юрий БУЙДА



Буйда Юрий Васильевич (29.08.1954, пос. Знаменский, Калининградская обл.). Вырос в Восточной Пруссии. Отец – офицер – танкист, попавший в 1948 г. под маховик репрессий. Мать – военный юрист. Окончил филфак Калининградского университета. Студентом увлекался Достоевским. По профессии журналист. Как считает К.Кокишенева, для прозы Ю.Буйды тотально сомнение в реальности реального. Она утверждает: «О ложности истории» и «ложности реальности» прямо говорит Ю.Буйда, сотворивший вполне филологический и вполне малочитабельный роман «Ермо» («Знамя», 1996, 8), построив его как некую культурную рефлексию с центральной идеей «иллюзорности бытия, игры, вымысла, способного спорить с реальностью». Призер премии имени Аполлона Григорьева (1998), учрежденной Академией русской словесности при поддержке Госбанка.

«Рассказы о любви» – не сборник рассказов и не роман в рассказах, а некое циклическое повествование, части которого объединены временем и местом действия. Рассказы о любви. // Новый мир. – 1999, № 11.

Литература

1. Ремизова М. Сотворение мира // Независимая газета. – 1993. 22 мая.
2. Бычков Д. В зазоре // Общая газета. – 1994. № 39.
3. Аннинский Я. Так чем же все это закончилось? // Новый мир. – 1995. № 2.
4. Агеев А. Черная бабочка свиданий // Знамя. – 1999. № 7.
5. Курбатов В. Дорога в объезд // Дружба народов. – 1999. № 9.

ОДНОНОГАЯ ЖИЗНЬ ОДНОНОГОГО МУЖЧИНЫ

Его обнаружили ранним утром на городской свалке – голого, скрюченного и посиневшего от холода, избитого: весь в синяках, ссадинах, кровоподтеках, с ног до головы облепанный какой-то вонючей бурой слизью, с прилипшими к телу окурками, яичной скорлупой и конфетными фантиками. От него невыносимо разило одиночеством и бездомностью.

Митроха издала ткнул его в бок черенком лопаты – мужчина вдруг открыл глаза и заплакал в голос.

Когда же он выбрался ползком из-за мусорной кучи, Митроха отпрянул, а его напарник Серег перекрестился. Голый мускулистый мужчина был одноногим.

Его окатили водой из пожарного ведра, дали промасленный ватник и брезентовые штаны – на двухметровом детине они смотрелись как шорты.

Мусорщики отвезли его в больницу, а на обратном пути рассказали о найденныше участковому милиционеру Леше Леонтьеву.

После горячей ванны и завтрака, переодетый в больничную пижаму, он завернулся с головой в одеяло и проспал двое суток на узкой железной койке, поставленной нарочно для него в углу бельевой. Опытная кастелянша Машка Геббельс, прозванная так за свой грязный язык, пришла в восторг, обследовав мужские достоинства одноногого, – «Боже ж ты мой, ты мой Боже!» – после чего безжалостно разбудила незнакомца и потребовала плату за постой. Сообразив, что от него требуется, он попросил у Машки презерватив, вызывая у нее неусдержимый хохот.

У меня ледяная сперма, – объяснил мужчина. – Не всем это нравится.

Но Машке понравилось. Вечером она рассказывала санитаркам и кухаркам, как после разогрева – «Мой градусник зашкалил за сорок!» – внутренности ее вдруг обдало жидким морозом. От неожиданности Машка испытала чувства, о которых когда-то читала в одной книжке перед выпускными экзаменами в средней школе, но давно забыла не только чувства, но и слова.

Она обвела слушательниц ревниво-злобным взглядом и заявила:

– Если хозяйки не найдется, возьму к себе.

– Охота ж тебе всякий хлам подбирать. А если он преступник? – предположила повариха Люба. – Вор или убийца?

– Два сапога – пара. Буду прятать краденое и закапывать трупы, – отрезала Машка. Прикажет – язык себе откушу.

Ну уж в это-то, конечно, никто поверить не мог: между стиркой-глажкой больничного белья и подпольной торговлей самым-самым с куриным пометом она безостановочно крыла всех и вся, особенно евреев (в городке было три или четыре еврейских семейства), по вине которых дохли ее куры, поросята вырастали в тощих борзых собак, умер Сталин и звезды небесные с каждым годом становились все тусклее. За склонность к ругательству ее еще прозывали Говноротой.

Тем же вечером доктор Шеберстов рассказал Леше Леонтьеву все, что ему удалось узнать о найденщине. По документам («В заднице он их прятал, что ли?») одноногий значился Иваном Алексеевичем Соломенцевым, сорока семи лет, холостым, проживавшим раньше в украинском городе Нежине. Рентгеновское обследование показало, что Соломенцев родился одноногим, о чем свидетельствовали некоторые особенности строения его тазобедренного сустава.

– Рога, крылья и хвост не обнаружены, – с усмешкой завершил свой отчет Шеберстов, наливая в мензурки спирт. – Машка Геббельс готова за него в огонь и в воду, так что с жильем у него проблем пока не будет.

– Кто ж такого громилу мог так ухайдокать? – задумчиво проговорил Леша. – И как он оказался на свалке?

– Он же одноногий, – напомнил доктор. – Остальное выпало из памяти. Бывает: частичная амнезия. Защитная реакция мозга. Может, со временем и вспомнит.

– Вспомнить-то он, может, и вспомнит, да вот расскажет ли?

Удивленно взглянув на участкового, Шеберстов поднял мензурку.

– За здоровье здоровых, – возгласил он тост. – Сердце у него величиной с легкое. Завидовать этому или бояться – я не знаю.

Соломенцев без долгих разговоров принял Машкино приглашение, но от помощи отказался. Попросил только начертить на тетрадном листке точную схему пути к ее дому.

– А не обманешь? – Машка протянула ему бумажку. – Почестному?

– Обманывают только двуногие, – сказал он, изучая схему. – Хомо сапиенсы. А это что?

– Железнодорожный переезд. За ним сразу направо.

– Иди, я скоро буду. Нет, это не нужно.

– Как хочешь. – Машка убрала заранее приготовленные костыли в самый дальний угол бельевой. – Буду ждать.

Всю дорогу она оглядывалась, а дома села в кухне, уронила кудрявую голову – только что из парикмахерской, адрес которой как бы между прочим выведала у поварахи Любы, – и заплакала.

Наскоро подшив пустую штанину, Соломенцев покинул палату и, прижимая локти в бокам, в несколько прыжков спустился по лестнице в вестибюль. Ему потребовалось не больше десяти минут, чтобы одолеть расстояние до железнодорожного переезда. Орущие и свистящие мальчишки на велосипедах отставали от него на мостах и едва настигали на ровной дороге. Иван Алексеевич не размахивал руками и не дрыгал отсутствующей ногой, не извивался всем телом и, казалось, даже не напрягался: легко отталкиваясь от асфальта, он пролетал метра четыре с поджатой ногой, которая, словно пружина, выскакивала из-под короткого плаща лишь затем, чтобы совершить следующий толчок. Так же легко он перепрыгнул через опущенный полосатый шлагбаум и платформу с гравием, которую медленно тащил «Чарли Чаплин» – маневровый паровозик со смешной трубой. От неожиданности дежурный по переезду старик Ковалайнен взял под козырек и замер в столбняке, с зажмуренными до слез глазами.

– Это я! – крикнул он, впрыгивая в Машкин двор к ужасу давно готовых к смерти кур и борзых поросят, и влетел в открытую дверь, успев подхватить хозяйку на руки.

Опустив ее на стул, он сел на крытый зеленым плюшем диван и сказал:

– Никогда не встречай меня в дверном проеме, не то мне всякий раз придется нести тебя на руках: не могу же я остановиться в середине прыжка.

Машка кивнула.

Он молча оглядел убогую обстановку комнатки, но ничего не сказал.

Машка снова кивнула.

И снова.

– Может, ты поел бы, – наконец проговорила она. – Люба научила меня варить суп и жарить яичницу.

Под утро она вспомнила слово, вычитанное в школьном учебнике, и разбудила беззвучно спавшего мужчину.

– Это называется любовь! – воскликнула она – Неужели ты меня любишь?

– Я знаю, что такое любовь, – сказал он. – Поэтому боюсь заразить ею окружающих.

– Да ты, похоже, и не спал! – удивилась Машка.

– Наверное. Не могу привыкнуть к тому, что ложусь спать человеком одного возраста, а просыпаюсь человеком на шесть часов старше. Это странно и страшно. Если вдуматься, конечно.

После недолгих раздумий Машка со вздохом сказала:

– Ладно. Я тоже буду читать книжки.

Она уже записалась в библиотеку и честно начала читать книги. Первой – назло библиотекарю Морозу Морозычу – она взяла энциклопедию на букву «Э».

Только на третий день она обнаружила под кроватью два начищенных до блеска огромных стальных башмака с острыми, загнутыми вверх носами.

– Что это? – испуганно спросила она.

– Такие башмаки носили рыцари-госпитальеры, которые отвоевывали у дьявола земли, принадлежащие Иисусу Христу. – Он впервые улыбнулся. – Я не знаю своих родителей, но в детдоме мне сказали, что в корзинке, подброшенной к чужим дверям, рядом со мной лежали завернутые в полотенце эти башмаки. Потом я пытался выяснить... мне сказали, что они настоящие... Рыцари надевали их перед боем.

Машка осуждающе покачала головой.

– Если настоящие, значит, стоят уйму денег. Ну да ладно, не продавать же их! – спохватилась она, заметив, как изменилось выражение его лица. – Но хоть поставь их на видном месте – экспонат ведь, можно людям показывать...

– Не надо, – мягко возразил он, возвращая башмаки на место. – Некоторые вещи должны стоять под кроватью. Подальше от чужих глаз и всегда наготове, как, например, стыд или любовь. Есть такие вещи. Их немного.

С середины октября до конца ноября каждую ночь, надев стальной рыцарский башмак, Иван Алексеевич Соломенцев обходил дозором спящий городок.

– Ноябрь – самый опасный месяц, когда в мир являются призраки и прочие чудовища, опасные для живых людей, – объяснил он слегка ошалевшей Машке, лишь однажды – после четвертого стакана самогонки с куриным пометом – видевшей призрака в форме зеленого чертика. – С одиннадцатого века срок обязательной рыцарской службы установлен в сорок дней. Я бы не стал заниматься этими сказками, – смущенно добавил он, – но если уж мне достались эти башмаки...

Машка кивнула.

– Береги себя. – Он погладил ее по вздувшемуся животу. – Берегите себя.

И прыгнул в темноту.

Машка снова кивнула.

Значит, такова одноногая жизнь. Обыкновенная тайна обыкновенного одноногого мужчины, который не красил губы, не бил ее железной палкой и даже никогда не мочился мимо унитаза. Одноногая жизнь одноногого человека без рогов, крыльев или хвоста.

Всю ночь – и так сорок ночей подряд – она не могла уснуть до утра, прислушиваясь к мерному стуку-звону стального башмака, предупреждавшему мирных жителей и всякую нечисть о недреманном страже, готовом вступить в схватку со злом. Мирные жители не возражали, поскольку охранник ни платы никакой не требовал, ни даже благодарности. И только Машка, когда он, усталый и замерзший, под утро наконец укладывался рядом с нею, еле слышно шептала:

– Спасибо ...

Когда наступило время рожать, Иван Алексеевич отнес Машку в больницу на руках, при этом прыгая так, что ей казалось, будто она плывет на мягком облаке.

Ребенок долго не шел, и обеспокоенный доктор Шеберстов был выпущен взяться за хирургические инструменты. Результат удивил и ужаснул: Машкина утроба извергла два ведра липкой жидкости – и все. Уже наутро женщина не чувствовала никакой тяжести, вообще ничего, что бывает после нормально протекавшей беременности. Выслушав маловразумительную речь доктора о «странной ложной беременности», она с торжествующей улыбкой распахнула на груди байковый халат, явив взору Шеберстова пышную тугую грудь, сочившуюся настоящим материнским молоком.

– А это что – саки?

После продолжительного молчания доктор – впервые в жизни в голосе его прозвучало что-то робко-извиняющееся – сказал:

– Можешь выпаивать поросят, например...

Повариха Люба выразилась категоричнее и определеннее:

– Если тебя так уж захотелось родить кого-нибудь, свистни любому мужику: за бутылку водки тебе хоть жирафа сделают. А на этого наплой. – Она всплеснула рыхлыми руками. – Кто ж поверит, что Машка Геббельс станет из-за мужика переживать! Да у тебя их перебивало больше, чем червей на кладбище!

Машка задумчиво покачала головой: у нее было много мужчин, но забеременела она впервые в жизни от одного.

– Он очень одинок. А я еще не стала его одиночеством, хотя, наверное, мы сделаны друг для друга. – Она густо покраснела. – Называется: любовь. Теплое одиночество, живое, на двоих. Извини.

– Называется по-другому! – заорала Люба, у которой от пяти-рых мужчин было семеро детей. – На всякую жопу с гайкой когда-нибудь да найдется хрен с винтом! Вот как это называется, – повторила она, захлебываясь слезами. – Начиталась книжек... Подари ему костыли на прощанье!

– Ну и говноротая же ты, Люба. – Машка покачала головой. – Извини.

Сидя после бани перед зеркалом с гребнем в руках, она долго разглядывала свои тугие щеки, нос картошкой и тонковатые губы. Наконец со вздохом сказала:

– Ты тут, Иван, ни при чем. Все дело во мне. Как родилась некрасивой, так бабки и нагадали: у этой либо вовсе детей не будет, либо родятся жидкие да хлипкие. Вот и получилось: хлюп да хлюп.

Соломенцев соскочил с кровати и развернул ее к себе вместе со стулом.

– Глупости. Набери-ка в таз воды. Холодной, из колодца.

Она безропотно подчинилась.

Соломенцев поставил ее голышом в таз, намылил губкой с ног до головы, облил такой же ледяной водой из большого кувшина и, завернув в махровую простыню, уложил в постель. Ошеломленная Машка даже рта не успела открыть, как ее с головой накрыла волна сна.

Утром Соломенцев бережно подвел ее к высокому зеркалу и торжественно предъявил ей – ее.

– И что? – испуганным шепотом спросила Машка.

– Посмотри на свою грудь.

Машка посмотрела.

– А теперь на живот.

Машка посмотрела.

– Повернись боком. Смотри в зеркало.

Не соображая, сон это или явь, она послушно нялилась на себя в зеркало.

– Бедра! А теперь взгляни на колено! Поняла?

Она уныло кивнула.

– Только я замерзла немножко...

– Вот теперь иди ко мне.

Он крепко обнял ее, и ее вдруг бросило в жар.

– Вот теперь поняла, – проговорила она заплетающимся языком.

-- Боже ж ты мой, ты мой Боже... Неужели нет никого краше меня?

Он ответил именно так, как ей больше всего хотелось.

Потом еще раз.

Весной, когда бурлящая темная вода поднималась почти до самого гребня дамбы, Соломенцева и Машку мучили темные предчувствия.

– Ну как ты с ним справишься в воде? – втихомолку глотая слезы, говорила она. – И какая она будет? Рыба? Змей? Восьминог рогатый?

Иван хмуро отмалчивался.

– Сам же говорил: служба – сорок дней! – уже в голос ревела Машка. – Оно тебя проглотит – не подавится.

Однако оба понятия не имели, чего боятся и какое чудовище может вдруг возникнуть в диких весенних водах, омывающих городок.

– Весной добро не отличить от зла, – говорил Соломенцев. – Это-то и страшит. Воздух, вода, мысли – все взволновано и смешано, и как тут быть?

– Переждать...

– Я должен искупить... – Язык плохо повиновался ему. – Почему-то ведь я родился таким... и башмаки... Не понимаю!

Пасмурным субботним полднем он вдруг быстро собрался и бросился к реке.

Машка вскочила на велосипед, но с полдороги вернулась. Завернула стальные башмаки в тряпицу, которую завязала прочным узлом, и только после этого помчалась вдогонку за Иваном.

Выскочив на гребень дамбы, она тотчас увидела его: раздевшись донага, он высоко подпрыгнул и скрылся в глубине темно-свинцовых вод; изрытых вспененными водоворотами.

– Да вон он где, – сказал неслышно подошедший сзади дед Муханов, указывая желтым пальцем на мелькавшую среди бурунов точку. – Если шук попадется, еще ничего, а шука точно откусит...

– Убери палец, – процедила сквозь зубы Машка, – не то я тебе его по самую жопу откушу. Понял?

Дед закурил сигарету, набитую черным грузинским чаем высшего сорта, и удалился с независимым видом, хотя на лице у него была написана речь минут на десять, состоящая из цензурных многоточий и восклицательных знаков.

Снепив зубы и не отрывая взгляда от грязных вод, Машка ждала. Сзади что-то звякнуло: это Буяниха нечаянно задела ногой узелок со стальными башмаками, валявшийся рядом с велосипедом. На гребне дамбы молча ждали чего-то тысячи людей, не отрывавшие взгляда от разлившейся реки.

Наступила ночь, но люди не расходились. Никто не заговаривал с Машкой, а она почему-то боялась привычным лаем разогнать зевак, чтобы в одиночестве дожидаться рассвета. Присев на корточки, она уснула, успев напоследок подумать: «Если утром на дамбе никого не останется, значит, он не вернется».

Открыв глаза с первым лучом солнца, она долго не решалась обернуться, но все же пересилила страх. Тысячи людей по-прежнему стояли плотной массой на гребне дамбы, хмуρο наблюдая за обманчиво жидким веществом воды, способным поглотить любую вещь, любого человека, проломить любую преграду – стену ли, жалкую ли женскую мечту о любви или несметное воинство ангельское...

– Вот он! – крикнул вдруг дед Муханов.

Мужчины бросились к воде и вытащили на берег совершенно обессиленного, с кровоточащим боком Соломенцева, мертвой хваткой вцепившегося в бревно и с ног до головы покрытого чьей-то чешуей, яркой медью блиставшей под солнцем. Оторвав его кое-как от бревна и укутав одеялами, Ивана Алексеевича бегом понесли в больницу.

– Жаль его, – протянула Буяниха. – А может, и зря жалею. Ведь ему каждый день приходится жить, а нам довольно только быть.

Дамба опустела.

Повесив узелок с башмаками на грудь, Машка кое – как взобралась на велосипед и, преодолевая болезненную ломоту в теле, поехала в сторону больницы.

Узнав, что Соломонцев не приходит в сознание, но кровотечение удалось остановить, она поднялась в бельевую, поставила на тумбочку извлеченные из узелка стальные башмаки и застыла на стуле.

Через час к ней заглянул доктор Шеберстов.

– Вряд ли он выживет, Маша, – сказал доктор. – Может быть, у него вырастет вторая нога. Что-то там внутри у него происходит... Боюсь, я просто ничего не понимаю...

– Почему боитесь? – не оборачиваясь, спросила Машка.

– Он ведь родился одноногим. Кто знает, что будет...

Она промолчала.

Когда Шеберстов закрыл за собою дверь, Машка опустилась на колени перед блестящими стальными башмаками, сложила перед собой ладони и тихо, но отчетливо сказала:

– Пусть останется одноногим, Господи. Или двуногим. С рогами, крыльями и хвостом. Я все равно рожу от него ребенка. Хотя и знаю, сколько и чего мне придется пережить. Согласна. Но умереть он не должен, потому что не может он умереть никогда. Ни за что, Господи. Аминь.

И решительно встала, не перекрестившись, потому что не знала, как это полагается делать, да и надо ли? Извлекла из самого темного угла бельевой костыли и с яростью сломала их через колено – откуда только силы взялись.

Ее никто не остановил, когда она, в небрежно наброшенном на голые плечи халате, вошла в одиночную палату и легла рядом с Иваном, тесно прижавшись к нему грудью, животом и бедрами, краше которых не было на всем белом свете.

От него слабо пахло сырой рыбой, пережитым ужасом и неизжитым одиночеством.

Он вдруг открыл глаза. По щекам его текли слезы.

– Я же говорил: это заразно.

– Это хорошо, что заразно. Оказывается, я давно мечтала этим заразиться. Тем более – в хорошей компании.

– Неужели мне придется ходить на костылях?

– Нет. Я научу тебя одноногой жизни... будешь у меня прыгать на одной как миленький...

– От тебя почему-то пахнет мною, – прошептал он. – Да как! Боже ж ты мой, ты мой Боже...

– Еще бы, – сонно пробормотала она, обнимая его за шею. – Но это уже другая история...

Заглянув через полчаса в палату, доктор обнаружил их крепко спящими.

– Так он выживет или нет? – сердито спросила повариха Люба.

– Где черт не сладит, туда бабу пошлет, – загадочно ответил Шеберстов.

– И что дальше?

Доктор задумчиво посмотрел на нее сверху вниз и пожал плечами:

– А это уже другая история. Мы ведь от смерти спасаем, а от жизни лекарств пока не придумано. Одно знаю навверняка: костыли ему еще долго не потребуются. На кой черт ему костыли, а?

Вопросы

1. Какой тип героя представлен в рассказах Ю.Буйды?
2. Раскрыть особенности романтической трактовки любви?
3. В чем проявляется пафос рассказов?
4. Как характеризует героя его ежедневный маршрут на работу («Химич»)?
5. Какую функцию выполняет цитата из чеховского рассказа «Человек в футляре» в объяснении характера героя?
6. Как изменяются жизненные интересы героини после встречи с одноногим мужчиной («Одноногая жизнь одноногого мужчины»)?
7. Какую функцию в раскрытии характера героя выполняют «стальные башмаки»?
8. Какое объяснение понятию «любовь» дает героиня?
9. Найдите в тексте примеры, привязывающие события к реальности, и художественные приёмы, придающие ему характер фантастасмагории. Какую художественную задачу решает автор, сплетая воедино столь различные детали повествования?
10. Раскройте внутреннюю связь между рассказами.



Михаил БУТОВ

Бутов Михаил Владимирович (р. 1964, Москва). Потомок основателя династии, производящей водку «Smirnoff». Окончил Московский электротехнический институт связи. Лауреат Букеровской премии (1999) за роман «Свобода» («Новый мир». – 1999, №№ 1-2). К.Кокшениева особенность «Свободы» увидела в том, что Бутов «пробует не идеологемы описывать, не мифы создавать, но пытается «дослушаться до самого себя», «уловить себя». Герой Бутова, проживающий на «излете эпохи» – человек догмата. Может, поэтому, он произвел впечатление на современников. Но А.Латынина, когда шумиха вокруг премии прошла, саркастически заметила: «Ну да, роман. Все ингредиенты профессионально изготовленного литературного блюда налицо, рефлектирующий интеллектуальный герой. Но герой этот alter ego автора, столь нарциссически упоен своими утонченными страданиями, что так и тянет оставить его наедине с собой» («Литературная газета», 2001, № 47). С середины 1990-х годов работает в журнале «Новый мир».

Роман «Свобода» печатается фрагментарно по изданию: М.Бутов. Свобода // Новый мир. – 1999, №1, 2.

Герой романа пытается «отъединиться от мира, от общения, от любого конкретного деяния, забивается вглубь пространства, где и выстраивает соответствующую его подавленному состоянию сеть координат». Отъединение от людей необходимо герою, чтобы разобраться в самом себе, чтобы достичь свободы, её внешнего выражения. В этом его причина «Великого отрыва», побега на квартиру друга в Большом Тишинском.

Соч.: Изваяние пана: Рассказы и повесть. – М., 1994; Известь: Повесть // Новый мир. – 1994, № 1; Музыка для посвященных: Повесть // Знамя. – 1995, № 3. Свобода: Роман // Новый мир. – 1999. №№ 1, 2.

Литература

1. Елисеев Н. / Новая русская книга (Рецензия). – Санкт-Петербург. № 5.
2. Иваницкая Е. Скучная свобода // Знамя. – 1999. № 6.

3. Кокшенева К. Перемена умов // Кокшенева К. Революция низких смыслов. – М., 2001.

4. Кузнецов И. Глазами постороннего // Дружба народов. – 1999. № 4.

5. Марченко А. Паук по имени Урсус // Литературная газета. – 1999. 17 февраля.

СВОБОДА

Чем дальше, тем больше я видел оснований подозревать, что фамильными касаниями к искусству, подполью и безумию мера участия в жизни, определенная нашей семьей, исчерпана без остатка. И если отец вышел здесь на уровень твердого нуля, то мне, хотевшему быть всем, существовать оставлено в областях отрицательных, если не мнимых.

Таким или подобным такому путем покатались мои мысли, когда в октябре меня попросили с работы. Не выперли – именно попросили, потрудившись объяснить причины; раньше это происходило иначе, и наклеивался вывод, что все-таки я взросло.

Снова пристроиться к кормушке в обозримом будущем мне скорее всего не светило. Прогрессирующая мизантропия и навязчивая, в последние месяцы, тяга к отъединению свели фактически на нет и круг моих знакомств, и список занятий, к каким я мог бы еще себя принудить. Поэтому размещать капитал сейчас нужно было осторожно и безошибочно. В тот же день я прикупил в спортивном магазине «Олимп» пару надежных туристских башмаков. Дальше к ним добавились: сто начек «Беломора» и еще, на крайний случай, несколько брикетов шестиконечной подпалесневелой от древности махры; по десять кило вермишели, гречки и риса; пластмассовые бутылки с растительным маслом и большой пакет сахарного песка; какое-то количество соли, спичек, чая «Бодрость», мыла и приправ – всех подряд; наконец, три картонных ящика стеклянных банок с кашами, сдобренными тушенкой.

Я делал заготовки лихорадочно и почти вдохновенно, словно спешил навстречу чему-то, чего добивался давно и напряженно, а не на дно залегал: на сей раз по-настоящему глубоко, чтобы только наблюдать отныне, с позиции моллюска, сумеет ли куда-нибудь вынести меня поток существования, ни моей и ничьей воле больше не подчиненный.

Я фотографировал камни – моего друга интересовало движение. Он изучал особую, неподконтрольную людскую пластику, проявляющуюся, когда человек теряет власть над собой. Чутье безошибочно выводило его туда именно, где через мгновение падал в припадке эпилептик, пытался опереться ладонями о воздух застигнутый сердечным приступом старик или сжавшаяся в истерике женщина пускалась выкликать обвинения миру. Нам доводилось названивать в «Скорую» и помогать прохожему врачу делать искусственное дыхание; подолгу проставать, наблюдая, как пьяный на панели подтягивает к подбородку колени и пытается свести локти, как бы в обратную сторону вывернутые, или следовать за расхлябанным, с убегающими руками, сумасшедшим. Иногда он просил у меня аппарат и прицеливался – но так и не нажимал спуск. Говорил, что необходимо остерегаться фиксации, извлечения момента из связи – ибо данный способ обращения со временем хотя и прост, но легко оборачивается принудительным накачиванием смыслов.

Он рассказывал мне, что многое перепробовал на сцене, прежде чем осознал в должной мере свое эпигонство. И только после затянувшегося мучительного бездействия один-единственный крик вдруг открыл перед ним его собственную дорогу. Навещая сослуживца после операции, он услышал, как кричит в соседней палате человек, выходящий из-под наркоза. И его поразило, насколько не соответствовал этим звукам расхожий определитель «звериные» – любой зверь смотрелся бы для них чересчур теплокровным. Безымянное горло за стеной зывало к иному царству – в исступлении первого существа, награжденного эволюцией голосовым аппаратом. С тех пор он начал подмечать проступающее в моменты сильной боли, самозабвенной ярости, в некоторых бессознательных состояниях необыкновенное сходство движений человека и насекомого. И актеры его от постановки к постановке все более походили на палочников или богомоллов – то пожирающих друг друга, то стимулированных электрическим током.

Я посещал его спектакли с удовольствием неизменным. Как художник истинно русский, он любил давать их в жутких каких-нибудь подвалах.

Часто казалось, что стоит отступить на три метра от того, что было в этот раз сценой и зрительным залом, – и наткнешься на крысиный выгон, а то и на пригревшегося возле централи жмурика.

Однако, уже в обход традиции, он не хотел, чтобы зрителей непременно набивалась толпа, и приглашал обычно не больше десяти человек, объясняя, что таково максимальное число, при котором еще возможно создать некий общий кокон, замкнутое пространство: геометрическое – подвальной секции или, в смягченном варианте, наглухо задрапированной черным институтской аудитории, световое – ртутного мертвенного света от специальных фонарей и акустическое – умопомрачительных шумовых фонограмм? Допущенные внутрь всего этого могли считать себя избранными. Я подтрунивал, но в глубине души мне льстило, что мое присутствие подразумевается всегда.

Мне нравилось думать о себе как о певце одиночества и бездомья. «Но несмотря на весь этот внешний порядок, мое существование вовсе не было одинаково ровным и безмятежным. Я ведь, в конце концов, не оттого только решил до срока запереться здесь, что остался в один прекрасный день без работы и не представлял, с чего начинать заново. Я надеялся нащупать в молчании выход, я все еще протестовал, все еще не хотел признавать, что жизнь, которую стремился превратить в выковывание бытия сокровенного, обречена развиваться по модели визита к зубному врачу: сажают в кресло, делают больно, берут деньги...

Иногда приходила женщина. И сначала я радовался каждому ее визиту, даже звонку. Что-то в ней стало надламываться – катастрофически быстро, все сильнее и сильнее. Я искал, чем помочь: хотя бы слова, на которые она сможет опереться. Но мои попытки встречали насмешку свысока и злую неприязнь. Она нуждалась не в этом. И уже не могла держаться со мной иначе, чем неумело навязывая мне какую-нибудь свою боль. А я всерьез сомневался, сумеет ли она вообще выправиться. Теперь я не знал, когда и в каком состоянии должен ее ждать: пьяной вдрызг, или до предела, до крика взвинченной, или проглотившей слоновью дозу таблеток – и придется силой вливать в нее подогретую воду, чтобы промыть желудок (наши соития бывали после таких процедур особенно неистовы).

Еще немного, и я бы не выдержал, следом за ней сорвался в сладкий крах, в сумасшествие. Но все же она опомнилась, остановилась. Произвела замирение с мужем. У нее был трехлетний сын, в младенчестве сильно болевший, так что из декрета на работу она не

вышла, а потом уже как-то не удавалось устроиться. Не работал и муж: соблюдал художническое достоинство. Втроем они жили на деньги, перепадавшие от ее родителей. Прежде я старался подкидывать ей с полочки рублей по сто пятьдесят. Тратила она их себе на одежду или на фрукты ребенку и всегда норовила отчитаться, одновременно отстаивая мужа (скорее в собственных глазах, чем передо мной): уверяла, что за вычетом безответственности человек он совсем неплохой. В шутку я спрашивал, почему из нас двоих, даже внешне достаточно одинаковых, она предпочитает меня. В шутку получал ответ, что подкупают во мне самодостаточность и воля к будущему. Я разводил руками: к какому?

Чувство равновеликости расстояний от меня до всего на свете было последним, чем я еще дорожил.

Мое любезное одиночество уже не откатывало с ее приходом, оставалось в силе и покое. Его материю другие мои сожители делали почти осязаемой – так звезды то ли задают метрику времени и пространства, то ли порождаются ею сами. Были они четырех родов, и каждый имел свою строго определенную зону обитания. В кухне заправляли тараканы. Под ванной тихо скреблись мыши. Ни те, ни другие не причиняли мне беспокойства. Иное дело – крысы.

Они явно не жили здесь, только являлись с обходом и вряд ли даже на пол спускались, пробираясь, судя по осторожным почным шорохам, вдоль газовых и водопроводных труб.

Границы ареалов вся моя живность соблюдала неукоснительно – на чужие территории никто не замахивался.

И ни мыши, ни тараканы, ни крысы никогда не переступали порога комнаты. Здесь безраздельно царили пауки.

Они не покидали своих сетей под потолком – но и оттуда железно контролировали пространство. Первые дни я постоянно чувствовал исходящее от них недоверие и что бы ни делал – делал с оглядкой, как солдат-первогодок перед сержантом. Меня прошупывали, оценивали: достоин ли вида на жительство или вернее будет отлучать от воды и огня, соединившись как-нибудь ночью опутать по рукам и ногам, принайтовать к кровати и так бросить – умирать с голоду. Но минул месяц, а я ни разу не применил веника против паутинок. И однажды вздохнул с облегчением, понял: все, натурализован.

С тех пор мы почти не замечали друг друга – а это удается только при взаимоотношениях идеальных.

Обнаружив новую сеть – пока еще девственно белую, не успевшую потускнеть от мелкой комнатной пыли, – распыленную прямо над моим изголовьем так низко, что можно было дотянуться рукой из положения лежа, подумал сначала, что это всего лишь переселился пониже старожил в поисках лучшей охоты, полагая, наверное, что мое большое тулово способно хорошо привлекать мух. Но всех пятерых напел на прежних местах – стало быть, я обзавелся новым соседом.

Мне хотелось считать, что нетипичное местоположение, выбранное новичком для своего жилища, есть знак особой судьбы, а не простое следствие того, что лучшие места уже заняты более сильными и более удачливыми. Хотелось видеть в нем царя царей, бывшего до времени (вероятно, до половой зрелости) скрытым от глаз согласно обычаю и ритуалу. Увеличивая его единственной линзой битых хозяйских очков, я пытался различить какие-нибудь отметины, свидетельства избранности.

Я все больше убеждался, что устроен он как-то иначе, нежели остальные. Скажем, дом-трубочку он себе так и не соорудил и постоянно сидел на паутине, в которую не всякий день попадалась хотя бы одна крохотная мушка. А ему как будто вполне хватало на продление живота.

Он и на добычу не бросался, а подходил раздумчиво, не спеша и в кокон ее заплетал с некоторой даже ленцией – никаких признаков голодного нетерпения нельзя было в нем обнаружить. Избегал трапезничать у меня на глазах: только раз, случайно, я застал его припавшим и посасывающим из кокona. Имя для него – Урсус – сложилось по звуку и отсылало разве что к урчанию в животе.

Наконец я решил, что мы уже достаточно давно знаем друг друга, неплохо один к другому притерлись и теперь уже можно предложить ему небольшую помощь – не потому, что он в ней действительно нуждался, но в знак дружбы и уважения. Я стал ловить мушек в полулитровую банку с навинчивающейся крышкой.

Поутру я извлекал их, чуть сдавливал, чтобы не убить, но только лишить подвижности, и помещал Урсусу в паутину.

Однажды я чуть замешкался. отвлекся на чью-то громкую перебранку в подъезде. Ладонь моя была поднесена снизу к самой сети. И вдруг я почувствовал на кончиках пальцев как бы слабое

дуновение: Урсус слегка опустился, на сантиметр размотал свой канатик, обхватил муху, которую я еще держал, и тянул к себе!

Потом я все пытался припомнить что-нибудь, бывшее со мной, что растрогало бы меня так же, как это доверие.

Как-то я продемонстрировал этот фокус своей гостье. Я считал наши успехи не такими уж обыкновенными, и ее брезгливое невнимание, ее ирония по поводу того, что мне охота возиться со всякой мерзостью, не на шутку меня обидели. Я не отказал ей от дома – не скинешь ведь со счетов зуд и жало, даденные в плоть, – но с тех пор никогда уже не оставлял в комнате одну, без присмотра, не позволял хозяйничать, а во время любовных встреч подушку перекладывал на другой край кровати: боялся, как бы она не нанесла Урсусу вреда, по неловкости или потворствуя своей глупой неприязни.

На своем месте по-прежнему оставался Урсус. Он стал мне другом, и я искренне беспокоился о нем, с волнением спрашивал себя, уж не привязанность ли, установившаяся между нами, заставила его задержаться здесь – наверняка на погибель?

Я понял, что сердце мое – не камень.

И отправился на кухню ловить таракана.

Урсус приблизился к таракану с опаской, бочком, сделал круг – и снова замер в углу. Я решил, что подношение мое не годится и будет отвергнуто. Но тут он все же отважился – вернулся и опшел прусака.

Я успокоился. Я наконец-то занялся своими делами. Помылся. Пустил на ужин остатки гречки. Перечитал первую главу астрономической книжки. Радио допело до часу ночи, дальше объявили перерыв – профилактика передатчика. Урсус был жив еще. И утром он был жив: я видел его возле кокона с тараканом.

Я забыл об Урсусе. А он тогда уже висел, с раздувшимся в шар брюшком, зацепившись за нить одной из сложенных пополам ножек, и неощутимый ветер раскачивал его так легко, будто тельце уже иссохло.

Убил ли Урсуса какой-то яд, содержащийся в принятом от меня таракане, или просто переедание после длительной голодовки – но чем была бы почетнее смерть от бескормицы? Я не винил себя. Не винил. И все-таки не находил себе места: не мог читать, не мог двух минут вынести без движения – словно полиэтилен над огнем, пошла расползаться моя жизненно необходимая самодостаточность.

Я бродил по квартире, брал вещи и отставлял тут же, иногда ронял. Я обнюхивал действительность, как собака лужок в поисках целебной травы.

Если, смежая в темноте веки, внимать своему внутреннему, беспредметному зрению, плывут сперва цветные пятна – слева направо. Дальше все успокаивается, и в самом центре остается пятно в форме паука – чернеет окружающего черного. Постепенно в нем начинают проступать и сменяются с нарастающей скоростью множество образов – но каждый исчезает быстрее, чем успеваешь отдать себе отчет, что именно ты видел. И будто бы можно по собственной воле вызвать здесь что угодно: жирафа или анемоны, – только опять картинка переменится прежде, чем в ней удостовериться. Имя этому – Ничто. Так оно выглядит.

Теперь, застигнутый мраком и тишиной, я наблюдал его воочию распахнутыми глазами. Потом я все-таки задремал. Женщина, Укрытая густой тенью, протягивала ко мне руки и причитала, жаловалась:

– Николенька мой от меня уходит, уходит...

Мне почудилось, это была моя мать. Но почему – Николенька? Брата зовут иначе. Прежде только с ним она пугала меня по имени.

Я видел ее совсем коротко – пока люстра не вспыхнула опять, в полновесные триста ватт. Я – крыса (белая) в лаборатории неба: лампочка потухла, лампочка зажглась – каким двинешься лабиринтом.

Момент показался мне подходящим, чтобы взять и тоже умереть. Если мир намерен выкинуть меня вон, в никуда, так пусть и покажет без прикрас свою правду.

Коли уж приведет судьба и составит из предметов вокруг меня обстановка исключительной непросветности – не стоит, пожалуй, упираться и делать вид, будто намек не раскусил. А тут все здорово совпало, и если не сейчас – то когда же...

Я не воображал себя на амвоне; мне казалось – ему охота поговорить. Я думал сказать о Савле и Павле. И даже приномнил несколько цитат – из тех, что любил приводить дьякон, – дабы своей осведомленностью убить Андриюху наповал. Но куда, прежде чем начать речи, я нащупывал, вытянув руку, на столе папиросную пачку, он вдруг повернулся ко мне спиной и засопел, причмокивая. Цитаты остались невостребованны. Только самую популярную:

«Держи свой ум во аде и не отчаивайся» – мне представился повод самому себе пробормотать.

За давностью лет я уже не способен сказать в точности, когда и с чего именно началась наша дружба. Но десять против одного, что встретились мы где-нибудь в самые первые дни студенчества в курилке Института связи, выбранного и мною и Андрюхой по критерию низкого проходного балла.

Мне нравилось находить в Андрюхе что-то, чем я не обладал сам. Нравилась его бурная, детская совсем восторженность перед дорогими вещами, хорошей едой и марочной выпивкой, друзьями, женщинами. Однажды про себя я назвал его «человек-праздник». Мы успеем повзрослеть, измениться, станем скучнее, перелистаем без особого толка изрядное число календарей – и вдруг выяснится, что я так и не понял в нем главного, не увидел самого мощного теллурического течения его души – подспудной тяги к самоуничтожению.

Понятие о деньгах как о том, что требуется держать в неприкосновенности ради отдаленной – пускай всего на день – цели и выгоды и сведения о бумажках в кармане, посредством которых можно прямо сейчас, сию минуту доставить удовольствие себе и ближнему, как будто записывались у Андрюхи в разных отделах мозга и между собой не перекликались. Признаться, я не считал это таким уж великим преступлением. Или болезнью. Ну, разгильдяйство... Я вообще избегал выносить здесь суждения и делать оценки – он был мне дорог.

Кроме того, он испытывает страх глобальной ответственности. Что значит – глобальной? Ну, социальной, даже, если хотите, экзистенциальной. Он любыми правдами и неправдами гонит от себя подобные мысли – и все равно остро чувствует давление социума, навязывающего нелегкие обязательства: так или иначе актуализироваться, кем-то становиться, чего-то достигать. Он вырос в мирной, конформистской семье, воспитывался на определенных установках и теперь невольно, при всей внешней независимости, подчиняется жестким парадигмам. Но не менее остро чувствует и свою слабость, ничтожность маленького «я» перед огромным и чуждым миром. Отсюда – имитации, демонстративные оптимизм и респектабельность. Отсюда – боязнь не состояться, очутиться за бортом, которую он категорически не согласен в себе признавать. Причем

не просто за бортом общества или какого-то его слоя. Серьезнее и сложнее. В сущности, он переживает то же, что и люди религиозные, – боится, что однажды с него спросят – а ему нечего будет предъявить в оправдание.

Сознательно он не стремится к смерти. Думает о ней наверняка с содроганием. Не осознает и того облегчения, ради которого снова и снова загоняет себя в туниковые ситуации, где уже; нельзя ничего исправить и ничто больше от него не зависит.

Устойчиво повторяется именно денежный вариант.

Им как будто движет кто-то другой. Хотя и не совсем так. Там никого нет – никакого второго «я» никакой параллельной личности. Всего лишь сгусток энергий, напряжений, ищущих разрешиться.

* * *

Разносольную бабушкину посылку мы единым махом ополовинили еще накануне, да и в обед сегодня заморили червя. Андрюха согласился, что нет смысла беречь и растягивать остаток. Однако им овладела неожиданная страсть к сервировке. Покуда я истекал слюной и слушал томительные гулы в пустом брюхе, он с инквизиторской неспешностью составлял на ущербной тарелке ресторанные узоры, орнаменты, натюрморты, целые сады из колбасных кружков и ветчинных прямоугольников, ломтиков сыра и белесых, словно утопленники, кальмаров, из шпрот и сайры, тонко нарезанного фиолетового лука, огуречных и помидорных долек, венчая солнечными половинками лимона. Не в два приема устраивалась такая мандала, и разбирать ее наспех тоже рука не поднималась – каждое движение к ней полагалось будто бы обмозговать. Я спросил, что он вообще мудрит, от добра добра не ищут – зачем голодным людям добиваться от среза ветчины сердоликовой полупрозрачности? Чревоугодие, заявил Андрюха, произрастает там, где процедура принятия пищи лишена эстетической компоненты – а у меня в быту это несомненно имеет место. Тогда я рассказал ему, что грехов в плане еды, строго говоря, два, и они равновелики, хотя и различны: есть чревоугодие, а есть – гортанобесие.

Удивительная вещь: чем явственней смахивают наши методы на хитрость настырного сумаспешного, тем очевиднее они попадают в яблочко. Так, значит, и надо? Так и добиваются успеха? Я только заметил, что у милиционеров в Москве происхождение по большей части деревенское.

В нежные лета – да и за всю, по сути, жизнь – у меня случилось четыре яркие находки.

Пять рублей. Они полоскались в луже, и я наехал сверху велосипедом. Если не ошибаюсь, я купил на них у спекулянта в «Детском мире» четырехосный спальный вагон для двенадцатимиллиметровой немецкой железной дороги. Эта железная дорога была моей страстью.

Фабрика глобусов. Вернее, свалка при ней.

Я, конечно, знал, что помойки – источник уцененных вещей и в сокровенных своих глубинах чего только не прячут. Но здесь дух захватывало от впечатления скорее эстетического. Перекрытый вентиляционными коробами тупичок из фабричного брандмауэра и двух разных заборов, эдакую пещеру Али-Бабы, глобусы заполняли доверху – гора глобусов, желто-синих картонных планет, склоном ко входу. Похоже, сюда годами отправляли через пролом в заборе бракованную продукцию.

Несколько выходных подряд я раскапывал и сортировал эту кучу. В результате одних лишь обычных, учебных, но безукоризненных, угодивших сюда явно по ошибке, отобрал дюжину. А еще, с пренебрежимыми дефектами, гиганты – как надувные пляжные мячи, и, напротив, карлики – для школьных приборов, демонстрирующих движение Земли вокруг Солнца, смену дня ночью и времен года. А еще – я и не подозревал, что такие существуют: украшают, не иначе, кабинеты важных людей – пятнистые политические; среди них совсем раритетный, старый, непривычных густых цветов и с колониями. Особняком – жемчужина, ручная работа: чуть-чуть пооббитый рельефный глобус Луны. Кто-то мелко надписал на нем простым грифелем: Море Ясности, Коперник. Не мог же я все это бросить на произвол дождей и снега.

Утопленник в канаве на Крылатских горах.

Сперва мы заметили серую кепку, повисшую на кусте, и что-то остряли по этому поводу. Мы учились во вторую смену, а с утра вышли посшибать майских жуков, втроем: я и два моих приятеля из параллельного класса – будущий пьяница и будущий комсомольский вожак. Владелец кепки лежал в воле ничком и не слишком бросался в глаза, ибо одет был в тон окружающим его сырым корягам. Должно быть, поддатый работяга с крылатской птицефермы: вздумал, судя по приспущенным штанам, облегчиться с обрыва, не

устоял и полетел вниз, а там ударился головой о комель – и готово. По молодости лет единичная смерть представлялась нам событием государственного значения.

А эта находка – по времени самая ранняя: скорее всего, я еще не поступил в школу, – вальдшнеп в траве на том же гречишном поле. За давностью картинка смазана, осталась схема впечатлений. Вечер летний, но прохладный уже, августовский, очень ясный, кучевые облака собрались к западному горизонту и сопровождают багряное раздутое солнце, на которое можно смотреть не щурясь. Я гулял на холмах и возвращаюсь домой; на ужин будут блины со сгущенкой; мне уютно, я в бабушкиной желтой вязаной кофте. Я не помню, что привлекает мое внимание; как будто и вовсе не было никакого знака: по чистому наитию я делаю шаг в сторону в тропинки, сажусь на корточки и ладонями раздвигаю у края пашни высокую, густую, выгоревшую за долгое сухое лето зелень. Наверное, первогодок, почти еще птенец: в цвет сени, с пестринами, с длинным прямым клювом – даже не пытается взлететь, но жмется к земле, втягивает голову. В сложенные крылья и словно косит на меня позачяби, назад и вверх. Я знаю вальдшнепа, среди других диковинных птиц вроде глухаря и удода, по этикеткам спичечных коробков – целая птичья серия – и до сих пор пребывал в убеждении, что водятся они только где-то в дремучих лесах. С минуту я разглядываю его затаив дыхание. Он не так уж и мал, но кажется таким невесомым и хрупким, что я опасаясь чем-нибудь повредить ему, если возьму в руки, хотя взять хочется. Потом отпускаю траву и отступаю. И дома ничего не рассказываю – боюсь, что мне не поверят...

Когда перевалили филевский мост, я уже точно знал, куда и зачем еду: в родные пенаты, к матери, просить займы. Много она не даст, да и вряд ли у нее есть – но что-нибудь, может, и перепадет.

– Ты на запах, – предупредила, – не обращай внимания. Я полчаса только как вошла. У Рыжика с утра расстройство. Не везде еще убрала... Ну, я рада. Давай снимай куртку, мне нужно досмотреть...

И вернулась в кресло перед телевизором; рыжий короткошерстый кот вскочил ей на колени. Я думал – фильм, оказалось – информационная программа. Я все еще не привык к новым реалиям и страстям, мне по инерции виделось что-то противоестественное в том, с каким алчным вниманием теперь следят за новостями.

Сообщили о пикете с кумачовыми транспарантами возле ленинского паровоза на Павелецком вокзале – коммунисты поднимали голову.

– Сволочи, – сказала она. – Недобитки.

Прослушали сводку погоды. Потепление. Совсем я забыл об опасностях, подстерегающих здесь: не стоило садиться на диван – свитер тут же покрылся кошачьими шерстинками.

Квартира выглядела запущенной.

Я спросил, где брат.

– Утверждает, что на подготовительных курсах. В институте.

Там конкурс небольшой: по его словам, достаточно сдать без двоек. И военную кафедру не отменили. Да господи, в какой угодно, лишь бы поступил. В армию разве можно сейчас? Куда их завтра пошлют, с кем воевать? Телевизор включать страшно...

– Так у него еще год в запасе. Провалится нынешним летом – пройдет следующим.

– Потом, институт – не единственный способ. Тем более теперь и после институтов гребут за милую душу...

– Но все-таки отсрочка... Бог даст, за это время как-то вокруг образуется. И уже офицером... О чем ты говоришь – не единственный? Не в психушку же ему ложиться!

– Ну, в психушку, да, – согласился я, – хорошего мало. Но можно, например, по сердечной линии или там по сосудистой – комиссуют по всяким статьям... Найти знающего врача, заплатить. И пусть пишет ему обращения, обследования, диагноз такой, чтобы трудно проверялся, – тогда и в госпиталь его вряд ли направят. Чем раньше начнете, тем вернее.

– И где я должна искать этого врача? – Тон у нее стал надменный, будто я предлагал что-то неприличное.

– Да у тебя полно подруг! Потормоши их. Человек через третьего знаком со всем миром.

– По-твоему, я способна просить о таких вещах?! Способна где-то под столом передавать деньги за подлог?! Как ты себе представляешь?.. Это ведь... унижительно! Будь у меня деньги, мы бы скорее наняли репетиторов. Институт – по крайней мере честный путь. А мухлевать я не собираюсь и ему не позволю.

– При чем тут честный – нечестный? Что, преступление, если человек не хочет, чтобы государственная машина безо всякой вины,

силой, задарма отбирала у него два года жизни? Не желает подвергаться издевательствам. Отказывается убивать, отказывается быть убитым.

– Но страны без армии не бывает! Не заставляй меня повторять прописные истины. Значит, кто-то должен служить! А тебя послушать – и ясно, за что москвичей всюду ненавидят. У вас даже тени понятия нет о таких вещах, как гражданский долг, о том, что, в конце концов, просто первая обязанность мужчины – отстаивать, если нужно, интересы своей родины и своего народа. Нет, вы во всем видите исключительно бессмыслицу и несправедливое принуждение.

Вот они и идут, и терпят, как ты назвал, издевательства, и погибают, куда вы тут прячетесь по больницам, а в сущности – за их спины...

– Мама! – взмолился я. – Ну что ты городишь?! Кто такие: мы, вы? Ты хоть вспомни, что мы не вообще рассуждаем, а о твоём сыне! Ты же не хочешь, чтобы он там очутился! Стало быть, нутром чувствуешь обман?

За столом расспрашивала:

– Не болел?

Смотря чем. Дух, боюсь, болен у меня.

– С твоим братом все по-другому, – посетовала она. – А в тебя я с самого начала верила. Ты был очень серьезный. Почти не плакал. Сидел в манеже и рвал детские книжки – часами. Никак не мог научиться перелистывать. А я стирала ползунки и радовалась: вот вырастет глубокий, цельный человек...

Освоившись довольно, я исполнился куража и нагрел в гости к той семейной паре, с которой некогда зимовал в выселенной коммуналке.

Хозяин не стеснялся рассказывать о себе. Он говорил, что у него был тяжелый период внутреннего перелома, трезвой оценки своего художественного дарования – и теперь он больше не помышляет о станковой живописи. Что, словно в награду за усмирённую гордость, за болезненное, но честное отречение, ему стало приносить подлинные творческие радости оформительство, мнившееся раньше занятием второстепенным, вынужденным, всего лишь приемлемым для живописца источником хлеба насущного.

– У нас грандиозные планы. – сказал он, провожая меня к лифту, книжные сериалы, иллюстрированный журнал. Мне нужны

люди. Смотри. Азам я бы обучил тебя за неделю, а там – постигай на практике. Все так начинают... Зарплата достойная. Не хватит – наберешь левых заказов, халтура всегда найдется.

Мое тонкое чутье на судьбу включилось сразу же, с первых его слов, за которыми я моментально уловил не обыкновенные для всего, бывшего со мной в эти месяцы, ненатуральность и пустоту, а наконец-то долгожданную достоверность. Вот оно. Он делал мне предложение по всем параметрам почти идеальное. Мог бы взять доку, специалиста, но зовет меня – великая штука старое приключение. Вот и конец моей странной зависимости от непутевого друга, чужих долгов, антарктических экспедиций...

Только чего-то тут не хватало. И лифт еще не успел добраться к нам на девятый этаж, как я уже знал – чего. Я должен был испытать освобождение, что ли, облегчение... Но я не испытывал облегчения.

Домой я вернулся пешком. Я надеялся, что прогулка позволит мне сконцентрироваться, навести в голове порядок, однако мысли разбегались по множеству направлений. Было около десяти вечера. Еще дворник без шапки колот у подъезда приваренным к лому топором лед, легко отслаивавшийся от асфальта. Благодарный весенний труд. Возле торчал в почерневшем снегу дюралевый скребок. Когда я пробирался, расставив руки и балансируя, по вздыбленным ледовым оковалкам, дворник спросил огня. Он поджег приплюснутую «Астру» и виновато кивнул на осиротевшую лопату: – «Дочка устала. Неважно себя чувствует.»

Я расстегнул куртку и выдернул скребок. Примерился. Черенок коротковат – под женщину или подростка.

– Зачем вы? – растерялся дворник. – Не надо... Да бог разберет зачем. Так. Разогнать кровь по жилам.

Я свободен не ехать. Свободен. Но не для того ли я и забился с осени в эту пустынь-нору, чтобы никто и ничто не связывало меня, когда выпадет мой шанс разомкнуть опостылевшие круги?

Дома я записал в тетрадь с максимами: «Свобода начинается там, где вещи перестают намекать на что-либо, кроме самих себя». Туманно – ну и пускай, зато весомо.

Значит, зря я держался правила, всякую книгу, натолкнувшись на сочетание «русская душа», немедленно захлопнуть? Доводилось ведь делиться одеялом с девушками жизнерадостными и спортивными. Почему же самый отчетливый образ, возникающий у меня

при слове «любовь», – это как я в ванной отпаиваю теплой водой замужнюю, вполне чокнутую женщину средних лет, наевшуюся до одури таблеток, зане тоска опять хлестанула через край?.. Сейчас мы обнимемся в дверях, словно той осенней ночью, когда еще нам вместе было хорошо и тревожно и я не напяливал маску отрешенности, которая мне не впору, – и все возвратится. Я пойму, что достиг своей Антарктиды и дальше мне некуда бежать...

Истинно: каждому свое и каждой твари по паре. Ну и какого еще рожна тебе надо? – спрашивает Бог из-за тучки.

Надо. Другого.

Те времена канули – и я о них не жалею. С тех пор, как мне впервые улыбнулся произошедший от меня младенец, я знаю, что любить можно иное и иначе. Ищу способ уберечься, если по стране – а то и не по ней одной – покатится очередная красная волна.

Говорят, рубеж тысячелетий обещает великие перемены; они уже идут. Новые истины вроде бы и слову не по зубам, слово уступает языку образов, – идеи, которые некогда мой друг азартно и одиноко преследовал даже на белых полях Антарктиды, успели стать общим местом салонных рассуждений. Говорят, тут есть логика катастрофы. Философствую я, словно старая дама, то и дело что-нибудь теряющая и вынужденная разыскивать: очки или связку ключей. Но готов согласиться, что и собственный, выражаясь высокопарно, жизненный путь нахожу куда реже размеченным оформленными мыслями и завершенными действиями, нежели пейзажами, картинами и мизансценами... Я начинал это повествование как цепочку забавных историй. Не подозревал, что, разрастаясь, оно превратится в мое прощание с молодостью.

Я признался, что у меня нет интереса различать политические силы и их противостояния. Естественно, одно – предпочтительнее, другое – недопустимо: я, пожалуй, мог бы даже прилепиться к кому-нибудь – от противного. Но цели, которые они заявляют, я не способен считать своими. Потому что не верю в возможность общих решений. И тогда за любыми их словесами – ничего, пустота. По-моему, перед каждым свое пространство, свое время – свое огромное поле, которое следует пересечь, чем-то жертвуя и чем-то не поступаясь. А вот чем – все равно придется всякий раз определять заново. В том-то весь и фокус...

Впрочем, мы в разных категориях. Ему есть о ком заботиться, за кого отвечать. А я – что: меня не зацепишь, нищим пожар не страшен.

Ключ в замке я поворачивал осторожно, как вор. Но это была напрасная деликатность: инженер с архивисткой проводили время иначе, чем я предполагал. В полутемной комнате, поймав неожиданную на радио трехдольную музыку, они вальсировали – и заворожено улыбались друг другу. Не видели меня. Не видели других глаз, с истомой и восхищением следивших за ними сквозь неплотно сомкнутые занавески. Вытянув цыплячью шею, ухватившись за цинковый подоконник, прижималась с той стороны к стеклу сумасшедшая дочка дворника.

Вопросы

1. Как можно определить форму повествования в романе?
2. Совпадают ли позиции рассказчика – повествователя и автора? Как соотносятся герой – автор в романе «Свобода»?
3. Как можно было бы определить жанр этого произведения?
4. Какую свободу избрал герой? Какое определение он дает «свободе»?
5. Какие мотивы выдвигает герой в качестве объяснения его «ухода»?
6. Как определяет свое существование герой?
7. Как расценивает герой поведение паука?
8. Как характеризует герой своего друга Андрея и объясняет его жизненную позицию?
9. Какие отношения у героя с родителями?
10. Проанализировать сцену: смерть паука Урсуса. Какая истина открылась герою?

Борис ЕКИМОВ



Борис Екимов родился в 1938 году. Живет в Волгоградской области, на Дону. Его повести, рассказы, очерки, удостоенные в 1998 году Госпремии, растут из донской почвы, питаются ею. Писателя часто называют продолжателем «деревенщиков», на самом деле, он скорее полемизирует с ними. Да, Екимов тоже с болью пишет о заботах и печалях своих земляков, но менее всего его можно отнести к «плакальщикам по ушедшему»..

Повесть **«Пиночет»** («Новый мир». – 1999, №4) вызвала широкие отклики в современной литературной критике. Эта повесть посвящена истории одного колхозного хозяйства, оказавшегося на грани разорения в 90х годах XX века. «...откровение современной русской литературы, откровение «Нового мира» за 1999 год», – так отзывался один из многочисленных критиков (В.Бондаренко) о повести Бориса Екимова. Повесть выдвигалась на литературную премию Антибукер 1999 года.

Повесть **«Пиночет»** печатается фрагментарно по изданию: Б.Екимов. **Пиночет** // Новый мир. – 1991, №4.

В основе сюжета – судьба современной русской деревни. Главный герой – Корытин-младший озабочен вопросом: «Что делать? Как поднять колхоз, куда он вернулся по просьбе отца председательствовать?» Он становится «Пиночетом», но ставит колхоз на ноги, вопреки всем разговорам об обреченности колхозов вообще.

Б.Екимов показывает еще один важный признак «сердечной культуры». Это не просто «лирический порыв», это – деятельная любовь.

Литература

1. Арсеньева Н. «Невидимый свет серебряной звезды». Урок – семинар по повести Б.Екимова «Пастушья звезда» / «Литература» издательского дома «Первое сентября». – 2001. № 46.

2. Басинский П. «Как сердцу высказать себя?» О русской прозе 90-х годов // Новый мир. – 2000. № 4.

3. Басинский П. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит... // Литературная газета. – 2000. 20, 26 декабря.

4. Бондаренко Вл. Екимов ставит на Пиночета // День литературы. – 1999, № 11.

5. Екимов Б. Где прячется от читателя современная русская книга (Беседа с А. Шупловым) // Книжное обозрение. – 1999. № 17, 16 февраля.

6. Екимов Б. Дочиста наши. Беседа с В. Бондаренко // День литературы. – 1998. № 11.

7. Павлов О. Ответ на новогоднюю анкету газеты «ЛР». // Литературная Россия. – 1999. 31 декабря.

8. Ремизова М. Человек с палкой // Независимая газета. – 1999. 16 июня.

ПИНОЧЕТ

И, когда три года назад летним днем, прямоком от больного отца, молодой Кoryтин приехал на хутор, то у конторы колхозного правления встретил его именно Ваня.

Этого рыжего мальчишку Кoryтин и прежде видел, но мельком. Волосы не стрижены, закрывают лоб, одет в заношенное до блеска спортивные брюки с надписью «Puma» да застиранную майку. Плечи, ключицы, локти – все косточки острые, птичьи. И движения по – птичьи быстрые. Рассусоливать не привык.

– Пошли нечего рассиживать, – приказал он Кoryтину и пошел. Когда Кoryтин вышел из конторы, мальчик уже сидел в машине. Кoryтин завел мотор и, не слушая указаний юного провожатого, поехал бы – да своей волей и памятью: как – никак немало здесь прожил. Но далеко не уехали: скоро наткнулись на вал и ров посреди улицы.

– Я тебе чего говорил?! – гневно спросил мальчик. – Тебе говорят – ты слушай. Тут уже целый год не проедешь, никак не закопают.

– Прости, – коротко ответил Кoryтин. – Не расслышал. А почему не закапывают?

– Трубы нет. Привезли, положили и ночью украли. Теперь канают, кому трубу покупать.

– А кто же украл? Куда?

– Куда, куда!... – рассердился мальчик. – В Америку! Не знаешь, куда... В дело. В хозяйство. Пригодится. А может, алкаши Вахе отвезли. Он возьмет. Разрезать – на поилки пойдет.

– Какому Вахе?

– Нашему, чечену. Ему поилки нужны. У него скотины дополна.

– Сколько?

– Весной пять – десять голов. А осенью – пятьдесят. И больше. Я у него спрашиваю: «Ваха, откуда скотину набрал?» – а он говорит: «Размножается». Это мы с ним так шутим. Он веселый, наш Ваха.

– Ну что ж, поехали к вселому Вахе. В Зоричев?

– В Зоричев! – одобрил Ваня. – Мы всегда первым делом в Зоричев ездим. Здесь – под носом, а там – рукой не достать, вольничают.

В колхозе было два хутора: Староселье – центральная усадьба с конторой, гаражом, мастерскими и Зоричев – в двадцати километрах.

– Я со всеми езжу... Я все знаю... – говорит и говорит мальчик. – Сколько голов, надои...

– Ну да... – не поверил Кoryтин. – И какой же надой?

– Где? На какой ферме? – уточнил мальчик.

– На Зоричеве.

– Тысяча восемьсот.

– А на центральной?

– Почти три.

– Правда, что ли? – повернулся Кoryтин к мальчику. – А почему разница такая?

– Тебе говорю, здесь – под носом. А Зоричев не углядишь. Тянут больше.

Миновали хутор, выехали на прямую дорогу, асфальтированную и потому недолгую. Поднимаешься на увал – и вот уже маячат вдали маковки старых верб да осокорей, светит белью водонапорная башня возле скотных дворов, на краю хутора.

Вначале поехали к свиноферме.

– В свиноводнике чего не работать... – сказал Ваня, провожая глазами встречный мотоцикл с коляской. – Кашу бери, пожалуйста, хоть два ведра, хоть три. Корми домашность свою. Тем более при

колесах... – проводил он взглядом еще один мотоцикл. – Корма вольные, поросят берешь...

– Как это берешь? – возразил Кoryтин. – Они ведь колхозные.

– Колхозу тоже достанется. Так положено, – убеждал Кoryтина мальчик.

Когда вошли они в свинарник, им навстречу, попалась пожилая женщина с полными ведрами

– Борисовна, здравствуй!

– Здорово, Ваня.

– Скажи, Борисовна, ведь положено свинаркам поросят забирать? Она же работает?

Борисовна поглядела на гостя и, усмехнувшись, ответила мальчику:

– Ты у нас, Ваня, как старичок. Все знаешь.

Ваня раскрыл было рот, но что-то почуял во взгляде и в голосе своей собеседницы, что-то понял и промолчал. Хотя через короткое время все же не выдержал и убежденно сказал:

– На свинарнике хорошо работать. Я мамку ругаю: меньше пей, говорю, просись на свинарник. Я на велике буду кашу возить. Заведем свиней, будем щи со свиной есть, сало – на всю зиму, а лишнее продадим.

На свиноферму, на ее территорию, въехали как добрые люди, через ворота, а выезжать можно было, как говорится, на все четыре стороны. Высоченная, с острыми пиками поверху, железная ограда была там и здесь целыми пролетами повалена и вдавлена колесами в землю.

– Мы этот забор в Волгограде, в аэропорту, купили, – со вздохом сказал мальчик. – Там новый забор ставили, бетонный, а этот – не нужен. Мы, с председателем его взяли, за одну свинью обменяли. Понял?

– Понял, – ответил Кoryтин, разглядывая набитые уже дороги от кирпичных свинарников в заборные проемы.

– Раньше лишь в ворота ездили, – объяснил Ваня. – Никаких дыр. Только через ворота. А если в корпус идешь, к свиньям, то дезинфекция. А если в родильное отделение, то белый халат надеваешь и обувь меняешь. Понятно? – явно гордясь, спросил мальчик. – Не веришь? Кто хочешь скажет. Чего мне брехать...

– Верю, верю... – успокоил его Корытин. Он знал, он помнил прежние порядки. Но как быстро они ушли! На нынешние глядеть было не больно сладко.

Хорошо, что мальчик был рядом. Он говорил и говорил.

– Дояркам чего не работать... Комбикорм бери, молоко – тоже бери. На сепараторе перегонишь – сливки. А из снятого – творог. Каймаки делай, откидное. И – на базар. Кто с машиной – вовсе легко. На машине можно много увезти. Я мамку ругаю, меньше пей, говорю, просись в доярки. Я на коляске приеду, хоть целый бидон увезу. А зимой на салазках еще больше упру. Будем жить...

Свернули и поехали к скотным дворам, к базам и фермам, которые раскинулись просторно на краю хутора – целый город белого кирпича постройки, шиферные крыши, высокая ограда из бетонных плит, распахнутые железные ворота.

Синий пикап, выехал из ворот, катил неторопливо, тормозя на колдобинах. Он медленно проехал мимо и прибавил ходу. За рулем сидела баба.

– Конечно... В «Москвича» можно много грузить, – завистливо проговорил Ваня, провожая машину взглядом. – Но я бы на тележке упер, а на салазках – тем более. Еще как. Мамка глупая...

Он говорил и говорил. Этот мальчонка, пел, словно птица. И словно птичью нехитрую песнь, лишь звуки детского голоса слышал Корытин. Понимал он теперь, зачем отец брал с собою в машину этого мальчонку. Колхозные заботы, обычные нелады, ругня там и здесь. А он звенит, детский голосок, утишая душу.

А что до слов, то слова были Корытину не нужны. Он тут родился, вырос, работал, навиделся всякого, и не только здесь, и не только такое, а вовсе горькое, особенно в последние годы. И теперь не слепым он был и не зажмурился, а все видел. Хотя смотреть было несладко. Как быстро, как легко все катится под гору, когда хозяина нет! А как трудно все наживалось... Годами, десятками лет.

Большие, утробистые, черно-пестрой масти коровы стояли на базах. Телок привозили из Англии. Отец сколько здоровья потерял, пока добился их. Как он радовался, как холил, как болел душой за новое стадо. Зимой в растел даже ночевал здесь, никому не доверяя. «Золотом платили, – оправдывался он перед женой. – Из-за моря везли... «Забогате – ем... «– радовался он и строил новые коровники, телятники, родильное отделение, кормоцех, сеял люцерну,

клевер, эспарцет. «У коровки молоко на языке... – повторял он. – Забогатеем...» И вправду забогатели: молочный комплекс, элитное стадо, высокие надои, ордена, награды – все было.

И будто все осталось: коровники, скотина... Но Коротин видел другое: расхлебённые ворота, черные дыры окошечек, нечищенные базы – а ведь лето. И коровы словно другие. Прежние под солнцем сияли, словно картинки. Пегая масть: черное пятно, белое пятно – все светит. А ныне – грязные сосульки висят.

Все было понятно: долгая болезнь отца, старость, глаза и руки не те, а тут еще – время...

Позднее, объезжая хутор, добрался до владений чеченца Вахи. Жилье у него было не завидное – старый дом. Но скотьи базы, ого-рожи, навесы, дощатые сараи, загаты из соломенных тюков – надежная от ветра защита, – все это хорошо раскинулось на вольной хуторской окраине, спускаясь к речке, к леваде с одичавшими садами, к вербовой да тополевой чащобе, к непролазным цепучим тернам.

Возле дома остановились. На гул мотора кинулись огромные собаки – волкодавы чуть не в машину величиной. Но мальчик бесстрашно выбрался из кабины, крикнул собакам:

– Молчать! Место!

Собаки послушно улеглись, окружив машину.

Выглянула из дома женщина. Потом вышел хозяин – улыбочивый, уса́тый Ваха.

– Какие гости! – радушно приветствовал он, признавая Коротина. – Таким гостям сразу двух баранов надо резать...

– Мы твою скотину с гумна прогнали, – сообщил мальчик. – Рано еще на гумно. В степи много корма.

– Молодец, Ваня! – горячо поддержал его хозяин. – Это Сережа ленивый. Будем его наказывать.

– Конечно... – продолжал Ваня. – Если сейчас сено травить, на зиму не хватит. Тем более у тебя много скотины. – Серьезные речи он кончил и пошутил: – Откуда у тебя скотина берется? Весной было десять, а сейчас пятьдесят. Размножаются?

– Размножаются, Ваня... Размножаются... – с улыбкой ответил Ваха. – Молодец! Все знаешь...

Шутили. Но когда Ваня хотел еще что-то сказать, Ваха остановил его:

– Люблю Ваню. Надо его в помощники взять. – И пригласил Кобытина. – Прошу. Мы гостей любим, мы гостей уважаем.

– А мы гостить любим... – посмеялся Кобытин. – Но не сегодня, дела.

Они уже отъезжали, когда на хорошей скорости, поднимая шлейф пыли, подкатила машина – красная «ТОЙОТА», резко затормозив. Собаки бросились к ней, но без лая, а напротив, ласкаясь к двум молодым чеченцам, вышедшим из машины, один был вовсе пацаном.

– Вахины... – объяснил мальчик. – Крутые... На «хондах» гоняют, – вздохнул он. – Ваха – веселый, а они – задавучие, крутяки. – И, понижая голос и оглядываясь, будто могли услышать его, добавил: – У них – оружие.

– Чего? – спросил Кобытин. – У них? Мальчик кивнул головой.

– Пистолеты. Они умеют стрелять. Их все боятся.

Кобытин хмыкнул. Все это было не очень великой новостью для него: чеченцы, их повадки, скогина, которая «размножалась»: купленные за водку колхозные телята или просто украденные в другом колхозе, отсюда – сюда, отсюда – туда, – вот и «размножение». Хитрость невеликая. Но прежде отец чеченцев в свои хутора не пускал, зная их. Да они сюда и не стремились. Колхоз – крепкий, председатель – в силе, значит поживы нет. Теперь объявились.

День кончился. (...)

Назавтра Кобытина – младшего выбрали председателем колхоза. Единогласно. Голосование – тайное, как и должно быть.

Повторись эти выборы даже неделю спустя, такого бы не случилось.

Уборку начали празднично. Прямо в поле Кобытин речь держал, поздравляя. Потом комбайны вышли в обкошенные хлебные делянки. Стоял полудень. Стрскотали жатки. Первые копны легли на стерню, и повеяло хлебом: горячим духом пшеничной соломы, зерна.

Кобытин уехал с поля не сразу. Вместе и порознь с агрономом и бригадиром ходили и ездили от комбайна к комбайну, от копны к копне, проверяя, как обмолачивается колос, порой останавливая машины, подлаживая их, как это всегда бывает в первый день жатвы и молотбы. Поднялись бункеры, потекло зерно тяжелыми

струями в кузова машин, тележки, тракторов, и вот уже поднялись над степью длинные шлейфы пыли: первый хлеб повезли на ток.

Уехал и Корытин, чтобы проверить и поглядеть. Он так и мыкался целый день, от поля к току, – и назад. И лишь к вечеру сказал: «Поехал на хлебоприемный». Но это уже было лукавством. В районном центре на хлебоприемный пункт он даже не заглянул. Иным был занят.

В путь обратный он выехал ночью. В его машине сидел человек в погонах. Позади катила другая машина, с дюжими ребятами при оружии, в пятистой форме.

На центральную усадьбу прибыли в полночь. Но их ждали. В колхозной конторе окна не светили, но на гул машин вышли два человека.

Взрослый и мальчишка. Разговор был не больно долгим. Мальчик говорил торопливо, его останавливали.

– Понятно... Понятно... И это понятно. Это – точно? Понятно. Хорошо. Вопросов нет. Ты останешься дома. Сделал свое, молодец. – И короткая команда. – Скотовоз и «КамАЗ» бортовой к Вахе. За рулем – Молчанов и Чинегин. Полная заправка, путевые листы.

И снова поехали, теперь уже на хутор Зоричев, который крепко спал во тьме густой июньской ночи. Лишь на окраине желтели тусклые огни скотских ферм, да во дворе чеченца Вахи ярко светили на высоких столбах огромные лампы, к которым со всей округи слеталась летучая тварь и кружилась возле огня, словно метель мела.

Подъехали к самому дому, долго сигналили, из машин не вылезая.

– Кого надо? – спросил из тьмы сильный голос.

– Хозяина!

Вышел полуодетый Ваха.

Долгих разговоров не было. Испуганно и спросонья моргали понятия – соседские мужик с бабой.

Ваха не сразу в себя приходил, потому что гости были серьезные, не свой участковый, не райцентровская милиция, а офицер в защитной форме и ребята с ним – не шутейные. Они быстро перетряхнули дом, все кладовки его, нашли автомат, пистолет, две гранаты. Работников, которые ночевали в вагончиках, подняли и велели пригнать с дальнего база, от речки, двенадцать бычков – абердинов черной масти. В просторном сарае курганом лежало

свежеобмолоченное зерно. В бетонированной яме, возле свинных загонов – тоже зерно.

Закончив обыск, работников – бичей заперли в вагончик. На улице под фонарным огнем писались протоколы обыска. Ваха принялся было за привычное.

– Дорогой... Погоди... Зачем спешить? Мы – люди...

Но ему приказали.

– Молчать. – И еще раз: – Молчать! Или рот заткнем.

Он хотел было к дому пройти, но сказали

– Стоять.

Молчаливые ребята в пятнистой форме были строги. Вахиных сынов они успокоили мигом.

Наконец окончили бумажную писанину, отпустили понятых, сели тут же, на воле втроем, под яркой лампой: Корытин, военный чин и хозяин. Ваха снова было открыл рот. Его остановили.

– Когда спросят, ответишь. А сейчас слушай внимательно. Краденное колхозное зерно, порядка десяти тонн. Двенадцать голов скота, украденных в Иловлинском районе, колхозе «8 Марта». Порода абердино-ангуская, клейма повреждены. Незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь – ваше слово. Коротко.

– Дорогой, так не надо: ночью, я думал, грабят, дети, жена... Мы разберемся, меня все знают. Я звоню нашему старейшине... Он подъезжает. Мы разберемся. Какое зерно, кто меня обманул, указываю у кого покупал, при свидетелях. Какое оружие... Это игрушка, ребята нашли, не успели отдать... Молодые, глупые... Завтра поедем в райцентр...

– Сегодня поедем, – поправили его. – И не в райцентр, а подальше, вместе с твоими сыновьями.

– Я могу...

– Ты ничего не можешь. Уясни это. А мы можем еще и могилку раскопать.

– Какую могилку?

– Ты не знаешь какую?

– Бичи... Пьяницы... – начал сбивчиво объяснять Ваха. – Помирают... Хороним...

– Смотря как помирают. Но это – к слову.

Случайно или нарочно звякнул металл наручников.

– Все будет сегодня, сейчас. Слушай председателя.

Корытин продолжил речь:

– Слушай внимательно. Или тебя с сыновьями они забирают, – кивнул он в сторону военных, – или другой вариант. Называешь адрес за пределами нашей области. Забираешь скот, кроме этих бычков. Забираешь семью, имущество, и тебя везут по твоему адресу. Прямо сейчас. Выбирай. Времени на раздумье у тебя нет.

И, подтверждая слова Корытина, ко двору, к его яркому свету, медленно подползли два автомобиля – огромный скотовоз и бортовой «КамАЗ».

Ваха снова пытался что-то говорить, несвязанное. Его оборвали.

– Три минуты на раздумье. Грузись – или увозим. Ребята в камуфляжной форме, словно заблудившись, стали прохаживаться. В такт шагам позвякивали наручники, пристегнутые к поясам.

– Бумаги отдасте мне?

– Бумаги в надежном месте. Мое слово – гарантия, – ответил Корытин.

Ваха шумно и коротко вздохнул, переводя взгляд с Корытина на офицера и обратно, сказал:

– Уезжаю.

Машины, утробно рыча, вползли во двор. Выпустили из вагончика работников – бичей. Началась погрузка с мычаньем да блеянием.

Той же ночью, еще до рассвета, груженные машины ушли из хутора.

Корытин с помощниками и понятыми успел проведать на хуторе еще один двор. Нашли зерно. Составили акт.

Корытин спать не ложился. Рано утром на поле, возле комбайнов, собрали всех комбайнеров, штурвальных, шоферов, ремонтников. Корытин держал речь.

– Первый день уборки. Воровство. За хищение зерна Ваха с семьей выселен из пределов области. – Это уже было не новостью. Разлетелось.

– Ворованное зерно обнаружено у Моргунова. Дело передано в прокуратуру. Краденое изъято. Пре – ду – пре – ждаю, – громко, раздельно и внятно сказал Корытин, – воровства зерна не допущу. Ни от комбайнов, ни при перевозке, ни с тока. Зерно – это жизнь колхоза. В целях сохранности точно определены и будут ох-

раняться маршруты движения машин с зерном от комбайнов на ток. За малейшее отклонение от маршрута – немедленное увольнение.

– А если поломка какая, дорогу уступить, свернуть... – зачастил один из шоферов, поглядывая на своих коллег и ожидая поддержки.

– Говори, говори... – приказал ли, одобрил Корытин. – Говори сразу...

– Если чуток в сторону, указателей нету... Там – лесополоса, там – сверток...

– Говори, говори...

– Вот я и сказал.

– Все сказал?

– Все.

– Спасибо за честность, – поблагодарил Корытин и бригадиру приказал: – С машины его снять. Сажайте моего шофера. Вечером разберемся. Начинайте работать! – возвысил он голос. – И помните дите мамку сосет, оттого и живо, но сиськи у нее не откусывает! А кому новины, новой пшенички захочется, то уже по итогам первой недели заработанное зерно можно выписывать. Доставка на дом. Начинайте работать, – закончил он. – И пусть нам поможет бог.

Расходились молча. Без обычных в таких случаях разговоров, галды. Затрещали движки, один за другим расплзлись комбайны от ночной стоянки. И скоро потянулись машины, пыля, от поля к току, с тока к полю.

По голосу, по сердечному тону, по лицу и глазам брата – что-то в них чудилось! – Катерина поняла и прошептала:

– Братушка, зачем ты сюда приехал? Уезжай.

– Поздно, сестра.

– Господь с ними, пусть живут как хотят... – уговаривала она.

– Не получится. Это ведь детский сад, детишки, как их оставишь. При спичках... Хату сожгут. Помнишь мы в детстве сарай сожгли. Отец нас выпорол. А нам ведь хотелось интересного: не думали сарай жечь. Верно ведь?

– Конечно.

– А сожгли. Так и здесь. Детвора... Ныне будем пряники есть, конфетами закусывать. А завтра от голода зарежем. В Бударинском колхозе племенную ферму, тысячу двести коров, за неделю на мясо порезали и продали. И весь район им завидовал: забогатели, на свадьбах гости по миллиону жениху с невестой «на блюдо» клали.

Чем завтра будут жить – об этом загаду нет. И у нас так же. Лишь отвернись, все порежут, все растянут. Одни – на пропой, другие – на шоколадки. Детвора... Хоть и взрослые люди. Пойди к Петровичу, он тебе про дураков в третьем поколении расскажет.

– Так зачем же ты сюда приехал?

– Потому что сам – дурак. Умный человек не полез бы в такой хомут.

– Нет, братушка, ты – не дурак, – искренне сказала Катерина.

– Спасибо, сестра, – улыбнулся Корытин. Тогда, значит, мой ученый сынушка прав. Он поет, что я коммунист. И ведь не отбросишься. В пионерах, в комсомольцах выросли. Помнишь? Как стремились туда! Старались... Тимуровцы. Чтобы старым помогать. В школе отстающих подтягивать, чтобы звено не позорили, отряд. Все было. Не скинешь с руки. Вот и теперь... Жалко... Понимаешь такое слово? Скотину жалко. Такие коровы у нас... Землю жалко. Сколько с ней пестались: севооборот, пары... Все кинь, завтра – дикое поле. А понастроили: фермы, мастерские... И все в дым: растянут, сожгут. Детвора. С папой привыкли жить, в семье. Прикажут: «Паси», – значит – паси, «КОСИ!» – будут косить. А без папки хоть помирай. «Туды – сюды кидаю... – передразнил он, – Умом не догоню... Как жить!» (...)

И наконец открылось с бугра селенье, куда въезжать не стали, свернув к скотьим дворам: возле них чернели на снегу три колхозных «КамАЗ»а, с которыми пачинали путь.

Подъехали. Встали.

– Полчасика – и на станцию... – пообещал Корытин. – Хочешь, выйди, промнись.

– Конечно, – легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины.

Она выбралась из кабины и встала, ошеломленная.

Рядом, откинув на землю задние борты – трапы, стояли «КамАЗы». Возле них кучей теснились страшные, на коров не похожие скотиняки: рога, череп, проваленные глаза, грязная, в сосулях, шерсть, острые хребты, ребра, маклаки – все наружу, лишь кожей обтянутое. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало, и они падали и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя совсем рядом пахучую солому, насланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезенто-

вые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстилу. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы. А те, что еще остались внизу, на земле, истошно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли. И тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно. Висел над базами, сливаясь и впереклик, неумолчный вопль.

Катерина стояла, не смея ли, боясь сдвинуться с места. Она глядела, не веря. Зажмурилась и снова открыла глаза.

Белый день до боли ясно высвечивал все ту же картину: кирпичные коровники, черные проемы дверей, испорченный баз, по которому там и здесь валялись рогатые коровьи головы, ноги, шкуры, припорошенные снегом; в дверях же, в проеме, – гора коченелых телячьих трупов, на ней – большие серые крысы, с писком ныряющие в проеденное скотье нутро.

Мужик в крытом большом полушубке, заметив Катеринин испуг ли, ужас, набился с разговорами, охотно сообщив:

– Лисапеты... Наши лисапеты... Я их так называю.

И впрямь: рога да костлявый остов – похоже на велосипед.

– Как же это... – выдавила из себя Катерина. – Колхоз... такое...

– Колхоза нет, – внушительно объяснил мужик. – Акционеры. Закрытого типа. Чтоб никто не влез. Да наши еще живые, – успокоил он Катерину и даже похвалился: – Через раз, но дышат. У Коротина откормятся, еще и молоко, глядишь, будут давать. А в «Комсомольце» гурт па – вовсе поморозили. Стояли как статуи. Поезжай гляди. Из льда ноги до се торчат. Как топорами рубили...

Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни, Катерина же слышала лишь скотины недужный рев и крысанный писк. Ей сделалось нехорошо. Она залезла в машину, затворила дверь и сидела опустив голову.

Мужик пошел с докладом к Коротину. Тот заспешил к сестре:

– Чего с тобой?

Катерина подняла голову, проговорила:

– Глядеть не могу...

Коротин понял, сказал со вздохом:

– Без привычки... Конечно. Прости. Сейчас поедем.

И потом, в машине, когда отъехали от коровника и скотины – от всей этой беды, – Коротин увещевал сестру:

– Чего переживаешь?.. Везде нынче так. Развал. А то не видишь. А у вас разве лучше? Свою работу возьми...

– Не в привычку... – оправдывалась Катерина. – А эти коровы, они у тебя выживут? Они не подойдут? Ты их зачем берешь?

– По дешевке купил, – ответил Кoryтин. – Кормов хватает, место есть. Перезимуют, мяса нарастят, продадим. Вот и барыш... – улыбнулся он. – А как же... Такая нынче жизнь.

На станцию приехали вовремя. Спокойно разместили вещи в купе и вышли из вагона. Стали прощаться.

Катерина плакала, обнимая брата, и целуя его холодное лицо. Обнимала – и не могла разнять рук. И снова целовала.

На вокзале все можно. Здесь встречаются люди после долгой и долгой разлуки: прощаются, расставаясь порой тоже надолго, а порой – навсегда.

Потом, в поезде, у вагонного окна, Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его, открылась белая степь, Чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки: Серый денек... Белый летит снежок... Сердце мое... «А вот дальше Катерина не могла вспомнить. «Сердце мое...»

Мама... Мамоchка умерла молодой, от сердца. Брат так похож на нее лицом и характером. Весь в маму. Не дай, не дай бог...

Серый денек,

Белый летит снежок...

Сердце мое...

Она заплакала, прислонясь к окну, и шептала: «Зачем, зачем ты туда вернулся, братушка...»

Вопросы

1. Как эта повесть соотносится с традиционной точкой зрения «деревенской прозы» о тяжелой судьбе российского крестьянства?

2. На чем основан конфликт повести?

3. Два «портрета» деревни («при старшем Кoryтине» и «три года тому назад»). Что изменилось с приходом младшего Кoryтина? Достаток вернулся, но переменились ли люди?

4. Семейство Моргунов в повести. Два «портрета» Моргунов. Проанализируйте эпизоды «Кoryтин и Ваня в гостях у Моргунов» и «Выход Моргунов из колхоза». В чем вина Моргунов перед людьми? Да и есть ли она? Как относится к этой семье автор и какими средствами выражает это отношение в повести?

5. Моргун и Ваха. Сравнительная характеристика. Какое отношение вызывают у вас тот и другой герои?

6. С какой целью в повесть введена исповедь Степана? Что звучит в его словах: тоска по прежней колхозной жизни или желание жить по-человечески? Тема богатырства в повести.

7. Роль пейзажа в повести. В чем, с вашей точки зрения, залог возвращения к Человеческому обращению с землей и людей друг с другом? Зачем введены зимние и летние пейзажи?

8. В чем смысл названия повести?

9. Какие средства характеристики героев использованы в повести?

10. Как трактуется в повести Екимова понятие «жалость», «сердечность»?



По сути, Вен. Ерофеев автор только одного произведения, но какого (!) – поэмы «Москва – Петушки». В 2000 г. в Твери состоялась Международная конференция, где предметом обсуждения была только эта поэма. («Москва-Петушки» Вен.Ерофеева. Литературный текст. Проблемы и методы исследования»).

Феномен поэмы, вероятно, в том, что она одновременно и уникальна и типична, так как моделирует сущностные особенности литературного текста второй половины XX в. Текст откликается на любой метод анализа: он может быть прочитан как пародия, как трагическая ирония, выступающая в облике карнавального комизма, как трагический текст, как единство двух автономных начал – пародийного и личностного. Его структурообразующим началом может выступать и гоголевский и библейский пласты.

Литература

1. Альтшуллер М. «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева и традиции классической поэмы // Новый журнал (New York). – 1982. № 142.
2. Зорин А. Пригородный поезд дальнего следования // Новый мир. – 1989. № 5.
3. Курицын В. Четверо из поколения дворников и сторожей: Рецензия на публикацию «Москва-петушки» // Урал. – 1990. № 9.
4. Лесин Е. И немедленно выпил... // Юность. – 1994. № 3.
5. Липовецкий М. Анофеоз частиц, или Диалоги с Хаосом // Знамя. – 1992. №8.
6. Муравьев В. Предисловие // Ерофеев Вен. Москва-Петушки. – М., 1990. Несколько монологов о Венедикте Ерофееве.

... а уж потом пойду и выпью.

Итак. Неделью тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что и вводил, так поперли меня все – таки не за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так. Потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом – известное дело: садились, и каждый по – своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один – вермут пил, другой, попроще – одсколон «Свежесть», а кто с претензией – пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: вначале садились и пили вермут. Потом – вставали, и вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно. А потом – что же? – потом садились играть сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом – ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтобы он до завтра отмок и пришел в негодность. А уж потом – каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой – пили вермут, на третий день – опять в сику, на четвертый – опять вермут. А тот, кто с интеллектом, – тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабаны, мы, конечно, и пальцем не трогали, – да если б я предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну, а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа – время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге – в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности.

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты круглый дурак: вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе народов? Да знаешь ли ты их нравственные физиономии? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков – известна ли тебе? Если бы была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян, и Абба Эбан!..

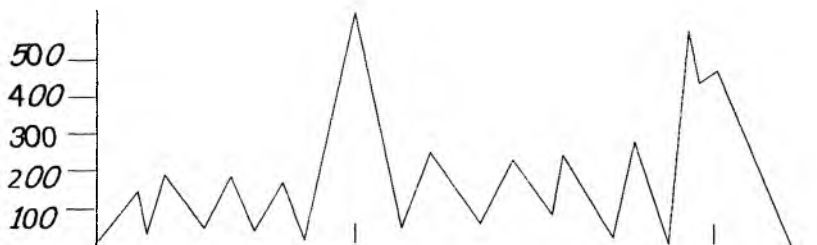
И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня, наконец, и поперли...

Новогиреево – Реутово

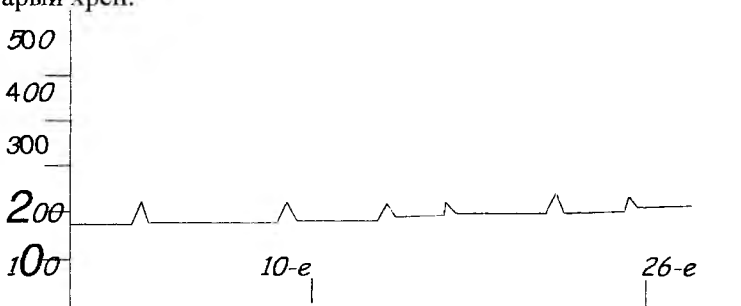
Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленовой бумаге, черной тушью, рисуются две оси – одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в перерасчете на

чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследования не может представить интереса.

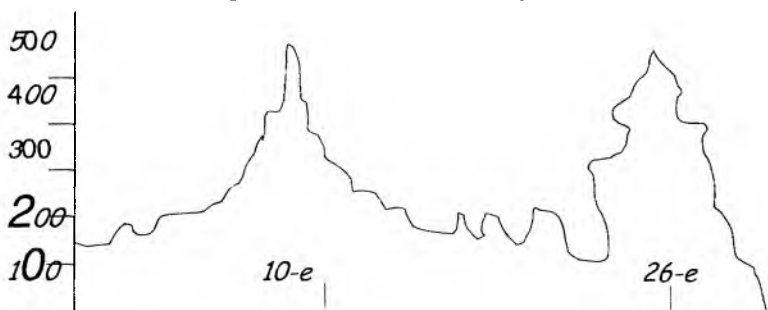
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то **et cetera**. А я, черной тушью и на веленовой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйте, например, это линия комсомольца Виктора Тотопкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен:



А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ИТУСа, автор поэмы «Москва – Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи. Тироль, бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. У другого: предрассветный бриз на реке Кама, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего – биение гордого сердца, песня о буреизвестнике и девятый вал. И все это – если видеть только внешнюю форму линии.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущерббы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскую мордую без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.

Как бы то ни было – меня поперли. Меня, вдумчивого принца – аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня – снизу – сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху – лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут..., по законам добра и красоты, а ближайший аванс – послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

– Ффффу!

– Кто сказал «фффу»? Это вы, ангелы, сказали «фффу»?

– Да, это мы сказали. Ффффу, Веня, как ты ругаешься!

– Да как же, посудите сами, не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтоб очень просыхал, но во всяком случае, я хоть запоминал что пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомянуть... У меня все полосами, все в жизни как-то

полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

– Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта – лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравнивали с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мне мое прекрасное сердце. А мой рассудок? – он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука: а выпей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! – отчеканивал рассудок. – Если уж без этого нельзя, поди и выпей три кружки пива, а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заныло: «Ну хоть двести грамм. Ну ...

Вопросы

1. Укажите характерные приемы соц-арта в главах из поэмы В.Ерофеева.

2. Какова функция литературной цитаты в постмодернистской поэме В.Ерофеева?

3. Особенности постмодернистской поэтики.

4. Как выражается авторское сознание в произведении?

5. Какую функцию выполняет ирония в структуре повествования?

6. Как природа юродивого трансформируется в художественной системе произведения?

7. Как описывается пьянство героя? Какой характер приобретает это описание?

8. Какую функцию выполняют библейские мотивы?

9. Каким смыслом наполняются отношения героя с действительностью?

10. Как реализуется в контексте произведения художественное время и пространство?

Фазиль ИСКАНДЕР



Родился 6 марта 1929 года в Сухуми. Родился в семье служащего. Учился в Московском библиотечном университете, в 1954 году окончил Литературный институт.

В 1957 и 1966 гг. вышли его поэтические сборники «Горные тропы» и «Зори земли». Тогда же в 1966 г. Ф.Искандер дебютировал в жанре рассказа («Тринадцатый подвиг Геракла», «Запретный плод»), где обнаружилась еще одна сторона его дарования – ирония.

Более сорока лет прошло с момента появления в печати первого рассказа. За это время увидели свет его собрание сочинений и свыше двадцати прозаических сборников, изданы повести, написанные в 70-х годах – «Сумрачной юности след» и «Стоянка человека», произведения чегемского цикла «Сандро из Чегема», в 90-х годах опубликованы роман в рассказах «Человек и его окрестности», повести «Пшадра», «Софичка», «Поэт», новые рассказы – более двухсот произведений пришли к читателю со страниц периодической печати.

Высокий социально-онтологический статус прозы Искандера подтверждает присуждение ему престижных отечественных и зарубежных литературных премий. Среди них – Государственная премия России (1993) и гамбургская Пушкинская премия (1997), русско-итальянская «Москва-Пенне» (1996) и награда журнала «Знамя» (1998). Искандер стал первым лауреатом учрежденной в 1998 году Болдинской премии, а в начале 1999-го получил российскую премию «Триумф».

Прозу Ф. Искандера отличает юмор это юмор современной размышляющей мудрости, юмор его собственной, постоянно работающей, все осматривающей мысли – в том числе и юмор над юмором, ирония над иронией. Это создает удивительную многослойность искандеровского смеха, отличающегося своеобразным тяжеловатым изяществом, умением говорить уморительнейшие вещи без малейшей тени улыбки, развертывая неторопливое философское рассуждение, делающее (как характеризует свою манеру сам Искандер) из мухи-слона и полные скрытой издевки, язвительности или светлого лукавства.

Литература

1. Вигилянский В. Герои Фазиля Искандера. // Литература и Ты. – Вып. 6. – М.: Молодая гвардия, 1977.
2. Виноградов И. Русская проза чегемского мудреца Фазиля Искандера. – М.: Панорама, 2000 / Библиотека «Русская литература. XX век».; // Звезда. – 1991. № 10.
3. Лебедев А. И смех, и слезы, и любовь. (о творчестве Ф.Искандера) // Литература в школе. – 1992. № 1.
4. Соловьев В. Фазиль Искандер в окружении своих героев // Литературная учеба. – 1990, № 5.

ЖИЛ СТАРИК СО СВОЕЮ СТАРУШКОЙ

В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял ноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным и трезвым он всегда был одинаково весел.

Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.

На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на троне, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:

– Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.

Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?

На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же ему послать костыли? – думала старушка, проснувшись. И никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого, решила она.

Теперь он ей снится каждую ночь и каждую ночь просит костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась

спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь, только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила:

– Да как же тебе переслать костыли?

– Через человека, который первым умрет в нашей деревне, – ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культипку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.

Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.

– Тебе хорошо пить, – говаривал он ее старику, – сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.

Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.

И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.

Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:

– Это даже неудобно – живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.

Но старушка уже все обдумала.

– Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, – отвечала она. – Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.

Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти

чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.

Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог – он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:

– Видно, и я скоро там буду и встречу с твоим стариком.

И тут старушка оживилась.

– К слову сказать, – начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. – Я тебя не тороплю, – добавила она, – но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.

Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.

– Разве рай большевики не закрыли? – пытался он отделаться от нее с этой стороны.

Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.

– Нет, – сказала она уверенно, – большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в Мавзолее. А остальным это не под силу.

Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.

– Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи, – предложил он, мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.

– Ты шутишь, – вздохнула старушка, – а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.

Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.

– Да я ж его теперь не догону, – сказал старик, подумав, – он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...

– Знаю твой грех, – не согласилась старушка. – Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, – не смейся людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...

Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.

– Если уж там что-то есть, – сказала она, поджав губы, – мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...

Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.

– Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! – вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: – Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.

– А не будет поздно? – спросила старушка, видимо преодолевая свою деликатность. – Хотя я тебя не тороплю.

– Не будет, – уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.

С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник внук с перевязанной ногой и на костылях деда стоял посреди кухни.

– Что с тобой? – встрепелась старушка.

Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево посбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.

– Костыли заняты, – сказал внук, – придется деду с месяц подождать.

Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужней. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.

Но что всего удивительней – больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся

куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.

А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки из рта.

Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь проклятуций старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв! Придется подождать, пока его козы не наедятся.

Вот мы и живы, пока старик – тюк топором! Пых трубкой! А козы никогда не насытятся.

Вопросы

1. На чем основаны конфликты в приведенных рассказах Ф.Искандера?

2. Какую функцию выполняет сон в рассказе «Жил старик со своею старушкой»?

3. На чем основывается просьба старушки?

4. Какую функцию выполняет ирония в раскрытии характеров персонажей?

5. Как в творчестве Фазиля Искандера раскрыта тема преемственности поколений?

6. Какие общечеловеческие проблемы поднимает в своих произведениях Фазиль Искандер?

7. Какую роль играет тема совести?

8. В чем состоит особенность иронии и юмора Ф.Искандера («Жил старик со своею старушкой»)?

9. Как писатель строит комические ситуации?

10. В чем особенности повествовательной структуры рассказов Ф.Искандера?



Род. в с. Сергеевка Казахстана. По национальности кореец. Учился в Московском худ. училище памяти 1905 года, окончил заочно Литинститут (1971; семинар В.Г.Лидина). Дебютировал как поэт – стихи впервые опубликованы в газ. «За автодорожное движение»; последующая публикация – ж-ла «Юность» (1997, №11). Печатается как прозаик с 1973: рассказы в ж-ле «Аврора». Автор кн. прозы: Голубой остров. Рассказы и повесть. – М., 1976; Четыре исповеди. Повести и рассказы. – М., 1978; Соловьиное эхо. Рассказы, повесть. М., 1980; Нефритовый пояс. Повести. – М., 1981 (послел. С.Залыгина); Собиратели трав. Повести. М., 1983 (послел. В.Бондаренко); Белка. Роман-сказка. – М., 1984; Вкус терна на рассвете. Рассказы. – М.: Молодая гвардия, 1985; Невеста моря. Рассказы, роман. – М.: Известия, 1987 (послел. Л.Аннинского); Избранное. Повести, роман. – М., 1988 (предисл. Н.Любимова); Отец-лес. Роман-притча. – М., 1989; Сбор грибов под музыку Баха. – М.: Роман-газета, 1998; Онлирия. Роман. – М.: Текст, 2000. Публикует прозу в ж-лах: «НМ» (1989, №№4-6; 1995, №№2-3; 1998, №10); «ДН» (1996, №1); «Знамя» (1987, №4), «Ясная Поляна» (№1, 1997), «Октябрь» (2000, №2). Награжден орденом «Знак Почета» (1984). Премии ж-лов «ДН» (1980), «Юность» (1997), Евангелической церкви Рейнланда (1981), им. Ю.Казакова ПЕН-клуба Казахстана.

Роман А.Кима «Остров Ионы», который приводится в данном издании фрагментарно, был опубликован в 2001 году в «Новом мире» (№11, №12).

Это новая попытка писателя осмыслить философские проблемы: Свободы и Творчества, определяющие ценность жизни человека.

В романе воссоздается мир – «неочевидная реальность», где живут свободные и бессмертные (точнее Безсмертные в понятии А.Кима).

Литература

1. «Моё отмщение и аз спасибочки» // Независимая газета. 17 января 2002 г. (о ром. «Остров Ионы»).
2. Ким А. Моё прошлое. // Октябрь. – 1998, № 1.

3. Злобник А. Анатолий Ким. // Знамя. – 1999, № 2.

4. Проханов А. Светоносный листик Ким. // День. 8 июня 1999.

ОСТРОВ ИОНЫ

Поручаю писателю А.Киму записать то, что нашлю в его сознание через русское слово, отчего и пробудится у одного московского голубя солнценосное желание по устройению весеннего гнезда. Голубь-сизарь в мундире чистого оперения, серого в проблесках зелени и лилового, с белым ошейным воротником, в белых штанах под распахнутым веером хвостовым оперением, подлетел к дереву, стоявшему в глубоком утаре зимнего сна, – это я приблизился к грядущему пробуждению внешнего света в его древесной душе, который у сизого голубя, городского чердачного жителя, уже давно пробудился. Он здоров, силен и молод, зиму благополучно пережил на чердаке вместе с другими сизарями стаи, а теперь наступила весна, обогрело мир-двор первым надежным дыханием весны, и в птице ворохнулось и проснулось желание строить гнездо для своей подруги.

Он подлетел ко спящему старому клену, обвешанному сухими прошлогодними кисточками крылатых семян. И чувство *безсмертия*, дремлющее в каждом из тысяч сухих кленовых пегушков, никак не могло проявиться вовне, в новый весенний мир. Скажем, как у этого сизого голубя с черным хвостом и белыми штанами, с бойко потряхиваемой темной головой, на которой вспыхивали блестящие лиловые и зеленые искорки.

Голубь сел на тонкую всточку, потянулся – напряженной шеей вперед – и клювом отломил свободный пруттик; затем, держа его во рту, стал оглядываться вокруг, слегка раскачиваемый на ожившей под его тяжестью выгнутой ветке. Я не могу ни уловить, ни выразить себя, своего вечного чувства, потому что непосредственно пребываю в нем – Я есть само это чувство. Голубиные же бойкие движения головою, ее повороты в одну сторону, в другую с зажатым в клюве прутиком, являли собою выражение вовне чувства *безсмертия* (слово это будет писаться с буквой «з», а не с двумя «с», как определено правилом русской орфографии. – Пояснение А.Кима), и таковое естественным образом проявляется во всех птицах, деревьях и крылатых семенах.

Перенеся строительный материал на чердак, к месту, где будет возведено гнездо, голубь уложил палочку поверх навала таких же веток – надо сказать, по своей молодости и по отсутствию опыта брачной жизни голубь строил гнездо еще неумело, материал бросал в кучу наугад, небрежно, как попало и даже не поправлял его, чтобы сознательно добиться хоть какого-нибудь порядка. Таким же небрежным было отношение к строительству своего дома у американца Стивена Крейслера, из братства квакеров в городе Олбани – он вообще не стремился хоть в какой-то мере вмешиваться, следить за строительством и почти не бывал на стройке от самого ее начала и до завершения. Это было странное и томительное чувство – сорокалетний Стивен Крейслер и хотел бы скорее увидеть выстроенным дом на краю города Олбани, где удалось ему приобрести участок земли, однако по мере того, как последовательно исполнялись все необходимые работы и строительство близилось к завершению, у хозяина в душе нарастала какая-то непонятная смута. Иногда ему казалось, что дом так и не будет закончен...

То же странное чувство нереальности самых радостных хлопот по строительству первого своего дворца было у румынского принца Догешти три века назад, когда он решил начать с возведения этого дворца свою историческую деятельность великого строителя Румынии. Правда, честолюбивому принцу не дано было судьбой прославить свое имя строительством городов – он умер совсем молодым, едва успев вступить на престол. Квакер же Стивен Крейслер, как и московский красивый голубь-сизарь, – эти-то двое в своей судьбе ничем кармическим не были отягощены смолоду, прожили они на свете долго, каждый исчерпал свой срок сполна и умер, насыщенный жизнью. Стивен Крейслер до своего рождения, лет за триста, существовал в предке своем Готлибе Крейслере, лейб-медики одной из русских императриц, вывезенных в Россию царствующим домом из Шлезвиг-Гольштейнии. После Готлиба существование будущего Стивена продолжалось еще в нескольких поколениях Крейслеров в России, пока однажды вместе с другом, графом Толстым, прозванным Американцем, прапрадед Стивена не переселился в благословенные Соединенные Штаты Америки. И как уже было сказано, устраивая, по зову сердца, свое гнездо на земной планете, в городе Олбани, Стивен испытал странное чувство неуверенности в этом сердце, глухое сомнение в том, нужно ли вообще человеку стремиться к оседлости.

В отличие от московского чердачного голубя-сизяря Стивен Крейслер строил дом не для того, чтобы произвести в нем потомство, а исключительно в силу одного американского обета, который он дал себе еще в юности, будучи студентом колледжа. Тогда на одном из квакерских молитвенных митингов, происходивших в доме собраний, Стивен Крейслер, погруженный во всеобщее молчание, сидя на стуле и крепко закрыв глаза, незаметно уплыл в сон «и услышал некий голос – пожалуй, мужской, хотя очень свежий и высокий по звучанию: «Стивен, ты должен заработать пятьсот тысяч долларов, деньги положить в надежный банк и жить на проценты... Построишь дом себе и будешь жить в нем. Ты волен будешь больше нигде не работать, а только путешествовать по всему миру...» О, насколько по-иному воспринимал дары судьбы румынский принц Догешти, которому пришлось прожить всего два года после своей коронации! Как хорошо он понимал значение того, что очерченный магический круг в мировом пространстве, называемый людьми «мой дом», «моя крепость», – это земной образ Божьего Мироздания. И, стало быть, появлению в любом живом существе, будь то человек, рыба или ласточка, желания построить себе дом, свою нору или гнездо соответствует верховная страсть Творца отделить свет от тьмы, звезды от пустот космоса, небо от земли и воду от суши. Ведь все это Он и называет мой дом.

Принц Догешти хотел, чтобы его имя в истории Румынии осталось как «Догешти Строитель», но внезапная эпидемия инфлюэнцы унесла его из жизни в возрасте двадцати восьми лет. Однако разве дело в том, чтобы он прожил на свете несравнимо больше? Нет – принц и при своих двадцати, восьми годах смог достигнуть безсмертия. Ибо оно – не унылое бесконечное присутствие живого существа в жизни, но мгновенное и чрезвычайное постижение человеком таких состояний души, которые были у нее уже до его рождения и всегда будут после смерти. Но молодой цесаревич не знал еще того, о чем узнает через несколько лет, когда перейдет в более тонкий мир, – что солнце еще будет светить и в том параллельном мире СВОБОДЫ, который называется Онлирией...

Искренний молитвенник Иона всегда отличался в среде своих соплеменников заметной твердолобостью и грубой прямой веры, а местечковый пророк Иона видел в Боге абсолютную силу своих действий и всепроникновенный, но в то же время простодушно пола-

гад, что и Бога можно отстранить от себя, обвести вокруг пальца, потому что Он зело велик, то есть и очень громаден, вельми неуклюж. С этим Иона, когда ему был непосредственный Голос в самое ухо, чтобы он шел проповедовать в Ниневию и объявлять там скорый и страшный конец, сделал вид, что ничего-то в ухо ему само по себе не влетало, ничего не слышал.

Иона побежал в сторону Яффы (Иоппии), как будто и не слышал повеления. Никакого дела у Ионы не было, конечно, он подобрался к берегу гавани кораблестроения, увидев за волнорезом на якоре греческое судно.

На нем еще и якорь не поднимали, Иона тотчас пробрался меж вонючих кип козьих шкурок в трюм и, найдя укромное местечко, немедленно завалился спать. Он не заметил того, как в ночь фиолетово-черную, беспросветную кораблик юркнул, будто сверчок, не боящийся темноты. Но затем попал своим широким парусом в плен неожиданного убойного шквала, который мгновенно зашвырнул его в ад грохочущих, вскакивающих до неба водяных громадных чудовищ. А Ионе и снилось, что корабль попал в страшную бурю, что эту бурю нагнал воленаправленно Тот, кто очень разгневан из-за его, Иониного, непослушания и обмана, однако просыпаться Иона намеренно не желал и по-прежнему предпочитал считать себя спящим, ничего не знающим, просто путешествующим за небольшую плату пассажиром греческого судна. Но тут начальник-капитан с грохотом тяжелых пяток скатился по дощатому настилу в трюм, уже наполовину залитый водой, отыскал горящим блуждающим взором иудея, возлежащего на кипах козьих шкур, под самым палубным настилом, и закричал во всю свою сиплую глотку.

Он кричал: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему; может быть, твой Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем! Мы все, которые на судне, уже просили своих богов. у кого какой, – но буря не утихает! Тогда жребий кинули, чтобы узнать, которого из нас его бог хочет утопить, и кость выпала на тебя. Скажи теперь, ты ли тот самый, из-за кого все мы должны погибнуть в пучине? И кто ты?» Иона ответил капитану: «Я – Еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И я бежал от лица Господня, и теперь Он ищет меня».

Тогда и моряки, уже знавшие, кто перед ними, побросали весла и кинулись к Ионе, который, несмотря на свое добровольное желание умереть, крепко ухватился за натянутый канат и не хотел

быть выброшенным за борт. Он кричал и отбивался пинками, но все равно его оторвали от каната и ногами вперед бросили в подскоки гигантскую волну.

И через несколько минут море начало утихать, шум и ревучий голос его умолкли намного раньше, нежели прекратилось волнение, которое продолжало оставаться высоким и довольно крутым – но при полном и бесшумном безветрии.

А тут греческие моряки увидели целый акт божественного действия. Кит-гора исполинской величины успело раскрыть в воде свою широкую, как городские ворота, пасть и захватить в нее пускавшего пузыри, с извивающими вокруг головы змеистыми прядями волос, погружавшего в пучину кверху задом пророка Иону.

Кит быстро добрался до ближайшего скалистого берега, там у одной каменной площадки всплыл на поверхность воды, широко открыл рот, взял на кончик языка и с чувством огромного облегчения выплюнул ничего не понимающего человека на плоский красно-песчаниковый стол берега.

Он <Иона> на три тысячи лет окажется в единственном человеческом, первым обретя то состояние вечного существования, которое и считают все народы *бессмертием*.

Итак, я – организатор и руководитель данной экспедиции, которой предстоит пройти по весьма обширной территории российской Онлирии, охваченной сумеречной печалью предчувствия какой-то большой беды. Но Мне и откровение есть возможность преодоления беды людьми этого беспредельного пространства с помощью правильно использованного русского Слова... Для изыскания таких возможностей и организована данная виртуальная экспедиция на Камчатку. Маршрут экспедиции – от Румынии и до полуострова Камчатка: через всю Россию, Сибирь Западную и Восточную, Колымский край, далее обойти большой кусок Охотского моря и спуститься по узкой Горловине полуострова Камчатка, затем через Берингово море – в направлении необитаемого острова Ионы. В экспедицию на Камчатку, с участием румынского принца Догешти, еще должны были войти американец Стивен Крейслер, московский голубь-сизарь из породы почтовых, потомок великого Кусиреску, и писатель А.Ким в качестве летописца и зарисовщика с натуры. Также была включена в состав отряда попавшаяся мне на улице столицы, в 1959 году, девушка интересной наружности, Наталья по

имени. Она была самым последним воплощением царицы румынской, супруги Догешти, поэтому должна была участвовать вместе с ним в этом путешествии на Камчатку.

Наша экспедиция станет собирать материалы по достижению (постижению) именно таких состояний <свободы>. Потом мы отыщем, если нам повезет, на запредельном необитаемом острове самого Иону. И по нему, на его примере, попытаемся определить, что лучше для человека – жить на земле плоско, бесконечно долго или дух и всю жизненную силу его направить на ТО, чтобы постигать постоянные, никогда не меняющиеся сиюминутные состояния *безсмертия*.

Остается теперь жителя мансарды, летописца А.Кима, в прошлом студента художественного училища, ныне писателя, воссоединить с румынским принцем Догешти, с тем, чтобы он перевел его из Казимировбана, где после смерти принц неприкаянно гулял по окраинным улочкам вот уже пару веков первопрестольной русской Москвы, откуда и начнется европейская часть экспедиции. Наталья Мстиславская, американская спутница Стивена Крейсера, и сам квакер – они пойдут через Тихий океан с одной стороны. Догешти же и фиксатор этих строк двинутся к Камчатке через материк, выйдя сквозь две Сибири на Охотское море.

А.Ким отправился в путешествие вместе с румынским принцем Догешти; они соступили с подоконника и бодро зашагали по небу, СВОБОДНЫЕ от необходимости служения своему царю, своему отечеству, своему народу. Догешти и писатель, автор этих строк подошли к пожилому скуластому человеку, доктору в лепрозории, который утверждал, что «боль, страдание и смерть просто необходимы человеку при жизни, чтобы взять разбег ко взлету. Чтобы достичь наконец Преображение. Мы преобразуемся чистыми после этого. Каждый становится СВОБОДЕН от всего этого».

Гости шагнули за порог и увидели высокий деревянный топчан, накрытый белой тканью, на котором громоздилось что-то напоминающее лежащее человеческое тело. Возле этого горой вздымавшегося тела с той стороны, где угадывалась его голова, сидела на больничном табурете какая-то полная старая женщина. В продолжение молчаливой долгой минуты, пока вошедшие рассматривали молодую на лицо старуху и словно чего-то ждали от нее, на топчане за ее спиной что-то происходило неясное – горой вздымавшееся зеле-

ное покрывало, накинутое на лежавшее человеческое тело, вдруг разом бесшумно опало и плоско разостлалось на пустом лежаке. Там никого уже не было.

И скупой улыбающийся Василий Васильевич <начальник лепрозория> – чуть-чуть загнутыми уголками беззубого рта, – и выглядевшая просветленной старуха Ревекка, и даже благостно потупившийся перед нею принц Догешти – все трое, находившиеся перед ним, дружно испытывали какое-то одно общее умиленное чувство. Это заметил Василий Васильевич и удивленно поднял свои седые пушистые брови.

– Вы что это заскучали, дорогой мой? – спросил он. Вот теперь и узнали, своими глазами увидели, во что оно все это оборачивается, куда уходит.

– А он подумал, что Андрюша умер, что ли? – весело воскликнула грузная женщина с молодым красивым лицом. – Тогда как же я? Могло ли быть такое, чтобы он умер, а я осталась бы жива?

– Она говорит, – стал пояснять писателю Василий Васильевич, – что на двоих одна жизнь, и она неделима. В каком бы из миров они ни оказались, они всегда будут вместе.

Андрей во время Гражданской войны в Сибири был белым офицером у Колчака, попал раненым в плен к красным казакам, и его расстреляли. Но неизвестным образом он из могилы попал в сад к Ревекке, тогда барышне на выданье, а этот сад находился далеко от места расстрела.

В уездном городишке, где жила Ревекка в доме отца, оптового торговца маслом, революция и Гражданская война выразилась в том, что было 2 погрома на одну-единственную еврейскую семью. Первый раз, когда пришли, красные разграбили и подожгли оптовый склад, туда же бросили хозяина.

Такова была первая казнь в доме бедняжки Ревекки, а через полгода пришла и вторая – это когда городок захватили белые казаки. Они изнасиловали и потом повесили на воротах мать Ревекки, а саму Ревекку только лишь изнасиловали. Телесную боль запоминает память тела, разумеется, и поэтому для Ревекки, только что освободившейся от своего физического плена, было совершенно необъяснимым ее собственные ликование и легкость. Последнее ощущение оказалось настолько подстрекательным и сильным, что девушка не выдержала и, разбежавшись по долине, которою шла, вдруг легко и непринужденно

вспорхнула над землей. По-прежнему она видела свои привычные руки, ноги, а по земле, по зеленой траве-мураве, скользила совмещение с ее полетом удлинённая тень девушки.

Со стороны казалось, что взлетевшая над равниной девушка совершает в воздухе изящные балетные пируэты – и тот, кто наблюдал за нею с вершины небольшого холма, опираясь на длинный дорожный посох, тщетно старался угадать, какая же все-таки звучит для балерины музыка, из какого известного ему балета... Этот молодой человек, божественно красивый (впрочем, как и все в Онлирии), был когда-то изрядный меломан и петербургский балетоман, звали его в жизни Андреем Цветовым, теперь же он захотел называться Октаviем. Он решил ходить по просторам сибирской Онлирии пешком, торониться не хотел. потому что черновая предыдущая жизнь на земле прошла его в лихорадочной угарной спешке, закончилась на Гражданской войне расстрелом. Он полюбил друг друга и так летели рядом, почти касаясь друг друга – почти, потому что прикоснуться даже кончиками пальцев им не удавалось. Они не захотели расставаться, когда Ревекку потянуло ТУДА. Они не захотели остаться в Онлирии, потому что там нельзя было им обняться, даже поцеловаться, и вернулись в пространство Онлирской Сибири, чтобы иметь возможность прикасаться друг к другу губами в поцелуе или просто руками, помогая перепрыгнуть через поваленное дерево.

Остров Ионы достигнут, но цель о *бессмертии*, о жизни после смерти не понята до конца.

«Ты ничего уже не можешь сделать <в загробной жизни>, вот в чем дело. Ты взял да и умер. Ты не можешь своими руками ни к чему прикоснуться. Ни червяка с моего затылка снять, ни золота ухватить, которое я готов был тебе отдать. Твои руки не прилежат ни к чему в этом мире, ничего не смогут удержать, и напрасно ты явился ко мне. Спал бы ты дальше», – вот такие заключительные слова Ионы.

– Ты доволен своей работой?

– Очень доволен. Благодарю тебя Господи.

– Но я не Господь твой. Я всего лишь Хранитель Слова. Все слова, предназначенные для твоей работы, я лишь собирал и передавал тебе. Так что не благодари меня как Господа.

– Великий Хранитель Слова, я догадался о тебе давно, еще при жизни. А сейчас я произнес слова благодарности не тебе, а действи-

тельно самому Господу нашему. Тебя я тоже молитвенно поблагодарил бы, но не знаю, как это сделать. Не представляю, как мне называть тебя в молитвах.

– Для простоты и краткости можешь называть меня *Гением*

– Вообще-то мы оба от скромности не умрём, правда ведь? Но все равно – благодарю тебя, мой *Гений*. А что касается всего остального...

– Повторяю, что мне нет дела ни до чего другого, кроме работы.

– Знаю, что это не жестокость твоя, мой добрый *Гений*. Это твоя железная воля. Ты отбрасывал от меня все, что мешало моей работе.

– Ну и что скажешь обо всем этом? Ты доволен тем, что у тебя получилось?

– Далеко не все получилось так, как грезились мне во сне и наяву.

– Отчего же?

– Не знаю. Может быть, таковое и вовсе недостижимо. Может быть это никому не нужно.

– Почему ты так думаешь?

– потому что грезы у художника так же одиноки, как *Промысел Божий*.

Каждая отдельная невнятная *мечта* его ни в чем окружающем не узнает себя. И существует сама в себе, в единственном экземпляре, как неразделимая мысль Господа. Так что *ее*, собственно, осуществить невозможно.

– Тогда за что ты можешь быть благодарен *Промыслу*? Как можешь считать себе счастливым работником?

– Я благодарен *Божьему Промыслу* за то, что Его не постигаю и никогда не постигну. Но Он прекрасен и легит мне в самые зрачки ослепительным снопом света, идущем неизвестно откуда. И считаю себя счастливым потому, что за работою, которую ты поручил мне, я и не заметил, как прошла моя жизнь на земле.

– Значит ли это, что моя награда тебе не подошла для тебя?

– Отчего же? Наверняка подошла. По-другому и быть не должно. Но спроси об этом моё сердце. Оно лучше знает.

– Ты неблагодарен. Ты грешен. Ты явился сюда, так и не закончив последнего романа. Ты коварен. Ты недооцениваешь, по моему, и сам дар жизни, оттого и не скорбишь вовсе о ее потере. Нет, ты не готов к встрече со мной, отправляйся-ка назад, Я не принимаю тебя и наказываю тем, что возвращаю тебя в ту же писательскую жизнь в той же стране – ты не прошел испытания

Моего суда! Иди обратно на *досуществование*, помучайся еще, довершай свой урок.

Тихое спасибочки
аз воздам
всем падающим
звездам.
И каждая тащит
целый ящик тем
для поисков.
Ищите
да обрящете.
Но ведь у звезды
страшная температура.
В глаза лез дым,
когда горела
душа твоя дура.
Так сгубило тебя
звездное любопытство
в мильён градусов.
А ведь живое несет само себя
под звездным парусом

Вопросы

1. Какие сюжетные линии можно выделить в структуре романа А.Кима?
2. Какую роль играет в системе героев Иона?
3. В каких обликах выступает Автор в романе? Функции каждого образа.
4. Как складываются отношения Автора с героями? (хранитель слова, Догешги).
5. Что такое Слово в концепции романа?
6. Что лежит в основе сюжета?
7. Для чего вводится автобиографический персонаж А.Ким? Как соотносится этот образ с идеей свободы?
8. Какую функцию выполняет миф в формировании идейного содержания романа?
9. Как интерпретируется понятие страха в контексте романа А.Кима?
10. Как реализуются традиции экзистенциализма в контексте романа?



Владимир МАКАНИН

(13.03.1937). Прозаик. По образованию математик (закончил мех.-мат. ф-т Моск. Гос. ун-та), закончил также Высшие сценарные курсы. Обе приобретенные специальности наложили отпечаток на творчество, которое сочетает в себе бесстрастность математика и тягу к сценическим эффектам.

С середины 70-х гг. начинается зрелый этап творчества писателя. Маканин выступает как зоркий исследователь современной жизни. Основным героем становится «серединный», «массовый» человек переходной эпохи. В произведениях 80-90 гг. («Где сходилась небо с холмами», «Отставший», «Один и одна», «Лаз» и др.) как правило речь идет о сложных, трагически – неразрешимых проблемах, с которыми сопряжена подлинная свобода человека. Писатель варьирует ситуацию выпадения личности из коллектива, при этом свобода нередко воспринимается индизидом крайне болезненно, он стремится вновь слиться с «роем». Эти проблемы подняты и в повести «Стол, покрытый скатертью и с графином посередине» (1993), которая была удостоена премии Букера.

В традициях постмодернизма написан всеобъемлющий роман «Андеграунд или герой нашего времени» (1999). На широком историко-культурном фоне М. подвел итог участия «советских романистов» – шестидесятников. Как в этом, так и в последующих произведениях 90 гг. – 2000 гг. заметно уменьшение удельного веса иронии, она уступает место лиризму.

Литература

1. Роднянская И. Незнакомые знакомцы: К спорам о героях В.Маканина // Новый мир. – 1986. № 8.
2. Бондаренко В. Время надежд // Звезда. – 1986. № 8.
3. Аннинский Л. Предисл. Маканин В. Избранное. – М., 1987.
4. Агеев А. Истина и свобода // Литературное обозрение. – 1990. – № 9.
5. Гессен Е. Вокруг Маканина. или штрих к портрету // Грани. – 1991. №161.

ОДНОДНЕВНАЯ ВОЙНА

Развешивалась последняя, десятая сотня спутников, когда в России, уже, казалось, устоявшейся и привычно европейской, вдруг конфликт. Религиозные трения, констатировали газеты, тем и вечны, что их искры поддувает ветерком истории. Всегда сыщется горстка неостывшего пепла.

В пестрой России это могли быть татары, башкиры, чеченцы, черкесы... Так что было случайностью, что именно татары... что федеральные чиновники, занимаясь нужными, но мелкими хозяйственными делами, умудрились крепко задеть (газеты так и писали: *оскорбить*) религиозные чувства татар, а не кого-то, скажем, других. Но так получилось. Колесики Истории в таких случаях «на чуть» поворачиваются сами. А первыми ласточками стали волнения молодежи в столице Татарстана, когда казанские студенты, повязав зеленые исламские повязки, собирались там и тут на сходки, сидели на трамвайных, на троллейбусных путях и вдруг среди бела дня перекрыли железную дорогу поезду Казань – Москва. Студентов так и звали «зеленые ласточки».

Университетские начальники (еще «на чуть») распорядились не лучшим образом, призвав и пустив в ход милицию. *Когда неверующие агрессивны, верующие, слава Аллаху, воинственны.* Это подтвердили тысячные толпы на площади и страсти ночного пожара (на другой день) в самой старой, в старинной мечети города. Пожар наверняка был случаен, но История в особенности любит случай. И так непоправимо совпало, что российский президент отсутствовал: вылетел в эти дни на зарубежный саммит. Группка же его заместителей, руководя из Москвы и явно растерявшись, ввела наспех в Казань армейские части. Вползли танки... Все стало узнаваемым. Узнаваемое – стало родным... Стрельба по крышам, по открытым окнам. Залпы... Студенты сжигали танки и самосжигались. Снимки газет и кровавые картинки ТВ облетели мир. Мир качнулся ... зашатался...

Шел XXI век, но и ему, XXI, как и всем предыдущим, недоставало положительного опыта. Знали – *как не надо*... Запад – через решение ООН – требовал от России незамедлительно: танки из Казани вывести. Вместо них войдут международные армейские части. Международные войска (это обещалось) будут нейтральны в

длящемся национально-религиозном конфликте. Знакомо подключился Гаагский трибунал. Русские в запале еще более знакомо посоветовали не вмешиваться в их внутренние дела. Колесики Истории этого, собственно, и ждали. Колесики затаились. (Им бы только еще «на чуть» повернуться!) Добрая воля и стойкость (или нестойкость) этой воли в нас – две независимые, увы, друг от друга вещи.

Запад колебался – вправе или не вправе он теперь наказывать русских, заставив их выполнить резолюцию ООН – решение как-никак мирового сообщества! Запад мог, скажем, нанести ровно один удар ракетами, если сделать это с умом и строго прицельно – разрушая экономику, но щадя население. Как писала после английская «Гардиан», столкнулись два опыта. У России в опыте Чечня (аналог Татарстана), а у Запада имелся замечательный (и тоже победный!) югославский опыт – Запад знал как и что. Следовало сверхточными ударами обескровить экономику противостоящей страны, лишая ее нефте- и газопроводов, заводов, мостов, электростанций, шахт и проч. Следовало наказывать, не объявляя войны. Страна перетерпит – к власти придет оппозиция.

Тем вернее, что энергетика России «растянута» в земных пределах и слишком похожа на летние и легкие тянущиеся паутинки. Как примета, летние паутинки обещают хорошую погоду. После первых же точных ударов по газопроводам и нефтяным коммуникациям Россия (в преддверии зимы) окажется энергетически разрушенной и стоящей на коленях, а переминаясь на коленях, ни человек, ни государство говорить «нет» долго не сможет.

Система «тысячи спутников» к этим дням была уже развернута.

Была, разумеется, проанализирована и ответная атака дьявольских СС-21. Ракеты-перехватчики наготове. В самом лучшем случае со стороны русских взлетят неуничтоженными лишь ПОЛТОРЫ РАКЕТЫ. Но половинками ракеты прицельно не летают (значит, ОДНА).

Взлетит боевая одна – все остальные ракеты будут перехвачены и перебиты, притом что взрывное сотрясение воздуха в момент перехвата будет столь мощным, что единственная эта летящая боевая ракета также неминуемо сойдет с курса. Ракета-дурачок! Она будет болтаться в воздухе. Шутиха! Свободный полет едва ли мог принести ее в Европу или в Азию, скорее всего в необозримый

Тихий океан. Кстати, она могла шлепнуться и на собственную непроглядную таежно-сибирскую территорию. Чего же лучше? Чего же еще?..

Страшные ошибки всегда очень просты и человечны.

Кто мог подумать, что российских полковников (их Национальную лень) так раздражало после каждого очередного испытания СС-21 собирать по полям и лесам свои «пустые» ракеты. С ума сойти! Эти здоровенные металлические болванки, покореженные и помятые, не могли быть заново использованы (Громадные уродины годились только в переплавку). И вот с какого-то момента вояки (скрытно от родного министерства) в три раза сократили количество взлетающих «пустышек». После испытаний они, само собой, подправляли свою лень (свой человеческий фактор) арифметикой – все итоговые числа испытаний просто умножались на «три».

Разведка многократно доносила, что русские умножают отчетные цифры на фиксированное число «три», однако на Западе понималось (фактор на фактор) только так, что русские раздувают успех своих стрельб. Просто-напросто хотят выглядеть посильнее и пострашнее, чем они есть. Что, в общем, свойственно всякому индивиду и всякой стране, если они опасаются нацеленного первого удара.

Удар НАТО и ответный удар русских был, в сущности, одновременны, различаясь лишь одним мигом. Война начала – и война уже прошла. Как написала французская «Монд», доля секунды меж взлетом нападавших ракет и ракет ответных была столь мала, что, если бы не ход событий, нельзя было бы даже сказать, кто ударил первым.

Журналист позволил себе популярное сравнение: противостояние ракет (до атаки) напоминало ему встречу на скате крыши двух агрессивных котов, когда те одновременно ставятя в великолепную позу «чертом», горбом выгибая спину. Шерсть в таком ответственном случае котяра ставит дыбом, чтобы кот-противник принял этот взбесившийся волосяной покров за сверхмогучие мышцы. И чтобы, глядишь, испугался.

Ракеты, готовые к взлету, пояснял далее журналист, как раз и вздыбились над Землей как пугающий распрямившийся волосяной покров. Но у людей (небо – их крыша) умножение на три, как бы мифическое, оказалось реальностью.

Не были сбиты и не долетели не *полторы ракеты* (что справедливо значило бы ОДНА, половинками ракеты не летают), а *четыре с половиной* (что значило ТРИ).

На этом ракетная перестрелка тотчас прекратилась. День войны кончился – и уже к вечеру война получилась однодневной.

Что такое огромная «растянутая» Россия с ее долгой-долгой зимой, оставшаяся разом без энергоресурсов, трудно даже представить. Случившееся не было, быть может, катастрофой, но не было и жизнью. Россию отбросило «от нефти, газа и угля – к дровам», из третьего тысячелетия – в первое.

А ракеты, вот удивительно, еще оставались.

Не хотел восвать дальше и Запад. Громко крича и стеноя, вышли из НАТО французы. Лидеру не прощают. Европа не переставала пенять американцам, хотя ответный удар принес Америке вред куда больший.

Одна из неперехваченных русских ракет, как и предполагалось, случайным (болтающимся) образом угодила в Тихий океан. Всплеснула где-то там водную гладь.

Вторая – кривым манером залетела в Европу, а именно в нейтральную Швейцарию, по счастью, в самые Альпы, снеся там всего-то пяток чистеньких деревушек. Супермогучая, она лишила жизни всего лишь неполную тысячу жителей и еще около тысячи красивых заезжих лыжников.

И лишь третья (последняя из «счастливо» проскочивших) достигла Америки, разом уничтожив почти половину города Чикаго. Два миллиона людей. Ракета как замороженная летела по-над самой американской береговой линией, по какой-то неведомой причине только тут разделяясь и разбрасывая свои взрывающиеся куски куда придется, но в ту сторону моря. А одни из этих самонаводящихся кусков вдруг свернул на Чикаго.

Эту третью ракету, отличая от других, называли «сумасшедшей», хотя, по логике ракет, более всех сумасшедшей была первая, слегка всплеснувшая Тихий.

Таков ущерб. (*Данные по информации Франс Пресс.*) Плюс, конечно, оставшаяся без газа и нефти, замерзающая Россия.

Потрясенные чикагской бедой американцы винули своего лидера – своего президента. Запустив процедуру импичмента, честные налогоплательщики всех возрастов повторяли на страницах газет и на телеэкранах:

– Как он мог!.. Как он мог!

От руководства страной его вскоре же отстранили. Теперь он был экс-президент.

Мало того – торопились отдать под суд. Штат за штатом собирали по всей Америке необходимо (так было решено) число подписей. Судить! судить!.. Война в один день длиной не могла изменить людей – изменить давно сложившуюся их общность. А, как утверждают злюки философы, главным рычагом сложившейся демократии (рычаг рычага) являлось и является преследование говорливых стариков в конце их пути.

Что там ни говори, это единственная (на земле) замена Божьего Суда – на ему равный.

Судили Пиночета, судили Хонеккера, судили Ким Да-Да и Ким Нет-Нет, старичок за старичком, кого только не загоняли в угол! Без сантиментов (с холодком высокой строгости) телеэкран засвидетельствовал всему миру их жалкие лица. Всё это ради нас. Тиражировать повсюду раздавленность (смотрите же! смотрите!) очередного судимого старика – не в этом ли наше скромное гражданское торжество? и не в этом ли, если уж всерьез, она, наша ежедневная (ежевечерняя) духовная пища?.. И почему это – не молитва? Кроткая боязливая наша молитва о будущем (за самих себя) – молитва на ночь глядя перед голубящейся свечечкой телеэкрана. Мы просто люди, а Ты – наша скромная церковь. Мы входим на коленках в телеэкран и молимся.

Судили даже бывшего канцлера Коля! Немец-номер-один, толстяк, как славно он надувал щеки! – его случаем не засудили, но все-таки потрепали нешлохо. Пожалуй, что поспешили. Чуть-чуть с ним поторопились – и потому упустили. Главное в деле осуждения (и это нельзя забывать) – дожждаться стариковской беспомощности. Зачем терзать пузана? Кому интересны его надутые щеки?.. А вот терпеливо дожждаться его слабости, дряхлости – показать его немощность – и (ага, жалкий!) тотчас судить! Момент истины это момент дряхлости. Иначе самая из истин истина – не в справедливость. (И, признаемся, не в кайф.)

Важно уяснить до конца. Ведь именно больной его взгляд всем нам нужен. Нужна слюнявая текучка рта... Адвокаты... Родственники... Бомжи с плакатами – это-то все и есть процедура, она нас, припавших к экрану, завораживает – ритуал. *Ego*, когда-то властно-

го, везут (под вопли толпы) в каталке! Хотя бы раз, в выходной день (к вечеру) нам это необходимо – вздохнуть и душу отвести, понаблюдав...

В Варшаве городской сумасшедший бегал по улице с обновленным монологом. (Узнав, что собрались судить Ярузельского.) «Панове! Это липа!.. Мы преследуем раз от раза ненастоящих. А приглядитесь к ним, панове – сразу же видно! Человеки липовые – диктаторы ненастоящие. Ни то ни се. Настоящих-то мы любили...»

Конечно, некоторые умники считают, что преследование стариков в конце их пути – это лишь отыгрыш, мелочной реванш толпы, у которой маловато, увы, оказалось радостей в жизни. Но тем самым (невольно, а то и вольно) умники защищают этих гадких властных стариков. Умники никогда не признавали величие и красоту *процедуры*, что с них взять! Им подавай кантовскую этику долга и звезд. А где она? В жопе она. Нет ее.

Но мы-то научились подойти к справедливости с другого конца – с земного. Мы знаем, что надо знать. Она (истина) проста. Вот она. Кто бы нами ни правил, он безусловно скот. И наконец-то он получил по заслугам.

Замерзающие там и тут (в России) люди тоже отстранили своего лидера от президентства. Пора было и его брать за бока. Но Россия в Однодневной войне, хотя и с разницей в секунду, оказалась защищающейся стороной. Так что проще и всем понятнее было продолжить преследование экс-президента Р (российского, эр, так для отличия его звали в газетах) за танки и за пролитую в Казани кровь. Тут уж было не отвертеться.

Экс-президент А (американский), старея, стал совсем одинок, если не считать любимой собаки.

Жена умерла, а дети давно разъехались кто куда по дорогам Америки. Дети (уже взрослые) хочешь не хочешь отчуждились: кому понравится, когда родного отца, что ни день, полощут в газетах. Но особенно доставали проклятое ТВ, где в ожидании судилища неостановимо лгали, а уж как злословили!

Зато собака экс-президента А газет не читала и голубую жижу ТВ не нюхала. Собаку звали Иван. Так уж было принято – крупных сильных собак звать популярными именами из чужих и отчасти противостоящих стран. Считалось, что Иван самое популярное имя в России.

Экс-президент А (американский) едва прикоснулся к принесенному ему завтраку. Также и с газетами: проглядев свежие заголовки, читать и не подумал. Зато он с удовольствием опустил на пол, боролся там с сильной собакой, чесал ей за ухом. Они валялись на толстом ковре, и стареющий экс-президент говорил с легкой горечью:

– Нас двое, Иван. Ты да я – больше никого.

Но в его голосе слышалось и сколько-то счастья. Собака стала уже родным существом. Она все понимала.

Если не считать долгой (и похожей на счастье) игры с собакой, экс-президент А с утра был занят делом, для него неприятным: он должен был на час-другой озаботиться своим будущим. Этого так не хотелось! (Не хотелось и самого будущего. Черт бы с ним!..)

Но вот пришли его люди, остатки его бывлой команды, вся битая королевская рать. Вместе с экс-президентом (кофе, мороженое и немного виски) эти люди повели долгую и, прямо сказать, трудную беседу о том, как притормозить нависший Суд. Трудная беседа была ежедневной. Отменить судилище конечно же невозможно, как невозможно, скажем, отменить саму демократию. Ну, а притормозить?.. Оттянуть процедуру – процесс, застопорить, сделать ее вялой и невыносимо долгой (и пусть даже невыносимо мучительной) – это стояло на повестке дня; именно это сейчас казалось для всех них жизненной необходимостью – и шансом.

Команда профессиональна и невелика, но и она, дабы быть деятельной, нуждалась в изрядной финансовой подпитке. Деньги, собранные в течение жизни экс-президента А, уходили теперь в их верные руки, в их карманы и – рассредоточиваясь – в те «ямки», которые она этими руками рыли на пути наезжающего Суда.

Кончающиеся деньги напоминали тающее во рту мороженое. Деньги напоминали кофе на самом дне чашки. Покончив с беседой (с мороженым, с кофе и с виски), верные люди к середине дня разошлись.

У изголовья экс-президента остался лежать электронный компьютер – калькулятор с розовым экраном, изображавшим как кривую его жизни, так и кривую его денег. Обе кривые были по времени спрогнозированы. Обе кривые ежесекундно падали вниз, кто скорее. Такой же калькулятор для удобства (чтобы не искать) валялся на его столе. И на ковре, рядом с собакой, валялся еще один.

– Что же ты хочешь! Кончатся деньги – начнется Суд. Но произойдет ли это, Иван, в мои семьдесят... или в семьдесят пять? – задавал вопросы экс-президент, улегшись опять на ковре и выдерживая из него, как из огромной ромашки, седые ворсинки.

На что Иван лишь чутко повел носом в сторону окон (в сторону отверстия непостижимого компьютерно-калькуляторного мира).

На другой стороне земного шара экс-президент Р (русский) тоже к этим дням стал стар и одинок. Жена, по состоянию здоровья, должна была жить в Крыму, где сам воздух наполнен йодистыми испарениями и (важно!) где не так мерзнуть. Взрослые два их сына уехали, выбрав себе где-то на Урале маленький русский город, завели там каждый свою семью и тоже старались жить так, чтобы унаследованная фамилия как можно меньше напоминала об их отце.

Иногда сыновья виделись в субботу-воскресенье; встречаясь, шумно выпивали и шумно (но не слишком) сетовали меж собой на неблагодарных соотечественников:

– Они (люди) забыли все хорошее, что отец им сделал.

Или так:

– Она (люди) припомнили каждый букет цветов, который когда-то сами ему поднесли.

Но что сетовать на людей и что рвать сыновнее сердце, если из века в век они (люди) не умели думать без причинно-следственной увязки событий. Если они (люди) в простоте своей ставили теперь в вину экс-президенту все, как есть, беды России, но прежде всего – утраченные линии электропередач, нефть и газ.

Суд Гаагский – хер голландский!.. Их (людей, соотечественников) тешило и забавляло, даже интриговало, что над бывшим их президентом навис этот Гаагский трибунал, как бы игрушечный, однако все более и более цепкий – и все настойчивее обвинявший его во введенных когда-то в Казань танках. Величие самодвижущейся процедуры! Прошло уже полтора десятка лет, сменились еще два российских президента, но Гаагский трибунал, год за годом в трудах, собирал и набавлял новые подтверждения той старой вины. Дело обернулось жестко и всерьез. Пришли наконец (обычной почтой) и первые вызовы экс-президента Р на допрос.

Россия чего-то смутно ждала и пока что не выдавала его в Гаагу, однако на всякий случай экс-президент был теперь под до-

машинным арестом и уже не мог выезжать за пределы Петербурга. Ожидалось (официально), когда в трудолюбивой Гааге соберут все неопровержимые факты. Но еще больше (и все это знали) ожидалось, когда экс-президент станет дряхлым.

У экс-президента Р не было больших денег, тающих теперь, как мороженое или как выставленное дармовое виски. Однако и у него была кой-какая команда. Несколько приверженцев считали его великим человеком, старавшимся вернуть нации ее величие. Эти горячие его приверженцы были малочисленны – и, конечно, бедны. Но что наше, то наше – они могли часами звонить экс-президенту, скажем, после завтрака, и приободрять его.

А завтракал российский экс-президент в полном одиночестве, если не считать пса Джека. Как водится в России, псу давали распространенное американское или немецкое имя. Противостояние жило безликим фантомом. Американское имя или немецкое – зависело от исторического момента.

Завтрак экс-президенту приносили прямо к его столу, поскольку сам выйти из дома в магазин или в булочную он права не имел. Он пил чай с молоком, а из утренней еды были две легкие булочки, сыр и колбаса. Бывший спортсмен, экс-президент поутру ограничивал себя в мясе. Съедал булочку и сыр, а колбасу кусочек за кусочком скармливал Джеку.

Как и многие стареющие мужчины, он запросто болтал со своим псом:

– Много ли радости, Джек, бороться с излишним холестерином?!

Джек не ответил, но в прыжке поймал и сглотнул последний кусочек колбаски.

– А меня уже и безделье не угнетает, Джек!

Подачки не было, и пес, не загрузивший едой пасть, мог поддержать общение. Он радостно выл:

– Уу-уу!

Экс-президент протянул к его голове руку и чесал, чесал Джеку за ухом.

Экс-президент Р ожидал Гаагского трибунала, а экс-президент А (американский) – высшего суда своей собственной страны. Оба посылно сопротивлялись. И не считали себя виновными. И оба, из газет и ТВ, знали, конечно, разные подробности друг о друге.

Их стариковские будни оживлял своеобразный род любопытства: кто из них двоих попадется и поплатится раньше – кто первый угодит судьям в пасть?.. Как-никак их имена были навечно связаны Историей, ее Однодневной войной, вина была как бы общей, но каждому предъявлен отдельный счет – так кто виноватее?.. Вопрос, конечно, пустой и разве что спортивный: ни тот, ни другой не надеялись себя обелить. По обе стороны океана великая процедура пустила по их следам неспешные и откормленные яростью своры – но кого уже завтра достанет гон, кого прихватят с лаем – с визгом зубами за тощую стариковскую ляжку?..

Если первым попадет под суд российский экс-президент – сможет ли американский экс почувствовать себя сколько-то оправданным? (Нет, конечно. Увы. Недолгое заблуждение.) И в точности то же, если наоборот... А все же не хотелось, чтобы тебя осудили первым. Так что косвенным образом экс-президенты вновь соперничали. Оба думали об этом с улыбкой. Оба отлично понимали, какая это срунда... и какая мелочь! Но человеческая жизнь (жизнь старика тем заметнее) как раз и складывается не из важного – из мелочей.

Оба ждали... Каждый вдруг вспомнил о здоровье. Важно было не одряхлеть и продержаться как можно дольше.

Гаагский трибунал добыл наконец столь необходимые ему сведения о том, что в дни волнений в Казани тогдашний российский президент, участвовавший в зарубежном саммите, трижды звонил в Москву. Нашлись (за деньги) некие спецслужбы, текстуально не записавшие, но честно зафиксированные сами факты телефонных разговоров – день, час, даже поминутно! Российский президент говорил... А о чем в те дни он мог говорить с Кремлем, если не о Казани?.. А что еще он мог предложить своим властным помощникам, если следом за теми негласными переговорами они ввели танки?

И так по команде ведущие газеты мира вновь запестрели (заалели) фотографиями Казани – с оранжевыми подсолнухами пылающих на улице танков. И с красными бутонами самосжигающихся студентов...

На что, удар на удар, экс-президент Р (правильнее сказать, фотограф его команды) ответил незамедлительно. Не столь, может быть, яркими, но тоже достаточно «боевыми» фотоснимками.

Приверженцы российского экс-президента, те самые трое или четверо, уже загодя присмотрели ему обычную однокомнатную квартирку в том же петербургском доме. (В охраняемом подъезде дома, увы, им не удалось. Но рядом.) Небогатые, они в складчину сняли эту квартиру на срок, с тем чтобы российский экс занимался там любимым в молодые годы спортом – восточной борьбой. Там и обустроили своего рода маленький спортзал с татами – раз в неделю, по вторникам. Верные люди старались этим его взбодрить, напоминая о былых днях. Один из верных согласился быть «куклой», вялым спарринг – партнером, которого экс-президент, стоя на татами, швырял бы через бедро. Бросок (это все знали) когда-то у экс получался неплохо, но теперь верному человеку приходилось по большей части самому нырять головой вперед. Выбрав минуту (подинамичнее!), он сам вдруг сигал рыбкой через бедро ослабевшего борца. Верный человек рисковал каждый вторник сломать себе шею.

После тренинга экс был так слаб, что его увозили из зала на инвалидной коляске. Уход с татами (увоз) совершался с предосторожностями и с постоянной оглядкой, дабы не выследила ненасытная пресса. Тренинг заканчивался, когда на улице густо смеркалось. Перевоза на коляске (самой обычной) из подъезда в подъезд, экс-президента одесвали, а лучше сказать, закутывали в серый, неброский плащ с большим нависающим на его лицо капюшоном.

Газеты только и ждали, чтобы в картинках запечатлеть уже дряхлого, но еще живого – миллионы людей должны сами увидеть, насколько их жизнь (жизнь миллионов) сильнее всякого, кто был над ними.

Катят в Суд на инвалидной коляске!.. это всегда вызывало и будет вызывать у зрителей ТВ волшебное чувство удовлетворения. Пусть его катят. Пусть так и едет, боясь уписаться. Отлично, если у него к тому же тик!.. Трясется еще и вставной глаз от страха. Неплохо! А вот и слюнка, родная, свисает изо рта прямо на плед, в который старик закутан охраной (из жалости)... А уже с пледа – серебристой ниточкой на пол.

Зато верные люди, трое или четверо, распространяли те самые фотографии, где стареющий экс-президент, стоя в боевой позе, запросто швырял через татами нехилого мужика. Впечатляло. Мужик, с остекленевшими зрачками, летел куда-то в далекий угол.

Газеты картинку брали, но неохотно. Читателей такие фотографии только раздражали – жизнь коротка, сколько же можно листать газеты и ждать справедливости, откладывая вновь и вновь!

Гаагский суд после растиражированных двух – трех таких фото притормаживал процессуальный разбег. Судьи разводили руками. Конечно, российский экс-президент никуда не денется – Время и Демократию никому не остановить, не умолишь. Однако следовало все же выждать, пока этот чумовой перестанет разбрасывать по углам своих спаррингов. Надо же так! Подпись под одной из победных фотографий экс-президента, как бы запросто зазывая дурачка читателя на татами, вопрошала:

– Кто следующий?

В затяжном биологическом поединке со временем (и в заочном поединке с российским экс-президентом) американский экс-президент тоже использовал фотокартинки в газетах, но еще эффективнее – на ТВ. Техасские его друзья (тоже уже малочисленные, последние) устроили так, что экс-президент, надвинув на лоб ковбойскую шляпу, вихрем промчался на лошади по самой пыльной из местных дорог. Это было в полумиле от всех любопытных. Сам по себе усидеть на движущейся лошадке он уже не мог. Но из парашютных тросов был сделан на заказ надежный корсет – поддержка – от седла и до самой подмышки седока с левой стороны, а снимали скачку, разумеется, справа – видеокамерой и на фото.

Экс-президент проскакал по времени около десяти минут, из которых две выглядел вполне сносно. После чего, правда, он сразу отключился. Он не рухнул только потому, что был намертво привязан. Его осторожно сняли, несли на руках до машины – и дома тоже весь день сдували с него пылинки. Весь этот день, день следующий и еще полдня сверх он был в отключке, друзей не узнавал и сидел в кресле с открытым ртом.

Однако две минуты его лихой техасской скачки обошли телевизионные экраны всего мира.

Этого было достаточно, чтобы притормозить Суд, приостановив, в частности, подсчет голосов в штатах, соседствующих с Чикаго, штат Иллинойс. Адвокат экс-президента, выступив публично (сразу после кадров на мчащейся вспененной лошади), сумел использовать тот факт, что голоса «за» и «против» отсортировывались электронно-счетной машиной. Адвокат настаивал на пересчете

голосов вручную. Это честнее. Это более человечно. Когда речь о нашем парне, который скачет, откинувшись в седле и небрежной рукой удерживая поводья...

А ведь в некоторых из штатов сгорали от нетерпения его засудить.

Но и ручной пересчет адвокат нацеливался затем оспорить, заявляя отводы, одному – другому – третьему из бригады счетчиков... Адвокат (на этот раз обратный ход!) выявит ненадежный человеческий фактор. Он подчеркнет пристрастность пересчитывающих вручную. Сомнительный счетчик? – да вот он! Чья мать или отец (чья невеста!) погибли сразу же при взрыве той «сумасшедшей» ракеты – мог ли этот человек, этот подсчитывающий, беспристрастно раскладывать по тарелкам «за» и «против»?..

Войну к этому времени уже называли «однодневным недоразумением», «случайностью», «исторической запятой» и тому подобным. Урок – это то, что надо по – быстрому забыть. А из Чикаго, из соседних штатов люди все еще бежали на восток или на запад Америки, Лишь подальше от взрывных выбросов стронция и обогашенного урана.

Мир им сочувствовал. Американцев звали к себе счастливо отделавшиеся европейцы, шведы, немцы, испанцы. Звали к себе замерзающие русские. Их тотальный холод (даже в районах Сибири) был предпочтительнее скоротечного белокровия. Те, кто по той или иной причине не мог позвать чикагцев к себе домой, сочувствовали добрым словом – присылали им множество теплых писем и телеграмм, с тем чтобы люди в беде не пали духом. Больше всего сочувственных писем прислали из Хиросимы.

И совсем другие письма (потешные, издевательские, из каждого штата) получал их экс-президент. Все американцы помнили этот веселый адрес: *техасцу, не умеющему умножать на «три»*. Даже школьники знали его дурацкий промах.

Не фигу было связываться с русскими, если у тебя с арифметикой совсем плохо.

Что в далекой Европе, что в Африке дети в школах, едва усвоив, как умножать на «два», и переходя к умножению на «три», начинали хихикать. Зная наперед, что сейчас учитель закрепит урок свежайшим историческим примером.

Его, президента, завесившего полнеба чуткими сторожащими спутниками, сочли авантюристом! Его, не спавшего ночь за ночью

в то тревожное время, считали беспечным – и повинным в гибели... Или им невдомек, что его решения и его воля – это их решения и это их (и ничья иная!) воля. Они (люди, соотечественники) не хотели даже минуты подумать, развернув столь простую мысль в сторону правды – в свою сторону! Зато хотели судить. Они хотели судить без промедления и тотчас, едва он станет жалким слюнявым стариком. Ату его! Они уже загодя пьянели от преследования – от резкого, после отмашки, гона! Пожизненное заключение экс-президента уже сейчас считалось недостаточным. Кто-то подсчитывал, что ему дадут 215 лет тюрьмы, кто-то обещал, что он получит 332... Они смаковали эти цифры, им было мало... Маловато им было.

Иногда ему звонили (среди ночи) и запросто кричали в трубку о неминуемом судилище:

– Уже скоро!

Иногда его вроде как просили дать справку:

– Эй, приятель. Это ты?.. Скажи-ка, а где сейчас пол – Чикаго?

Речь шла, понятно, о той половине многомиллионного города, что погибла в Однодневной войне. Она погибла мгновенно, за две или три секунды.

Вопрос «где?» был чистой риторикой. Хотя некоторые религиозные люди все еще вкладывали в вопрос тот смысл, что чудовищным разрушением Чикаго была задана Богу немыслимая (для нас) и срочная работа. Каждая отдельная душа – это же для Него так ответственно! Это же в рай... или в ад... Мы-то разберем завалы – обвалы бетонных стен, горы земли и битого кирпича, но справится ли Он, разбирая столь гигантские нравственные завалы погибших вперемешку (и в одно мгновение) миллионов?..

...Американский экс-президент, положив на базу телефонную трубку с хамским голосом, решил не огорчаться – и попробовал даже улыбнуться. Почему нет?.. Такая высокая луна! Он подошел (как и его заокеанский визави) к окну и видит легко застывший ночной пейзаж. Эта минута жизни не из плохих. Хорошая минута! Не так уж часто подкидывают с неба мгновенья, когда к старикам возвращается их ясный разум и немного сил. Обычно ночью.

Вопросы

1. Поясните метафору «война» в рассказе.
2. Что подразумевает автор, устанавливая сходство двух Президентов?

3. Какова роль народа в мировой истории и в жизни двух Президентов?

4. Какое место занимает данный рассказ в творческой эволюции писателя?

5. Какие события воссоздаются в описываемую эпоху в России?

6. Какое художественное время отражается в произведении?

7. Как характеризуется социально-политическое состояние в России?

8. Как сложилась судьба американского экс-президента?

9. Как сложилась судьба русского экс-президента?

10. Раскрыть смысл «однодневной войны»?



Юрий МАМЛЕЕВ

Мамлеев Юрий Витальевич (11.12.1931, Москва). Прозаик. Родился в семье профессора психиатрии. С нач. 1950-х г. интенсивно занимался философией – от классической немецкой постепенно переходит к восточной, изучает теософию, оккультные учения. В течение 60-х г. Мамлеев на основе индуистских философских учений создает «собственную метафизику «Я», которая подробно изложена в книге «Судьба бытия» (1993). По Мамлееву человеческое существо является только оболочкой, внутри которой находится божественная реальность. Заметна некоторая связь с традициями Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Ф.Сологуба, А.Белого. Проза Мамлеева чрезвычайно специфична и самобытна. В повестях «Шатуны», «Вечный дом», в рассказах и «Русских сказках» происходит сближение иррационального, подсознательного и самого открытого натуралистического. Опирается на сюрреализм, на психоанализ З.Фрейда и философию А.Бергсона. На пути скрещения сознательного и бессознательного и происходит постижение человеком своего «я», а через «я» – познание Абсолюта.

Мамлеев оригинально соединил фольклор и классический сюрреализм. Он использовал архетипы народного коллективного бессознательного, представленные в русских сказках, интуицию, чтобы показать «крайние скрытые стороны человеческой души, трагедии бытия, исканий метафизически неизвестного», чтобы пройти к глубинам коллективной души народа.

Мамлеев Ю. Русские сказки. Альманах «Вечный дом». - М., 1991.

Литература

1. Беляева-Конеген С. Упырь. // Стрелец. – 1992. № 3.
2. Горичева Т. Круги ада. // Континент. – 1983. № 36.
3. Одесская М. На краю бездны. Возвращение Юрия Мамлеева // Литературная газета. – 1992. – 23 декабря.

РУССКИЕ СКАЗКИ: СОН В ЛЕСУ

В глубоком тайном лесу, куда не любят заглядывать и звери, приютилась небольшая деревушка. Очень родные люди жили там. Но и на веселие у них тоже духу хватало. Девушки в нежных, как цветы, платьицах на полянку ходили, песни пели хороводные, травы собирали. Мужики более серьезные были: от вина и работы не оторвать... По вечерам темнел лес, сами деревья становились мраком, только шорохи и звуки кralись в кустах, пугая детушек малых. Иногда и нечисть приходила с гостинцами. В такие часы деревенские боялись в избах одни оставаться: все друг к дружке жались. Во дворе где-нибудь собирались, костер жгли, кто истории рассказывал, похождения всякие. А кто поумнее – молитвы особые про себя читал. Порой и бабонька какая-нибудь всхлипывала у костра со страху.

Обласкав так друг дружку, спать разбредались на перины. Одне домовые да молитвы тайные сон их охраняли.

Зато, когда солнце вставало, лес зеленый возвращался – куда только мрак уходил, непонятно. Шорохи пропадали, нечистый дремать уходил, итички Божии вместо его прилетали. Девушки по воду шли, важно друг с другом здороваясь, у старушек страх с души исчезал, мужчины с ранних часов медом-вином и работой баловались. После обеда спали все в сладости. Опося душу друг другу раскрывали, и за этим занятием очень много часов проходило. В спокойные вечера скатерть раскладывали, самовар приносили, девки пампушек напекут, квасу, пива домашнего нанесут – чтобы о душе говорить слаще было...

Тихие, одним словом, были люди, нежные, немного загадочные.

Среди них девушка Настя жила: волосы золотистые, глаза голубые, то умные, то детские. личико белое, как снег в небесах. Молодежь деревенская между тем в прятки играть любила. И Настя тоже этой игрой не брезговала. Бывало, соберутся ввечеру на закате и прячутся. По-особенному они в эту игру играли, с задумкой и всерьез.

Однажды собрались вот так и начали играть. Разбежались все по дальним местам, куда и медведь не заглядывал, только эхо одно дойдет. Но как ни прятались – нашли все-таки потаенных. Только

смотрят – а Насти нет! Искали-искали, нет нигде девушки. Вся деревня стала потом ходить, даже детишки отличились – пропала Настя и все. Словно она ягодой какой-нибудь обернулась.

В деревне той ночевал проезжий, опытный человек, с нюхом. Он и так полагал, и эдак, и по колдовству, и по уму – и тоже не смог найти. «Вот это спряталась, наверное, и сама себя найти не может», – подумал он.

Горе объяло деревню. Ведь каждый – как родной, да и куда могла уйти душенька странствовать?

Проезжий запил, загрустил и скоро уехал. А деревня долго горевала.

Прошло более года, сколько воды утекло, столько стихий прошумело в лесу, сколько духов с пути верного сбилось!

И однажды этот проезжий опять попал в те края. Идет и думает: «А как же Настя, есть ли могилка ее? Или растащили по кускам бедное тело?»

Приходит в ту же деревню и первым делом о Насте загадывает.

– А как же, нашлась. – отвечают ему. – Только, может лучше бы она и не находилась!

«Как так!» – изумился проезжий, у того, у другого расспрашивает, на скамеечки перед избами подсаживается. Не сразу сказали ему истину. Но под конец объяснились.

Появилась Настя через год после пропажи. Из лесу вышла. И понял сразу народ: во сне она, хоть и ходит. Бывает такое на белом свете. Красивая, такая же, как была. волосы золотистые, лицо – белое, и глаза – голубые, но в глубоком, глубоком покое. И такой бездонный этот покой был, что всем страшно стало. А идет прямо, без улыбки, и не узнает никого. Бились, бились с ней и радетели, и деревня вся – видят, не пробудить ее ото сна. Радетели с горя умерли, но Настя жить во сне осталась. На краю деревни ее избушка – спит она там на постели, в горнице, иногда только встает – воды напиться, травушку взять.

Ужаснулся проезжий и говорит: «О, этим дело не кончится! Неспроста все это».

Умный был человек, одним словом.

И действительно, скоро стали происходить события – только не обо всем в деревне знали.

Сначала постучал в окно к Настеньке красавец молодой, писанный. По дороге мимо счал. Глянул на нее – и ахнул. Такая не-

обычная девушка на него глядит, и взгляд ее как будто в себя затягивает, как в пропасть. Только слова ни одного не говорит.

Быстро понял тогда красавец молодой, в чем дело. Но не отступился: потому что полюбил Настю, как взглянул. «Какая ни есть – не забыть мне ее», – подумал он. Подошел – и поцеловал Настю. Вдруг румянец – словно в ответ – заиграл на щеках Настеньки, глаза вышли из внутренней бездны, и слышит красавец, что заговорила, заговорила его Настенька человеческим языком! Трепет охватил его. «Неужели пробудилась?» – подумал он. Взял Настю за руки – и повел к людям в деревню.

«Ах, как долго, долго я спала», – заплакала Настенька, узнавая своих близких.

– Да спряталась-то ты куда? – спрашивают ее.

– Ох, ничего не помню, подруженьки. Что за место – не помню. Но знаю одно – что спала долго, как мертвая. Ах, как страшно спать!

– Почему, почему страшно, Настенька! Сны?!

– Не было снов. И не оттого страшно. Где же я была?

Поплакала потом Настенька над могилой радетелей. Заметалась. Но рядом с ней – красавец молодой. Пир горой скоро надо начинать, жениха с невестой славить.

Все полузабылось в веселии. Мед тек, песни лились, хоровам, пляскам конца не было.

Зажила Настенька вместе с мужем своим, которого полюбила всей душой, ведь пробудил он ее от неведомого сна. Жили хорошо, ладно, но порой было у Настеньки на душе неспокойно, вставала она с постели, слова бормотала, и все оттого, что очень она этого сна испугалась. Память о нем в ужас ее вгоняла, хотя скрывала она это даже от мужа. И такой живой был этот ужас, что и обычному человеческому сну она не любила предаваться.

И вот однажды вышла она за дом цветы нарвать – и вдруг слышит голос. Кровь как остановилась в ней, ибо поняла она, что голос этот слышала во время своего мертвого сна.

Замерла Настя, стоит и не смотрит, словно знает, что голос тот не из земного пространства.

И слышит она:

– Ты думаешь, что проснулась? Напрасно. Ты спишь еще более глубоким сном, чем раньше. Ты не пробудилась, а заснула во сне еще одним сном. Неужели ты не чувствуешь это?

Оглянулась она все-таки, побежала, за дерево схоронилась – и вдруг поняла: правду говорит голос, в глубоком сне она, не было никакого пробуждения. Разве не сон вокруг? Оттого что яро он виден так, что ощущает она его, как явь, еще не значит, что – не сон это. «Живой сон еще страшнее мертвого: ибо и в голову не придет, что это лишь сновидение», – подумала Настенька.

И вышла на дорогу, за околицу. Значит, любовь не только не пробудила ее, а в еще больший сон погрузила? Холодно ей стало, смотрит на небо, на звезды Настенька. Но страх перед сном прежний, непонятный, сжал сердце, уже по-новому, с большей силой. И взмолилась тогда Настенька по-черному так, унав на колени посреди пустой дороги, чтобы освободили ее и пробудили от сна. И почудилось ей, что в душе ее смятенной ответ даже есть: боль, боль только одна может от сна пробудить. Встала Настенька, пошла обратно. На лес – в шорохах, в пении – и глаза не глядят: что на сон смотреть. А сама думает: от боли даже мертвые встают. Боль, боль – мое спасение!

Пришла домой, от мужа все скрывает, как будто жизнь это все, а не греза. Он счастливый, ничего не замечает. Прожили недели две: вдруг как гром посреди чистого сонного неба. Умирает молодой муж, красавец, как дуб подрубленный, быстро сгорел. Плачет, бьется Настенька, но только когда одна дома в темноте оказалась, и боль великая объяла ее, поняла она, что это значит. Ведь получила она то, что хотела.

В горе таком прожила она много дней. Глаза высохли, губы затихли от одиночества. Никого и видеть не хочет. Одна около дома или в лесу бродит. Наконец, сил совсем не осталось, бросила все и уехала далеко-далеко в город.

Приютили ее добрые люди. Город был большой, шумный, но по вечерам затихал, и становилось в нем сумрачно и таинственно, как в деревне. Особенно на окраине, где и дома были, как деревенские.

Боль понемногу худеть стала. И вдруг чувствует Настенька, что переходит эта боль в настоящее откровение. И глубже раскрылись ее глаза, и видит, и понимает она уже все по-другому. Увидела она ясно теперь, что и после пробуждения во сне еще была. Но сон тот блаженный был, весь радугой счастья озаренный, но спала сейчас пелена – и звезды, и небо, и город этот открылись ей во всех цветах бездны.

«Проснулась, проснулась Я!» – всей душой своей подумала Настенька. На другой день словно чудо с ней произошло. Видит, все люди в этом городе ясны для нее стали, точно весь мир на ладошке лежит. Кому идет погадать – тому сразу отгадывает; кого полечить захочет – вылечивает. И стар и млад потянулись к Настеньке. «Ну вот, теперь я взаправду проснулась, – решила она. И думается мне и легко, и сильно. Пробудилась я! Прочь сны болотные!»

Народ к ней благоволил стал. Потому что много жизней она в воде судьбы увидела. Разбогатела, людей добрых, что приютили ее, обула, одела по-настоящему. Сама одеваться стала – так одежда на ней и светиться.

Цельный год прошел. Вдруг принесли ей больного мальчика. «Излечи, ты все видишь!» – бухнулись в ноги радетели. «Идите с Богом, а у ворот подождите, я поговорю с ним», – сказала Настя.

Мальчик этот был очень необычный, глаза как у кошки, но выражение человеческое. Только Настя заговор прочла, к силе своей обратилась, мальчик вдруг тихо подошел к ней и, положив руку, прикоснулся. А глаза невиданные, детские, так и смотрят.

– Не надо, Настенька, – говорит он ей. – Не тебе лечить болезнь эту, ибо и не болезнь это вовсе.

И сразу слышит и чувствует Настенька, что все меняется и звучит уже не детский голос, а холодный далекий голос, который во всех ее снах звучал:

– В глубоком сне ты, Настя. Ты думаешь, что проснулась. Но ты в еще более страшный сон ушла. Что твои те два последних сна! Знаешь ты многое, но знание это только в сон тебя еще глубже погружает. Ибо и знание тоже сном бывает.

Вскрикнула Настенька, выбежала вон от ненавистного голоса. Дрожит вся. У ворот радетели глухие стоят, спрашивают. Но пробежала Настенька мимо них – в глубь: в тьму, где лес начинался сразу за городом. И взмолилась опять: «Неужто не пробудилась я? Неужто я во сне еще живу? Сон во сне, и опять сон во сне, и так без конца? Кто же я, где же я?» И ответ какой – то мстнулся в душе. И запело там все от музыки внутренней. «Света, света хочу! – закричала она. – Света небесного, неземного!»

И упал тут свет мгновенно, как струя, в душу ее, и озарилась она и возликовала: «Все вижу, все вижу, везде, и себя вижу! Встала я из тьмы! Проснулась!»

Но пожалел, видно, кто – то ее из совсем неместных. Видит, белая девушка стоит рядом, очень похожая на нее, в русской одежде. Как вторая Настя. И улыбается. А тьмы нигде нет. И корона Небесной России сверкает на ней.

– Слушай, Настенька, – говорит девушка. – Изведешься ты. Совсем пропадешь. Не тот свет это, ибо свет разный бывает. Не пробуждение это.

Девушка подошла поближе, сделал жест рукой. И вдруг почувствовала на мгновение Настенька, что означало бы, если б она в самом деле проснулась. Рухнул бы мир, как будто его и не было, со всем его умом, светом, бормотанием и откровением... Но что было бы вместо мира сего – в то не могла проникнуть Настенька даже на секунду. И слава Богу – что не могла, не для человека это. ...Потом все прошло, опомнилась. Девушка по – прежнему рядом, на Настеньку смотрит.

– Иди, бедная, не мучайся. – Сказала она и коснулась ее своей рукой. – Теперь ты знаешь... Иди, иди, ты очнешься в своей деревне, и она – не сон.

Все пропало в глазах Настеньки. Исчезло, точно в глубокую ночь провалилось. Долго ли, коротко такая тьма была, вдруг слышит она: голоса над ней раздаются. С трудом открывает Настя тяжелые веки и видит: лежит она в избе, на постели, а кругом деревенские ходят. Лица у всех озабоченные.

– Проснулась, проснулась! – кричат.

– Что, что со мной?! – спрашивает Настенька.

Лучшая подруга кинулась к ней:

– Настя, помнишь, мы в прятки играли?.. Потерялась ты... Потом из леса вышла, но сонная, как по луне шла...

... А теперь ты проснулась!

Не будем рассказывать, как уладился такой необычный случай.

И наконец.

Прошло время – Настя счастливо зажила. Душенек – подружек еще крепче полюбила. Вместе песни новые сочинять стали, по лесу дремучему ходить, душу открывать. Только в прятки Настенька уже не хотела играть. А то спрячешься, действительно, Бог знает куда. Никто и не найдет.

Вопросы

1. Как проявляется специфика сюрреализма в сказке Ю.Мамлеева.
2. Укажите, как интерпретируются элементы поэтики устного народного творчества.
3. Какую функцию выполняет сон в сказке?
4. Какие архетипы народного коллективного бессознательного использовал писатель?
5. К чему устремлены герои сказки Ю.Мамлеева?
6. Какой смысл имеет сон героини, из которого она не может выйти?
7. Какая боль способна пробудить героиню от сна?
8. Как героиня приобретает способность вылечивать людей?
9. Как соотносятся знания и сон в контексте произведения?
10. В чем смысл финала сказки Ю.Мамлеева?



Ярослав МЕЛЬНИК

Ярослав Мельник родился в 1959 г. на Украине. Закончил Львовский университет и аспирантуру Литературного института им. А.М.Горького. Прозу печатал в «Литературной газете», в «Новом мире». Живет в Литве.

«Книга судеб» печатается по изданию: Новый мир, 2000, № 6.

Литература

1. Абашева М. Литература в поисках лица (русская проза конца XX века: становление авторской идентичности). – Пермь, 2001.
2. Золотоносов М. Смертельное манит // Московские новости. – 1998. № 21.
3. Новиков М. Прозаическая инкарнация старого анекдота // Коммерсант. – 1999, № 122. 14 июля.
4. Ремизова М. Из рассказов о новых людях // Независимая газета. – 1999. № 8.
5. Гудков Л. Массовая литература как проблема. Для кого? // Новое литературное обозрение. – 1997. № 22.

КНИГА СУДЕБ

Поначалу ее приняли за очередную мистификацию. На этого психа, чей склад был забит восемью миллионами томов, подали в суд сразу триста тысяч людей. В разных странах. Потому что это было кошунством-то, что он сделал, этот богач, угробивший почти все свое состояние на напечатание восьми миллионов толстенных томов. Безусловно, это был клинический случай. Напечатать даты смерти всех ныне живущих на планете мог только сумасшедший. И главное, проделав это свинство, он сразу онемел. Онемел ли он на самом деле, никто не знал, но факт, что с тех пор, как его схватила полиция, он не произнес ни слова. И вообще не реагировал на расспросы. А вскоре он странно умер во время очередного допроса свалившись со стула, как будто сраженный стрелой. Помощник следователя, присутствовавший при этом, говорил, что именно

таким было его впечатление: как если бы в окно влетела стрела, выпущенная из лука индейца, и пронзила сердце этого злоумышленника. Но конечно, никакой стрелы не было, окна во время допроса были не только закрыты, но и плотно занавешены металлическими шторами.

Вообще вся эта история с самого начала выглядела более чем странно. Если б человек все свое состояние проиграл в карты или подарил любимой женщине или даже нищему с улицы, это можно было бы понять. Можно было бы хоть как-то, с натяжкой, но объяснить. Любое безумие имеет свое объяснение. Но в сборе информации о всех жителях планеты и в печатании дат их смерти было слишком много ума. Слишком много разумных усилий. И это-то вселяло ужас.

Поначалу воспринявшие все это как шутку, как черный юмор, газеты вскоре перешли к возмущению и брани. Ибо кому же приятно читать о дате своей смерти? Миллионы домохозяек раскаляли телефонные трубки редакций, телсвидения и полиции докрасна. Говорят, сумасшедшего арестовали сразу же, как только жена президента той страны, в которой он жил, прочитала, что умрет через четыре года и пять дней. А президенту обещалась долгая жизнь.

Вскоре выяснились и некоторые детали. Преступник, оказывается, имел доступ к международным центрам электронной информации, так что ему ничего не стоило получить фамилии и имена жителей планеты. Остальное - дело техники и времени.

Так бы стало это дело очередной сенсацией, о которой спустя месяц уже никто не помнит, если бы приумолкнувшие было газеты не взорвались вторично. Начали поступать сигналы от родственников только что умерших людей: люди умирали в точности по «Книге судеб»! Невероятно, но это было именно так. Причем, как вскоре оказалось, исключений не было. Даже те, кто, зная о дне своей смерти, сидели целый день дома, все равно умирали, кто от чего. Чаще всего останавливалось сердце, но отказывали и почки, и другие органы. Также заметили, что многие заболели за какое-то время до роковой даты, так что в назначенный день болезнь и достигала пика. Те же, кто не интересовались особо «Книгой судеб» или просто не слышали о ней (а были и такие), те часто погибали на улицах, от несчастных случаев или, ничего не зная о дате своей смерти, кончали с собой в психологическом кризисе.

Убийства тоже совершались по «Книге». И убийцы конечно же понятия не имели, что убивают в «положенный» день.

В общем, это был ужас. Кто-то поджег склад с книгами, и все они сгорели. Но обнаружилось, что существуют другие склады с экземплярами «Книги». И к тому же «Книга» была записана на компактные диски, и любой человек, в принципе, мог заложить диск в компьютер и набрать свою фамилию или фамилию родственника.

Что это могло быть? Существование высшей силы стало самоочевидным. Никто не мог теперь отрицать ее. Расходились только во мнении, Бог ли это или какой-нибудь чисто технический Высший Разум. Если это был Бог, то Он зачем-то решил явить Себя, выбрав для этого случайного человека. И непонятно было, зачем Он это сделал, что это все значит. Если же это были какие-то инопланетяне, контролирующие и, быть может, программирующие судьбы, то они просто передали человеку, работавшему в электронном центре, цифровую информацию. Как говорится, «с компьютера, на компьютер». Но опять же – зачем? С какой целью?

Как бы там ни было, жизнь не остановилась. Странно, но не остановилась. Какой-то чудак ради эксперимента убил себя «раньше срока». После него не выдержали первые еще у нескольких тысяч. Оказалось, раньше срока умереть все же можно, что было нелогичным и малопонятным. Но вот пережить срок – нельзя. Не удавалось никому. Даже детям. Дети, те ничего не знали и были единственными, кто жили, как еще недавно жили все. Счастливые!

Жена моя уже снала, когда я вернулся от приятеля. Дисков было еще не много, к тому же на одном диске помещались фамилии лишь на одну букву. Не так-то просто было тому, кто хотел получить информацию. Моя жена Лена сказала, что не желает узнавать, потому что не сможет тогда жить. И так поступали многие. Правительства некоторых стран издали указы об изъятии и уничтожении книг и дисков. Но кто хотел, тот узнавал и в этих странах.

– Коля, зачем? – говорила мне жена, увидев мой первый порыв «узнать правду». – Не ходи, я прошу тебя.

– Но Лен... Это же правда.

– Зачем нам она, Коля? – По ее лицу текли слезы. – Ну да, да, мы все умрем. И пусть. Наша Сонечка, наш Игорек, ты, я – все умрем. А сейчас мы живем, сейчас нам нужно жить.

Я поклялся ей не узнавать. А сам пошел к Перитурину и все узнал. Мы сидели с ним у компьютера, и Перитурин, икая, говорил:

– Смотри, Коль. Ты умираешь шестого мая, а я через год, четырнадцатого апреля, – и глухо улыбался. Казалось, он не понимает.

– А твоя Ленка...

– Заткнись! Сука!

Я ударил Перитурина в скулу, и Перитурин заплакал. И тут я подумал, что Перитурин же умрет, а я его в скулу ударил ни за что ни про что, и сам заплакал.

Когда я вернулся, в моей голове было ясно как днем. Лена спала. Ее веки вздрагивали, как если бы ей снился страшный сон.

Лена должна умереть через двенадцать лет, а я через шестнадцать. Что мы за это время успеем сделать? Мало, очень мало. Но все же больше, чем бедная Клава, жена Перитурина. Той осталось два года. Я сидел в полумраке у кровати жены и удивлялся. Удивлялся тому, как я размышляю. В этих размышлениях было что-то чудовищное. Как и в моих чувствах. Потому что я, немного огорчившись, что переживу Лену и придется четыре года жить одному, все же радовался, что нам с Леной больше повезло, чем Перитурину с женой. И оба ребенка у них умрут молодые, а у нас только один Игоречек, в четырнадцать лет. А Сонечка проживет целых восемьдесят четыре года!

Я поднялся и пошел в детскую. Сонечка спала как ангел, полураскрытая, дыша носом. Она еле помещалась в кроватке. Надо скоро покупать большую кровать. Я улыбнулся и пошел спать. К Игорьку я не решился приблизиться.

Не знаю почему, но с того дня, а вернее, вчераше я Сонечку стал любить больше, чем Игорька. Хотя должно было быть наоборот: Сонечке предстояла долгая жизнь, ей, скорее всего, сулилось быть матерью, продолжить род. Игорек же умирал в четырнадцать лет. Конечно, было бы жестоко, зная об этом, не развивать его. Но зачем? На этот простой вопрос я не мог ответить. «Папа, а когда я вырасту, я полечу на самолете?» – «Да, Игорек, да». Что он успеет в жизни? Успеет ли полюбить? Что успеет узнать?

Не было денег, и я пошел на биржу труда. Мне предложили за копейки работать для одной фирмы. Нормальных денег сразу не дает никто. Вот если честно послужишь, тогда, быть может, посте-

пенно начнешь получать нормальные. В этом был какой-то абсурд: зная, что я через шестнадцать лет умру, идти работать за копейки. Но хлеб, который надо было кушать, стоил именно копейки...

Лена, приходя с работы, падала на кровать и лежала полчаса – так уставала. Чем меньше получаешь, тем тяжелее вкалываешь. На что тратим свою жизнь? А что делать? Маленькие деньги зарабатываются большим трудом, а большие деньги... тоже большим трудом, но иного рода. Но куда нам до больших!

Неожиданно к нам приехали мать с отцом, мои. Мать умрет через год, отец – через три. А говорили они о какой-то капусте. Потом отец сказал, вставая: «Я тебя предупреждал, что твоя профессия никому не нужна, а ты меня не слушала». Почему он такой злой? Ведь ему всего три года осталось. Мать все жаловалась на сердце.

Сонечка, которая проживет восемьдесят четыре и увидит конец следующего столетия, училась ходить, держась за палец бабушки.

В четверг позвонил Перитурийн и позвал на рыбалку. Я ожил, решил отпроситься с работы. Знал, что посмотрят косо, но не мог не поехать.

На рыбалке было прекрасно. Перитурийн поймал восемь карасей, я три окуня и четыре карася.

– Коля, живем! – сказал мне Перитурийн.

– И как если бы никакой «Книги судеб»!

В кустах заливались птицы, ветерок гнал к нашим ногам мелкие волны.

– Красотища! – сказал Перитурийн.

– Да.

– А может, все это мур? – сказал Перитурийн.

– Что?

– Ну, книга эта. Я думаю, что мур.

– Ну сказал... – Я поднял голову и посмотрел на него: – Ни одного исключения.

– Пока... – Перитурийн поменял наживку. – До пятницы все будет сбываться, а с субботы перестанет.

– Как?

– А что, не может так быть?

И он, размахнувшись, закинул удочку подальше.

После этого дня я немного по-другому стал смотреть на происходящее. Почему бы и в самом деле не допустить подобное? Ведь

никто же сначала не предполагал, что можно умирать раньше срока, а оказалось, что можно. И потом, не существует пока полной статистики. Известно, что все смерти соответствуют датам в «Книге». Но разве проверсны все, кто должен умереть в назначенный день? Разумеется, не все. Тогда откуда уверенность, что нет исключений? Что кто-либо где-нибудь в джунглях Африки, *назначенный* умереть вчера, не живет сегодня? А если хоть один такой есть, то может быть и другой, и десятый.

Потом обрадовала многих вот еще какая путаница: оказалось, что люди, чьи фамилии, имена, отчества совпадают, не могут различить, где чья дата смерти. Если «Книга судеб» составлялась божеством, то что же оно не предотвратило такого конфуза? Если оно хотело, чтоб люди знали дату своего конца, то почему же оно не подумало о тех, кого зовут одинаково?

Были и еще путаницы. Время по какому поясу считать? На одной стороне планеты – еще сегодня, на другом – уже завтра. Но в «Книге судеб» про это ни слова.

Наконец, что же с теми, кто теперь рождается? Они-то не занесены в «Книгу». Стало быть, если не явится новый пророк, то следующее поколение будет жить нормально, как мы все жили прежде. Эксперимент? Зачем?

Очень странная сложилась ситуация в стране. И вообще на планете. Солнце светило, как и раньше, небо, тучи, деревья, животные... И в то же время – «Книга». Это могло просто взбесить. Если Ты, Бог, решил показать всем, что Ты есть, таким оригинальным способом, то Ты выйди. Явись нам. В виде чего? Уж это Тебе лучше знать. Мы Тебя будем жлать на площади, а Ты выйди, величиной ну хоть в пятиэтажный дом, чтоб сразу стало понятно, что Ты – Бог. Или выгляни с небес, из – за туч, чтоб лицо было видно. Ну и поговорим. Кто Ты, кто мы, что такое наша смерть и зачем. Скажи: так, мол, и так, для того-то вы и созданы, для того-то живете. А смерти не бойтесь, потому что это и не смерть вовсе. Вот Я – а вот вы. И все вы – Мои.

Нет, все это ерунда. Не надо. Если бы такой разговор состоялся, как жить дальше? Как гвоздь забивать, как на копеечную работу в фирму идти? Вид Бога и прямой разговор с Ним нельзя выдержать. Оценеешь в тихом ужасе и жить больше не сможешь. А жить надо. Пока не знаешь истинного смысла, до тех пор и жизнь.

Между тем газеты, телевидение и радио пытались осознать сложившуюся ситуацию. Вскоре я с удивлением обнаружил оживленные «дискуссионные столы», «исповеди» и даже юмористические передачи на новую тему. Причем размышляли о новом положении вещей попивая вино, расслабляясь, то есть как ни в чем не бывало наслаждались жизнью. Какая-то девушка, которой буквально завтра умирать, обращалась накануне к миллионам телезрителей, прощаясь и неся околесицу о «доброте», «мире» и «всеобщей любви». А два известных юмориста кривлялись друг перед дружкой (и всей страной) в следующем духе: «Ты завтра что делаешь?» – «Завтра? Э – э... Сейчас посмотрю. Так – с... Нет, завтра не могу. Завтра мне умирать». (Смех за кадром).

Лене о ее смерти я объявил как-то утром: не мог дольше носить в себе.

– Я знаю, когда тебя не станет! – сказал я бреясь.

– Узнал все-таки? – сказала она как-то зло. – Ну и когда?

– Через двенадцать лет.

– Так мало? – сказала Лена (она драила посуду на кухне). – Я ожидала больше.

– А я через шестнадцать! – крикнул я, чтоб она услышала. Когда-то она уверяла, что не сможет жить, зная свой конец. Что-то теперь будет?

Я побрился и вышел. Лена ворожила над кастрюлей.

– Сходи за хлебом, если сможешь. – сказала не отрываясь. – Дома ни куска.

Я озадаченно смотрел на нее.

– И позвони Марье Федоровне насчет Сони. – (У нашей дочери были проблемы с математикой.)

Я стоял в дверях и ожидал, что она еще чего-нибудь скажет. Но она продолжала что-то быстро бросать в кипящую воду.

– Ты еще здесь? – удивилась она, заметив, что я все еще торчу в дверях.

– Лен, – сказал я. – Я тебе сообщил такую новость, а ты...

– Ну что я? – Она вдруг выбросила свою кастрюлю и с какой-то луковицей в руках уставилась на меня. – Что я? Что от этого меняется?

– Как это что?

– Что, жрать не надо? Жрать-то небось хотите?

– Но... – Я не знал, что и говорить.

– Или, может, Сонечка пусть двойки приносит за уравнения?

– Но мы же...

– Ну какая разница? Что сейчас об этом думать? Какой толк? Я не верил своим ушам; молча повернулся и ушел. Нет, я не знал своей жены.

Интереснее всего, что мы больше не говорили с ней на эту тему, и ничего не изменилось, абсолютно ничего, даже ссорились, как и раньше, из – за пустяков. Лишь иногда я вспоминал, что, если верить этой проклятой «Книге», осталось нам... Это был какой-то дурной сон – знать точно свой конец и ничегошеньки не мочь изменить.

А тут еще разные ученые книги начали выходить одна за другой: «Мудрость конечного знания», «Смысл знака свыше», «Теория и практика ухода»... Казалось, все наши философы и психологи набросились на горяченькую тему и качали денешки. Народ, понятно, давай все это покупать и читать. Миллионные тиражи. Не смог и я не купить. Почитал. По-ихнему получалось, что сейчас лучше, чем раньше. «Смерть перестала быть подлой неожиданностью...», «Человек теперь смотрит истине в глаза и может рассчитать свои силы» и т. п. Какие-то фирмы по «оформлению ухода» росли как грибы. Поскольку теперь каждый мог знать день своей смерти, то этот ДЕНЬ многие превращали в событие сродни свадьбе, крещению и т. д. В одной из воскресений мне позвонил Перитурин и пригласил «на проводы» (так это теперь называлось) одного своего знакомого. Вернее, это был муж подружки его, Перитурина, жены, той, которой оставалось жить почти ничего. Так вот этот муж был большая шишка, вице – президент какой-то фирмы, богач и закатывал целый бал по поводу своего «дня ухода» (как сообщалось в разосланных приглашениях), человек на пятьсот, в своем загородном замке. Жена Перитурина, понятное дело, отказалась ехать, и приглашение Перитурин предложил мне. Ну, я и поехал, потому что о подобном только читал, но не видел.

Столы были выставлены прямо под звездным небом (было лето) и ломились от яств. Играл духовой оркестр, танцевали; то тут, то там вспыхивали фейерверки.

– Они что, веселятся? – спросил я Перитурина, когда встретивший нас метрдотель провел нас к месту в конце одного из столов.

– Нет, плачут.

– Я серьезно.

– Он что, дурак – приглашать к себе плакальчиков в последний день?

– А где он сам?

– Потерпи, скоро явится.

Ближе к четырем утра компания (если несколько сот человек можно назвать компанией) достигла уже той степени раскрепощения, когда говоришь что хочется и все кажется тебе разумным и прямо блестящим. Вдруг часы на башне стали бить четыре, лестница замка осветилась: последний удар совпал со вступлением фанфар. Народ замер, и вот дверь широко распахнулась и явился хозяин: в красном пиджаке, в галстуке, улыбающийся! С ума сойти! Он спустился еще молодой походкой: внизу его окружили близкие.

После того, как виновник торжества уселся на видном месте, во главе центрального стола, веселье возобновилось.

Все ждали «кульминации» – смерти хозяина, ради чего, собственно, и сошлись сюда. Похожее, вероятно, можно было пережить разве что в средневековье, в толпе во время общественной казни.

– Я хочу сказать тост! – услышал я вдруг в громкоговорителе, висевшем над моей головой. – Вы, все вы останетесь ненадолго, а я уйду. И я завтра уже буду знать те, что вам недоступно. Так пусть же живет и процветает моя фирма «Лотос интернейшнл», конец которой никому не известен!

– Ура! Ура-а! Ура-а-а!

Послышалось хлопанье пробок, полилось шампанское.

К обеду все порядочно поустали. Хозяин зевал, еле держась на ногах. Жена, крупная дама с огромным декольте, тоже была пьяна и, икая, время от времени смеялась неизвестно чему.

Некоторые гости уже начали поглядывать на часы и незаметно исчезать из-за столов. другие смирно сидели, чувствуя, что некрасиво уйти, не дождавшись смерти хозяина (ведь ради нее он их пригласил). Я тоже начал было подумывать, что надо бы улизнуть (Лена бог знает что вообразит), как вдруг кто-то торжественным голосом объявил по громкоговорителю:

– Господа! Он уходит! Господа! Наш хозяин уходит!

Все повытягивали шеи, даже повставали с мест, так что я толком мало что видел: только на мгновение мелькнуло перед глазами

дергавшееся в судорогах и дрожавшее как лист тело в поднятом на всеобщее обозрение кресле. Прошло пять минут.

– Господа! Его уже нет! Выльем за него, господа!

Все молча встали и выпили.

– А теперь, господа, – десерт.

Точно так трясся в судорогах кролик, когда я ему перерезал, на даче, горло.

Я схватил за руку Перитурина и почти силой выволок на дорогу, где стояли его старые «Жигули».

– Что за безобразие!

– А что? – спросил Перитурин. – куда ты спешишь? Десерт вот не покушали.

– Разве так умирают?

– А какая разница? Кто как хочет, так и умирает. Ты как хочешь, а я пошел есть десерт.

– Ну и иди! – Я сел у машины и стал ждать.

Лена все-таки изменилась со временем. Ближе к смерти Игорька (а я ей и об этом сказал, не мог скрывать) она стала задумчивее. Раньше такого не бывало, а теперь то и дело заставлял ее сидящей на кухне с недочищенной картошкой в руках и смотрящей куда-то в даль (наши окна выходили на городской парк). Трудно сказать почему, но ее грусть меня радовала, Игорек тоже знал. Детей тянет к запретному: в школе все о всех знали; знали, сколько кому жить: по рукам ходили выписки из «Книги судеб».

Однажды я остановился у спортивной площадки: там два мальчика лупили друг друга почему зря. «Ты мамин сыночек! Мамин сыночек!» – кричал один, сжимая кулаки. «А ты подохнешь в девятом классе, вот! Я буду жить семьдесят восемь лет, а ты подохнешь!» – «Гад!» – и он вцепился в обидчика, повалил на землю. «Вы что делаете! – закричал я. – А ну сейчас же прекратите!» Они, видно, испугались и бросились наутек.

Когда Игорьку исполнилось тринадцать, мы, поздравив его с днем рождения, опустили глаза: что мы могли сказать? Это не была даже болезнь – с болезнью можно еще бороться, по крайней мере тешить себя надеждой.

– Игорек... – сказал я, сглотнув слюну. Что я мог пожелать своему сыну, вступавшему в последний год жизни?

– Не надо, папа, – сказал Игорек. – Я все и так понимаю.

Он был мужественнее меня, и я его за это уважал. И я видел, что он был счастлив, что я его уважаю. Неужели здесь можно еще говорить о каком-то счастье?

Лена хлюпала носом, прижимая к себе Сонечку, которая проживет восемьдесят четыре года.

Не знаю почему, но я надеялся на чудо. «Только чудо может нас спасти». Раньше я не понимал этого выражения. Уже давно умерла жена Перитурина и одна из его дочерей (второй осталось жить лет пять), а я еще надеялся. Мир к этому времени – совсем обезумел: богачи платили сумасшедшие деньги телеканалам, чтоб те вели прямые репортажи с их «дней ухода»: народ, сидя у телевизора, с замиранием сердца смотрел, как исчезнет известнейший банкир или киноактер. Бульварные газетки – и даже некоторые серьезные – печатали, рядом с прогнозами погоды и гороскопами, списки известных людей, которые умирают завтра. Накануне Нового года обнародовали, кто умрет из «мировой элиты» в следующем году. Специальные институты готовили данные, показывающие, сколько новых мест (врачей, профессоров, прокуроров и т. д.) освободится, – и за эти места уже начиналась, при живых работах, борьба.

Мы с Леной готовились (психологически и материально) ко «дню Игоря» (как мы это называли). «Провожать» Игоря мы решили в узком кругу семьи: мы с Леной, Сонечка и Игорь. Так еще делали те, кто не принял моды «праздновать» «дни ухода» (с приглашением гостей и т.д.). Накануне того дня мы начисто вымылись, оделись в новос, сели за стол и молча отужинали. Ночь мы решили не спать – хотели быть с Игорьком. Игорек держался как никогда; казалось, не мы его, а он нас провожает. Даже пробовал шутить.

К утру, однако, Игорек все еще жил – даже не болели больные почки (у него врожденные отклонения, от Лены). Единственное, чего мы сейчас с Леной желали, – чтобы он не мучился, ушел тихо. Чтоб это было не удушье какое-нибудь, не «кровь горлом». Боже, до чего же мы все куски мяса в чьих-то руках – делай с нами что хочешь.

К обеду Лена стала вдруг молиться (чего раньше с ней никогда не случалось) в ванной. У меня тоже сдали нервы. Уж не лучше ли пить, как рекомендуют? Но не хотелось быть пьяным в такую минуту.

– А почему бы нам не посмотреть «Екатерину из Лос-Анджелеса»?

Мы удивленно глянули на Игоря: речь шла о сериале, который мы смотрели вот уже полгода.

И правда, это было самое умное решение. Хотя, может, и кошуптвенное.

Мы уселись, включили телевизор (спустился уже вечер) и вдруг ощутили тихую (да! да!) радость: как если бы ничего нет. Никакой «Книги судеб». Как если бы мы просто сели вчетвером, как всегда, согревая друг друга телами и улыбками. Мы на самом деле улыбались. Казалось, не может теперь ничего произойти – никакой ураган не ворвется в наш прочный мир, разрушив его.

Только когда кончился фильм, тревога опять вернулась; вернулось сознание того, что неизбежное – неизбежно. Однако не хотелось верить. Хотелось сказать себе, что это дурной сон. Дурной сон – и больше ничего.

Наступила ночь. Сонечка уснула на диване, а мы втроем остались сидеть лицом к телевизору, но уже (по крайней мере мы с Леной: я ее чувствовал) ничего не воспринимая. Когда? Когда же?

Кончался последний день Игорька.

Хотите верьте, хотите нет, но Игорек не умер. Оставалось несколько минут до четырех утра (то есть до полуночи по времени издателя «Книги»), и мы с Леной с каким-то ужасом и предчувствием невозможного прикипели к стрелкам электронных часов на стене. Вот пошла последняя минута... – Игорек, – сказала Лена, – сыночек...

Она придвинулась к нему, как если бы хотела защитить от судьбы. Я молча кусал губы. Ну же, ну...

Когда бамкнуло четыре, мы – все трое – вздрогнули. Что-то случилось.

– Ты жив, Игорь? – Я не верил своим глазам.

Радости еще не позволялось прорываться – ждали подтверждения. Носились мысли об отставании часов (хотя вчера подвели специально), о какой-то ошибке...

Прошло, однако, полчаса, час – бамкнуло пять. Игорь – живой, улыбающийся – сидел перед нами. Мы ничего не понимали.

«Книга судеб» как возникла, так и исчезла. оказывается, уже три дня, как ее предсказания перестали сбываться (мир об этом

пока не знал – эта информация не стала еще всеобщим достоянием). Лишь через несколько месяцев мы успокоились, убедившись, что люди, которые должны были умереть за это время, остались живы.

Мы с Леной как на свет родились: будто второе дыхание открылось.

– Едем к морю! Завтра же! Все к черту!

Чтоб раньше мы вот сорвались и уехали? Боже, как хотелось жить!

Хотя, если подумать, что изменилось? Мы стали бессмертными? Теперь я даже не могу быть уверен, что доживу до той даты, которая мне предназначалась. Не говоря уж о восьмидесяти четырех годах Сонечки. Но отчего вдруг такая легкость? Откуда?

Вопросы

1. Каким представлен образ мира в рассказе «Книга судеб»?
2. Какие средства использует автор, раскрывая абсурдность современной действительности?
3. Какую функцию выполняет ирония в рассказе?
4. В чем абсурд ситуации, определивший «новый» образ жизни людей?
5. Объяснить поведение героя после открытия?
6. Какие приемы использует автор для подтверждения реальности случившегося?
7. Как «Книга судеб» повлияла на отношения людей между собой, на образ жизни?
8. Какие жизненные ситуации раскрывают абсурдность появления «книги»?
9. Чья жизненная позиция является целесообразной в условиях абсурдной жизни?
10. Как изменилась общественная жизнь после выхода «Книги судеб»? Какие новые ритуалы в общественной жизни свидетельствуют об абсурде?



В русскую литературу часто приходят из врачей. У ленинградки Марины Палей этот традиционный путь приобрёл черты нашего времени: из врачей – в уборщицы, в натурщицы, в стрелки ВОХРа...

Марина объясняет этот путь нежеланием соучаствовать в том, чего не могла принять. Можно сказать, что она не испугалась потерять лицо социальное, чтобы сохранить собственное.

Начала она со стихов, в Литературный институт поступила как критик (публикации в «Новом мире», «Литературном обозрении») диплом же защищает прозой.

Её проза явилась как-то неожиданно. Когда студентке была задана импровизация на тему мандельштамовской строки «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...», Марина вместо трехстраничного этюда прислала замечательную повесть – «Поминование». Критика постепенно отодвинулась, и пошли рассказы, да не поодиночке, а целыми циклами – «День тополиного пуха», «Фабрика игрушек». Повесть «Евгения и Аннушка» – первая журнальная публикация прозы Марины Палей – журнал «Знамя». – 1990, №7.

Литература

1. Быков Д. Рай уродов // Огонек. – 1993. № 18.
2. Васильева М. Так сложилось // Дружба народов. – 1998. № 4.
3. Вирен Т. Такая любовь // Октябрь. – 1989. № 3.
4. Зорин А. Круче, круче, круче... // Знамя. – 1992. № 10.
5. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. В 3 кн. // УРСС. – М., 2001.
6. Липовецкий М. Трагедия и мало ли что еще // Новый мир. – 1994. № 10.

Они не исчезли: сквозь преувеличенную белизну кафеля сквозь белый ворох, голубой горох занавесок с голубыми – сплошное порханье – оборками, сквозь сахарное сияние импортной мойки (страшно оскорбить её порожней стеклотарой) – сквозь всю эту ещё витринную, колом стоящую уютность проступают привычные очертания тесной, похожей на колодец, коммунальной кухни, где непонятно назначение трубы, лохматясь от пыли, громоздятся вдоль стен над тремя укромно вросшими в углы столами (каждый покрыт добела истертой посередине клеенкой); к двум из них притиснуто по стулу с вылезшей сквозь дыря коленкора серой ватой; третий же столик (точнее, хлипкая тумбочка с кое – как прилаженной доской для теста вместо столешницы) владеет только щелястым табуретом; четвертый угол сроднился с рябым, заткнутым пробкой и тряпочкой и все равно подтекающим краном.

От кухни по лестнице, изгибаясь наподобие древнегреческого меандра, разворачивался глухой коридор.

Крюк на входных дверях, случалось не откидывали неделю, и тогда поздними утрами проплывали замедленно в излучинах коридора, то ли грезились друг другу три тихих тени в затрепанных ночных рубашках, вернее, две: Евгеша обряжалась во фланелевый халат. Она же охотней и чаще других нарушала общее заточение. «Анна Ивановна! – стучала она в дверь Аннушки, всегда сильно повышая голос, потому что слышала ещё хуже чем та, хотя была моложе лет на шесть, а главным образом для самоободрения, поскольку не знала, жива ли находящаяся за дверью. – Я в магазин иду – так, может, хоть хлеба вам принести?»

Аннушка обычно отказывалась. В своей комнате, десяти метров квадратных, она отдыхала от жизни. Это означало, что целыми днями она лежала, смотрела в потолок и молчала. На полу, рядом с жёсткой, как земля, койкой, стояли два кувшина: один с водой – её. Аннушке хватало на несколько дней, другой, погрубее, сначала бывала пуст, затем по мере иссякания жидкости в первом сосуде и, в соответствии с законом природы, наполнялся; наконец пустым оказывался первый кувшин, а второй полным. Тогда Аннушка в несколько приёмов садилась, обувала войлочные тапки с налипшими на подошву длинными седыми волосами и отправлялась в долгий путь по коридору, – пошатываясь, задевая стены, расплескивая

второй кувшин: все же ей удавалось добраться до уборной и опорожнить его там, а первый в кухне вновь наполнить сырой водой. После этого отправлялась она в обратный путь. Теперь жидкость выплескивалась из первого кувшина, но, к счастью не вся – так что, добравшись – таки до своей комнаты, Аннушка снимала тапки и снова ложилась, чтобы, начав новый цикл сообщения сосудов, продолжить вечный круговорот воды.

Однако, когда Евгеша, громко хлопнув входной дверью, возвращалась, Аннушка прерывала своё занятие и опять, хватаясь за стены, теряя тапки и поминутно останавливаясь, упорно плелась на кухню, где дрожащими жёлтыми пальцами, наждачно шурша о коробочку, подбирала со своей тумбочки половину круглого, а затем, низко нагибаясь и сильно напрягая глаза, выкладывала на стол Евгешы семь копеек: три копейки одной монетой, копейку, копейку, копейку, и ещё копейку.

Я помню Аннушку крепкой шестидесятилетней старухой, когда, возвратясь по осени из деревни от дальних родственников (у которых каждое лето окапывала, окучивала, пропалывала, поливала что – то и, конечно, баловала детей), она долго мылась в ванной; я вижу в приоткрытую дверь, как она, уже в сарафане, ополаскивает у раковины свои загорелые руки, шею и лицо, пригоже обрамлённое густой, особенно белой сединой, а глаза её в серебристом прогале запотевшего зеркала зелены, ясны, с чёткой точкой крыжовникова зрачка, – Аннушка накрепко вытирается чистой, вмиг темнеющей тряпочкой и утомленно вздыхает.

Полочки над умывальником располагались словно бы в соответствии с возрастной иерархией. Ниже всех притулилась Аннушкина – деревянная, со щербинкой, на которой сиротел плоский обмылок с засохшими кольцами пены (туалетное постепенно вытеснилось хозяйственным), чёрствый огрызок пемзы соседствовал с лысой зубной щёткой и плоской жестяной толчённого мела; над Аннушкиной – возвышалась просторная, всечасно сияющая стеклянная полочка Евгешы, где в мерном стаканчике навияжку торчали: щёточка, футляр для щёточки, тюбик начатый, тюбик про запас целёхонький – и всё это образцовое великолепие, в том числе брусок детского мыла в ребристой перламутровой мыльнице, еще удваивалось приложенным к полочке зеркальцем; выше всех пестрела моя, заляпанная белым, крышка от разломанного усили-

теля, на которой среди скучных принадлежностей личной гигиены валялись кремы после бритья (ими я в задумчивости иногда чистила зубы), кафешантанного вида одеколоны – для тех же проходящих мужчин, а также предметы, не имеющие к гигиене прямого отношения, – вроде объектива к фотоаппарату «Зоркий», коробочки от магнитофонной кассеты и недогрызенной горбушки.

Раньше здесь, на месте моей, висела полка семьи милиционера – и порядок на ней был схож с Евгениным, словно бы Наташа и вся советская милиция на Евгению равнялись. Надо сказать, Наташин милиционер был бабник, так что она часто обнаруживала в мужниной казенной шинели записки совсем не служебного содержания. Тогда, всякий раз ревя белугой, – потому что выросла сиротой и роднее милиционера у нее никого не было, – она бежала убиваться к Евгеше, и поскольку Наташина жизнь была так удобно устроена для Евгениного обзора и осмысления, та умела успокаивать вдохновенно и твердо. Но Аннушка, даже через много лет после моего с Наташей обмена, так и не поняла главной причины Евгениного против меня раздражения («Ирина – это уж, конечно, не Наташа») и, почти ежедневно передавая мне это трудноопровержимое положение, простодушно относилась соседкину досаду к тому, что я не столь чистоплотна, как жена милиционера («чистоплодна» – произносила Аннушка, трогательно не прозревая грозного библейского оттенка), «хотя – добавляла она, – Евгения Августовна неправду говорит: и Наташа в свою уборку не больно-то места общественного пользования слезовила, так что пошла я как-то в тавалет за большое, а на полу что-то черно, пригляделась, а это кал».

Аннушка, конечно, не совсем ошибалась, когда нашим с Евгенией камнем преткновения полагала разного темперамента рвение в поддержании коммунальной чистоты. Чистота была вожаденной, маниакальной мечтой Евгени, всю жизнь после краткого, как приснившегося, детства жившей по углам и коммуналкам, ее немеркнувшей, девственной грезой, химерическим (и в этом неуязвимым) воздушным замком, высоким утопическим бредом и креслом пожизненным, а для меня всего лишь обидной закавыкой на путях в заоблачный элизнум. Поэтому в те времена, когда деятельной Евгени подолгу не оказывалось дома, когда Аннушка отдыхала от жизни еще не так окончательно и нуждалась иной раз хоть с кем-то слово сказать (а ее «радива», уже тогда безмолвное, служило

подставкой для чайника), она терпеливо дожидалась меня на нашей кухне, где я появлялась крайне редко, обнаруживая ее сидящей на низком широком подоконнике, в ночной рубашке, с неизменной фразой наизготовке: «Августа наша (так она для беззубого удобства иногда именovala за глаза Евгению Августовну) на днях, слышь, и говорит: Ирина что мыла на коридоре полы, что не мыла – ничего не видно». Вовсе не клюнув на застарелую наживку, я невольно тем самым сохраняю их давнюю коалицию, которую Аннушка с детской легкостью готова уже и нарушить. Но, молчание мое принимая за особого рода вниманис, она скоро, бездумно и радостно предает Евгешины коммунальные идеалы: «Августа – она городскую грязь не понимает, она знает только свою грязь, деревенскую, – та густа така, черна, а намоешь – ну, так сразу и видать, что мыто. А городская грязь – она така, что ее не видать, а намоешь – так чистоту не видать. А она только свою, деревенскую грязь знает. А деревенская – она...» – в таком духе Аннушка продолжает очень, очень долго, воодушевленная своим, всякий раз заново переосмысленным и тут же забытым открытием и возможностью проговаривать слова после трехдневного от жизни отдыха. Я включаю свой приемничек, там что-то про космонавтов; Аннушка, выпростав из-под косынки ухо, некоторое время прислушивается и, сочтя, видно, что ее подмазка мной принята и что я никуда особо не тороплюсь, уже спокойно, с широким замахом заводит:

– А вот, знаешь, мне сестра рассказывала, а ей старые люди рассказывали, что вот, бывало, поставят лестницу и лезут на небо – думали, достанут. У нас там все леса, леса, и небо на них лежит так низковато, прям сверху так (показывает рукой чуть от пола). И вот, бывало, лезут, лезут, девка, лезут все... А вот ведь, полетели в космос, добились. Так, значит, чувствовали чего-то...

Теперь в приемнике гремяет про Ленина. Аннушка, судя по напряженному лицу, не разбирает слов песни, но многократный рефрен, переходящий в скандированный, безостановочный лай, цепляет ее стертое годами внимание, и неожиданно она произносит:

– Ленин с нами век жить не будет. Надо учиться самим жить правильно, без Ленина.

Однако чаще повод к политическому направлению мысли Аннушка получала по возвращении из магазина Евгеша с готовым

взорваться ворохом возмущающих ее совесть впечатлений, которые ей было некому как следует выложить. потому что Аннушка плохо слышала, а я плохо слушала; зато Аннушка всегда безупречно улавливала общий тон ошеломляющего Евгешино рассказа («Ну, вы только подумайте, милые кровиночки. ну, скажите вы мне, пожалуйста, на милость, ну как им не стыдно на этом «Скороходе» выпускать такие страшные сапоги?! Ну как им не совестно красить их в такой цвет, я прямо удивляюсь на них! И где только, я не пойму, они находят таких работников?!»), – и та же Аннушка в неутомимой доброте своей не оставляла Евгешино неизменно свежее негодование без сочувственного внимания:

– Да, много вреда еще учиняют люди. Мама моя, когда новую власть стали затевать, бывало, скажет: те же портки, только гашином наружу. А ты что думаешь, девка. – минуя Евгешу, она невольно обращается ко мне, желая быстреего понимания, – бывшие-то, которых власть раньше держали, так все и порушились? Не-е-ет, девка, они схоронились. А ты как думала? А ты думала, они все порушились? Не-е-ет!..

Повторив зачин многократно, она принимается в тысячу первый раз пересказывать свою притчу. У одного мужика отняли корову, а у его – мать стара, жена да дети капельные. Поехал он в Москву, к Сталину, приходит в Кремль, а в кабинете сидит мужик зажиточный – с ихней деревни. Я, говорит, заместо Сталина, как скажу, так Сталин завсегда и сделает, что тебе надо? Ну, мужик отвечает: у нас корову взяли, единственную, а дети у меня еще мелкие, голодные. Тот засмеялся: корову?! Корову, говоришь, отобрали?! У тебя корову отобрали, а меня из собственного дому выгнали! Вишь! Корову! А меня из дому выгнали! Поняла, девка? Но как. А меня, говорит, из дому выгнали. Ну, мужик и ушел. А что делать?.. Да, девка: люди все такие завиды, говны!

Этим грустным выводом вовсе не исчерпывались взгляды Аннушки на человеческое естество. Ее природная доверчивость, глубокая открытость и прочное сердечное убеждение, что все люди так же щедры, честны и добры, как она сама, и что все они ежеминутно нуждаются в неустанной жалости – потому уж, что на свет родились, – несуразно и, видимо, очень болезненно для нее самой срослись с простыми и грубыми охранительными реакциями, которыми выдрессировала ее слепая, лютая, напрочь непонятная жизнь.

В первые годы Аннушкиного сюда переселения Евгеша и милиционерова Наташа героически долго отучали ее от привычки переспрашивать со всеми оттенками, «кто там?», заслышав любой, даже заранее оговоренный звонок в дверь; по десяти раз, «к кому?» – она дознавалась. уже откинув дверь на цепочку, и еще потом, впустив, с нескрываемой опасливостью зверя, разглядывала гостя зеленущими, из-под черных диковатых бровей, глазами – до тех пор, пока его, оглядывавшегося, не уведили в глубины коммунального лабиринта.

А при всем том она не боялась пускать к себе и вовсе незнакомых ей пришельцев, называющих себя лучшими друзьями или начальниками (чаще – друзьями начальника) ее забуддыжного племянника, посылавшего их к тетке в периоды между своими отсидками; редкостное зловоние, сопровождающее такие визиты, прорывалось в коридор уже с лестничной площадки (Евгеша мышью шмыгала на свою жилплощадь и громко поворачивала ключ), и вскоре их громогласный алкогольный пафос без труда отмыкал детское Аннушкино сердце и слабый ее кошелечек. В обмен на красивые и грозные легенды о Кольке, который ударным трудом получил ожоги третьей степени, о Кольке, который, будучи в ожогах, женится, а жена беременна, о Кольке, у которого ханыги выманили казенные деньги, а свои он все до копейки отправил в фонд мира, Аннушка незамедлительно отдавала все, что у нее оставалось на тот момент от пенсии в пятьдесят семь рублей (прописью). Тогда курьеры торопливо уточняли, что Колька получил ожоги ближе к четвертой степени, что Колькина жена беременна двойней, ну и так далее. – и, в соответствии со зловещим разрастанием несчастий, Аннушка дрожащими руками добавляла посланцам деньги, оторванные от неприкосновенной, даже при условии Аннушкиного опухания с голоду, зачатки на похороны.

Аннушка жила на рупь в день. Из оставшихся двадцати семи рублей она оплачивала свет, газ и – всегда на три месяца вперед – комму, в которой беспрестанно сырел северный угол, гнили рамы (Аннушка очень боялась, что они выпадут во двор и убьют ребенка), пол истлевал, а дверь была сработана словно для другого проема. Когда нам поставили телефон (событие, сродни прибавлению семейства), мы с Евгешей, конечно, пытались оградить Аннушку от платы, тем более что (как мы ее убеждали) пользо-

ваться-то аппаратом она будет не чаще раза в год, но ежемесячно, в день пенсии. Аннушка выкладывала на стол ответственной квартиро-ръемщицы (Евгеша) ровно рубль тридцать семь – а звонить ей было некуда.

Правда, я помню как ей самой однажды, к Сельмому ноябрю, позвонили ее дальние родственники, и она, смущенная телефонной игрушкой, говорила трубке «Мне прибавили к пенсии рубль семьдесят пять».

А потом только спрашивала – про детей да про детей, потому что про себя ей сообщать было больше нечего.

Так вот, пятьдесят семь минус площадь, свет, газ, телефон, плюс рубль семьдесят пять, минус неизбежные, иногда непредска-зуемые траты (горчичники – нитки – троллейбус – мыло – лампочка – носки – ах, ты, Господи, не напасешься!), но, что бы ни стряслось, Аннушка все равно измудрялась откладывать себе на похороны, и эта возможность дарила ей ни с чем не сравнимую радость.

Дать ей займы не представлялось возможным ни при каких, даже чрезвычайных, на грани жизни и смерти, обстоятельствах. Дело было не только в ее крепком знании, что отдавать нечем, – го-раздо прочнее и старше было чувство, что это ей не с руки, да и все тут.

А у нее «стреляла» иногда рубль-другой – до вечера (до ночи, до утра), – если Евгеша не оказывалась дома, а надо было что-нибудь срочное. Не помню случая чтобы Аннушка отказала.

И в то же время, скажи ей кто-нибудь, что я, к примеру, мас-терю у себя в комнате бомбу – она бы не отвергла это как явную че-луху. «Правда, что ли, – отстраненно опасливо – хмуро меня разглядывая, спросила бы она, – ты, говорят... это... бомбу какую-то у себя мастеришь?» И я знаю, что, сколь бы я не отнекивалась (чем тверже и дольше, тем с меньшей для нее убедительностью), она, как в типичном русском споре, когда противника попросту не слушают, только качала бы горестно головой и в несокрушимом своем упрямстве все повторяла и повторяла бы с расстановкой: «Не знаю, девка... Не знаю».

Но что можно было поделать с ее независимостью, когда про-исходили случаи аварийные? Ведь бывало, например, что мы с Евгешей покупали новый замок для входной двери и пытались пригласить плотника: бывало, зазывали сантехника, отрывисто

говорившего, что он не обязан; неловко всовывали чекушку починительно света – во всех этих бедственных, особенно для кармана Аннушки, происшествиях, как бы мы с Евгешей ни сопротивлялись и ни скрежетали зубами, она с пугающим, клиническим упрямством участвовала все равно, подсовывая желтые бумажечки, свою долю, нам под двери, или в кухонные ящики, или в висевшие у дверей пальто. Но иногда на нее обрушивались беды и вовсе катастрофические: покупка нового чайника взамен непоправимо прохудившегося. Несчастье такого калибра пробивало в финансах Аннушки брешь величиной в несколько совсем голодных дней. Точное количество этих дней легко подсчитывалось: если у Аннушки на полке шкафа под синим гробешком лежало пять рублей, то, следовательно, ровно столько дней и оставалось до ее пенсии, а если этих пяти рублей у нее не оказывалось (как в примере), то, следовательно, именно такое количество дней и предстояло Аннушке голодать.

Вижу, как она сосредоточенно – долго чистит в ванной подобранный где-то черный гривенник.

...Тут приходил Колька, и Аннушка отдавала ему часть похоронных денег.

Вопросы

1. Что означает «ретуал» в жизни Евгешы и Аннушки?
2. По каким критериям повесть Палей относится к «натуральной прозе»?
3. Какой тип героя в классической русской литературе можно соотнести с героинями повести?
4. Как тема материнства, составляющая лейтмотив повести, раскрывается в повести?
5. Как в повести выражена идея времени?
6. Какую функцию выполняют описательные детали в контексте повести?
7. В чем состоит «отдых от жизни» Аннушки?
8. Какие признаки быта героинь выявляют их бытие?
9. Как понятие «чистоты» раскрывает различие жизненных взглядов Евгешы и Аннушки?
10. Жизненная судьба Аннушки. На чем выстраивается «идеологические» и «политические» взгляды Аннушки? Образ Аннушки и её характер.



Пелевин Виктор Олегович (р. 22 нояб. 1962 г., Москва) – прозаик. Родился в семье военного. После окончания школы «почти на «отлично» (с единственной четверкой по русскому языку), поступил и в 1989 г. закончил Московский энергетический ин-т. В 1989-1990 гг. учился на вечернем отделении в Литературном ин-те им.

М.Горького (семинар Мих. Лобанова), на II курсе перестал посещать занятия.

Печататься начал в журнале «Химия и жизнь» (рассказ «Колдун Игнат и люди», 1989). Первый сборник рассказов «Синий фонарь» в 1993 г. получил Малого Букера как лучший сборник рассказов 1992 г. Повести и романы: «Омон Ра» (1992), «Жизнь насекомых» (1993), «Желтая стрела» (1993), «Затворник и Шестипалый» (1993), «Принц Госплана» (1993), «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation «П» (1999). Программное эссе «Джон Фаулз и трагедия русского либерализма» (Независимая газета. – 1993. 20 янв.).

Пелевин В. Жизнь насекомых. – М.: Текст, 1992.

Литература

1. Александров Н. Новая эклектика // Литературное обозрение. – 1997. № 3. С. 27-34.
2. Архангельский А. Обстановка места и времени. // Дружба народов. – 1997. № 5.
3. Бавильский Д. Сон во сне... // Октябрь. – 1996. № 12. С. 176-184.
4. Генес А. Беседа 10: Поле чудес. // Звезда. – 1997. № 12. С. 230-233.
5. Генес А. Виктор Пелевин: границы и метаморфозы. // Знамя. – 1995. №12.

ИНИЦИАЦИЯ

– Папа, видел, какие странные дяди? – сказал мальчик, когда лавка осталась позади.

Отец сплюнул на дорогу.

– Пьянь, – сказал он. – Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь.

Откуда-то в его руках появился кусок слежавшегося навоза. Он кинул его сыну, и мальчик еле успел подставить руки. Из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не надо себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди, но едва в ладони шлепнулся теплый навоз, все стало понятно, и мальчик молча опустил папин подарок в сумку.

Из тумана выплыла длинная и узкая палатка, похожая на стоящий на боку спичечный коробок. Внутри за разно-цветными сигаретными пачками, парфюмерными флаконами и позорными кооперативными штанами скучала продавщица. За ее спиной дымилось замызганное стекло гриль-машины, в которой жарились белые равнодушные куры. На стене палатки висела колонка, из которого рывками вылетала музыка, словно ее сквозь черный пластмассовый динамик прокачивал невидимый велосипед-ный насос.

– Простите, а где тут пляж? – спросил отец у продавщицы.

Продавщица высунула руку из окошка и молча указала пальцем в туман.

– Гм... А сколько вон те стаканчики стоят? – спросил отец.

Продавщица тихо ответила.

– Ничего себе, – сказал отец. – Ну давайте.

Он протянул стаканчики сыну, тот положил их в сумку, и они двинулись дальше. Палатка исчезла, а впереди появился небольшой мост. За ним туман оказался еще гуще – ясно был виден только бетон под ногами, и еще по сторонам просвечивали размытые зеленые полосы, похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья. Вместо неба над головой был низкий белый свод тумана, а слева иногда появлялись пустые бетонные емкости для земли с ребристыми стенками – они расширялись кверху и из-за этого напоминали перевернутые пивные пробки.

– Папа, – спросил мальчик, – а из чего состоит туман?

Отец задумался.

– Туман, – сказал он, протягивая сыну несколько маленьких кусочков навоза, – это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе.

– А почему они не падают на землю?

Отец поразмыслил и протянул мальчику еще один кусок.

– Потому что они очень маленькие, – сказал он.

Мальчик опять не успел заметить, откуда папа взял навоз, и поглядел по сторонам, словно пытаясь разглядеть эти маленькие капельки.

– Мы не заблудимся? – озабоченно спросил он. – Ведь вроде уже должен быть пляж.

Отец не ответил. Он молча шел сквозь туман, и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Мальчику помешало, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира сквозь огромные клочки ваты, изображающей снег, ползут неясно куда, и отец лишь делает вид, что знает дорогу.

– Папа, и куда это мы только идем, идем...

– Чего?

– Так...

Мальчик поднял глаза и увидел сбоку неясное мерцание. В белой мгле нельзя было разобрать, где находится его источник и что это светится – то ли часть тумана совсем рядом сияет голубым огнем, то ли издалека пытается пробиться луч включенного неизвестно кем прожектора.

– Папа, гляди!

Отец поднял глаза и остановился.

– Что это такое?

– Не знаю, – сказал отец, трогаясь дальше. – Наверно, фонарь какой-нибудь забыли погасить.

Мальчик пошел следом, косясь на уходящий назад свет.

Несколько минут они шли молча; мальчик иногда оглядывался, но света больше не было видно. Зато в голову опять стали приходить странные, ни на что не похожие мысли, какие в нормальном месте не возникли бы.

– Слышишь, пап, – сказал мальчик, – мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились. Что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет. И даже страшно стало...

Отец рассмеялся и потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда-то появился такой здоровый кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной навозной бабы.

– Знаешь, как в народе говорят, – сказал он, передавая кусок сыну, жизнь прожить – не поле перейти. Мальчик уклончиво кивнул, с трудом втиснул папин подарок в свою сумку и перехватил ее поудобнее, потому что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться.

– А бояться не надо, – сказал отец, – этого не надо... Ты ведь мужчина, солдат. На вот.

Получив новый кусок навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил, а следом на бетон шлепнулась сумка, и там хрустнули, разбившись, стаканы. Мальчик сел на корточки у сумки, из которой при падении вывалилась большая часть навоза, потрогал ее рукой, испуганно поднял глаза на отца, но вместо ожидаемой хмурой гримасы обнаружил на его лице торжественное и немного официальное умиление.

– Вот ты и стал взрослым, – помолчав, сказал отец и вручил сыну новую пригоршню навоза. – Считаю, сегодня твой второй день рождения.

– Почему?

– Теперь ты уже не сможешь нести весь навоз в руках. У тебя теперь будет свой Йа, как у меня и мамы.

– Свой Йа? – спросил мальчик. – А что такое Йа?

– Посмотри сам.

Мальчик внимательно поглядел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный серо-коричневый шар.

– Что это? – испуганно спросил он.

– Это мой Йа, – сказал отец. – И теперь такой же будет у тебя.

– А почему я его раньше не видел?

– Ты был еще маленьким. А сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный шар сам.

– А почему он такой зыбкий? Из чего он?

– Зыбким, – сказал отец, – тебе шар кажется потому, что ты только что его увидел. Когда привыкнешь, поймешь, что это самая реальная вещь на свете. А состоит он из чистого навоза.

– А-а, – протянул мальчик, – так вот где ты все время навоз брал. А то ты его мне все даешь, даешь, но откуда – непонятно. У тебя его вон сколько, оказывается. А какое ты слово сказал?

– Йа. Это священный египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой шар. – торжественно ответил отец. – Пока твой Йа еще маленький, но постепенно он будет становиться все больше и больше.

Часть навоза дадим тебе мы с мамой, а потом ты научишься находить его сам.

Мальчик все еще сидел на корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами.

– А где я буду находить навоз? – спросил мальчик.

– Вокруг, – сказал отец и указал рукой в туман.

– Но там же никакого навоза нет, папа.

– Наоборот, там один навоз.

– Я не понимаю, – сказал мальчик.

– Держи. Сейчас поймешь. Чгобы все вокруг стало навозом, надо иметь Йа. Тогда весь мир окажется в твоих руках. И ты будешь толкать его вперед.

– Как это можно толкать вперед весь мир?

Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперед.

– Это и есть весь мир, – сказал он.

– Что-то я не понимаю, – сказал мальчик, – как это навозный шар может быть всем миром. Или как это весь мир может стать навозным шаром.

– Не все сразу. – сказал отец. – подожди, пока твой Йа станет побольше, тогда поймешь.

– Шарик же маленький.

– Это только так кажется, – сказал отец. – Посмотри, сколько навоза я тебе сегодня дал. А мой Йа от этого совсем не уменьшился.

– Но если это весь мир, то что же тогда все остальное?

– Какое остальное?

– Ну, остальное.

Отец терпеливо улыбнулся.

– Я знаю, это сложно понять, – сказал он. – Но, кроме навоза, ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, – отец широким жестом обвел туман, это на самом деле Йа. И цель жизни – толкать его вперед. Понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь Йа изнутри.

Мальчик наморщился и некоторое время думал. Потом он начал сгребать вывалившийся перед ним навоз ладонями и с удиви-

тельной легкостью за несколько минут слепил шар, не особо круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь-в-точь с мальчика, и это показалось ему странным.

– Папа, – сказал он, – ведь только что навоза у меня была всего лишь одна сумка. А здесь его полгрузовика. Откуда он взялся?

– Здесь весь навоз, который мы с мамой дали тебе с рождения, – сказал отец. – Ты его все время нес с собой, просто не видел.

Мальчик оглядел стоящий перед ним шар.

– Значит, теперь надо толкать его вперед?

Отец кивнул головой.

– А все вокруг и есть этот шар?

Отец опять кивнул.

– Но как же я могу одновременно видеть этот шар изнутри и толкать его вперед?

– Сам не знаю, – развел руками отец. – Вот когда вырастешь, станешь философом и всем нам объяснишь.

– Хорошо, – сказал мальчик, – если ничего, кроме навоза, нет, то кто же тогда я? Я-то ведь не из навоза.

– Попробую объяснить, – сказал отец, погружая руки в шар и передавая сыну еще горсть. – Правильно, вот так, вот так, ладошками... Теперь погляди внимательно на свой шар. Это ты и есть.

– Как это так? Я ведь вот, – сказал мальчик и показал на себя большим пальцем.

– Ты неправильно думаешь, – сказал отец. – Ты логически рассуждай. Если ты говоришь про что-то «Я», то значит, это ты и есть. Твой Яа и есть ты.

– Мое ты и есть Яа? – переспросил мальчик. – Или твое ты?

– Нет, – сказал отец, – твой Яа и есть ты. Сядь на лавку, успокойся, и сам все увидишь. То, что отец назвал лавкой, было длинным и толстым бревном квадратного сечения, лежащим на границе видимости. Один его торец сильно обгорел – видно, перекинулся огонь из подожженной урны, – и теперь лавка напоминала во много раз увеличенную спичку. Мальчик подкатил свой Яа к лавке, уселся и поглядел на отца.

– А туман не мешает? – спросил он.

– Нет, – ответил отец. – Вон, гляди, уже почти видно. Только больше никуда не смотри.

Мальчик поглядел на папу, недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего свежеслепленного шара. Под

его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул.

Из глубины шара на него глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными челюстями. Шей не было – голова переходила в твердый черный панцирь, по бокам которого шевелились зазубренные черные лапки.

– Что это такое? – спросил мальчик.

– Это отражение.

– Чего?

– Ну как же так? Ведь только что все понял, а? Давай опять логически.

Спроси себя сам – если я вижу перед собой отражение и знаю, что передо мной Йа, что я вижу?

– Себя, наверно, – сказал мальчик.

– Вот, – сказал отец, – понял наконец.

Мальчик задумался.

– Но ведь отражение всегда бывает в чем-то, – сказал он, поднимая взгляд на рогатую и черную папину морду, поблескивающую бусинками глаз.

– Правильно, – сказал отец, – ну и что?

– В чем оно?

– Как в чем? Ну ты даешь. Все же у тебя перед глазами. Конечно, в самом себе, в чем же еще?

Мальчик долго молчал, вглядываясь в навозный шар, а потом закрыл лапками морду.

– Да, – наконец сказал он изменившимся голосом. – Конечно. Понял. Это Йа. Конечно, это же Йа и есть.

– Молодец, – сказал отец, слезая со спички и чуть привставая на четырех задних лапках, чтобы передними ухватиться за свой шар. – Идем дальше.

Туман вокруг достиг такой плотности, что скорее походил на клубы пара в бане, и о движении можно было судить только по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через каждые три метра из белого небытия появлялись забитые грязью щели между плитами – в некоторых росла трава. На краях плит были неглубокие выемки с ржавыми железными скобами, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об окружающем мире ничего нельзя было сказать.

– А Йа есть только у навозников? – спросил мальчик.

– Почему? Йа есть у всех насекомых. Собственно говоря, насекомые и есть их Йа. Но только скарабей в состоянии его видеть. И еще скарабей знает, что весь мир – это тоже часть их Йа, поэтому они и говорят, что толкают весь мир перед собой.

– Так что, выходит, все вокруг тоже навозники? Раз у них есть Йа?

– Конечно. Но те навозники, которые про это знают, называются скарабеями. Скарабей – это те, кто несет древнее знание о сущности жизни, – сказал отец и похлопал лапкой по шару.

– А ты скарабей, папа?

– Да.

– А я?

– Еще не совсем, – сказал отец. – Над тобой должно совершиться главное таинство.

– А что это за главное таинство?

– Понимаешь, сынок, – сказал отец, – его природа настолько непостижима, что лучше о ней даже не говорить. Просто подожди, пока это произойдет.

– А долго ждать?

– Не знаю, – сказал отец. – Может, минуту. А может, три года.

Он с выдохом толкнул свой шар дальше и побегал за ним.

Глядя на отца, мальчик старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом толчке глубоко погружались в навоз, и было непонятно, как это он успевает их вытаскивать.

Мальчик попытался так же глубоко погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось – для этого просто надо было сложить пальцы щепоткой. Поворачиваясь, шар утаскивал за собой руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги вот-вот оторвутся от земли. «А что, если еще глубже?» – подумал мальчик и изо всех сил воткнул руки в навоз. Шар покатился вперед, ноги мальчика оторвались от земли, и сердце екнуло, словно он первый раз в жизни делал «солнышко» на качелях. Он взлетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понесся вниз вместе с накатывающейся на бетон навозной сферой. Падая, он понял, что шар сейчас проедет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма, а когда мальчик пришел в себя, его уже поднимала вверх та самая навозная полусфера, которая только что придавила его к бетону.

– Доброе утро, – слышался папин голос. – Как спалось?

– Что же это такое, папа? – спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение.

– Это жизнь, сынок, – ответил отец.

Поглядев в его сторону, мальчик увидел серо-коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу. Папы нигде не было – но, приглядевшись, мальчик заметил на поверхности навоза размазанный нечеткий силуэт, который крутился вместе с шаром. В этом силуэте можно было выделить туловище, руки, ноги и даже два глаза, их взгляд был устремлен одновременно и внутрь шара, и наружу. Эти глаза печально смотрели на мальчика.

– Молчи, сынок, молчи. Яа знаю, что ты спросишь. Да. Со всеми происходит именно это. Мы, скарабен, просто единственные, кто это видит.

– Папа, – спросил маленький шар, – а почему же яа раньше думал, что ты идешь за своим шаром и толкаешь его вперед?

– А это потому, сынок, что ты был еще маленький.

– И всю жизнь так. башкой о бетон...

– Но все-таки жизнь прекрасна, – с легкой угрозой сказал отец.

– Спокойной ночи.

Мальчик глянул вперед и увидел насждающую на глаза бетонную плиту.

– Доброе утро, – сказал большой шар, когда тьма рассеялась, – как настроение?

– Никак, – ответил маленький.

– А ты старайся, чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый – о чем тебе грустить? То ли де...

Большой шар вздрогнул и замолчал.

– Ты ничего не слышишь? – спросил он у маленького.

– Ничего, – ответил тот. – А что яа должен слышать?

– Да вроде... Нет, показалось, – сказал большой шар. – О чем яа говорил?

– О настроении.

– Да. Ведь мы сами создаем себе настроение и все остальное. И надо стремиться, чтобы... Опять.

– Что? – спросил маленький.

– Шаги. Не слышишь?

– Нет, не слышу. Где?

- Впереди, – ответил большой шар, – как будто слон бежит.
- Это тебе кажется, – сказал маленький. – Спокойной ночи.
- Спокойной ночи.
- Доброе утро.
- Доброе утро, – вздохнул большой. – Может, и кажется. Ты знаешь, йа ведь старый уже. Здоровье шалит. Иногда утром проснусь и думаю – вот так буду где-нибудь катиться и...
- Почему, – сказал маленький, – вовсе ты не старый.
- Старый, старый, – с грустью отозвался большой. – Скоро тебе уже придется обо мне заботиться. А ты, небось, не захочешь...
- Как не захочу? Захочу.
- Это ты сейчас так думаешь. А потом у тебя своя жизнь начнется, и... Вот опять.
- Что опять? – нетерпеливо спросил маленький шар.
- Шаги. Ой... А теперь колокол бьет. Не слышишь?
- Большой шар остановился.
- Покатали вперед, – сказал маленький шар.
- Нет, – сказал большой, – ты катись, а йа тебя догоню.
- Ладно, – согласился маленький и исчез в тумане.
- Большой шар оставался на месте. Никаких шагов больше слышно не было, и он медленно тронулся вперед.
- Сынок! – крикнул он. – Эй! Ты где?
- Йа здесь, – ответил голос из тумана. – Спокойной ночи!
- Спокойной ночи!
- Доброе утро!
- Доброе утро! – крикнул большой шар, покатился в сторону, откуда долетел ответ, и двигался довольно долго, пока не стало ясно, что они с сыном разминулись.
- Эй! – крикнул он снова. – Ты где?
- Йа здесь.
- На этот раз голос долетел издалека и слева. Большой шар двинулся было туда, но сразу же испуганно замер. Впереди раздался громopodobный удар, такой сильный, что даже бетон под ногами мелко задрожал. Следующий удар раздался ближе, и навозный шар увидел огромную красную туфлю с острым каблуком, врезавшимся в бетон в нескольких метрах впереди.
- Папа! Я теперь тоже слышу шаги! Что это? – долетел далекий голос сына.
- Сынок! – отчаянно прокричал отец.

– Папа!

Мальчик закричал от страха и поднял взгляд. Над его головой мелькнула тень, и на миг ему показалось, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве, уносящуюся в небо, и еще показалось, что в неимоверной высоте, куда взмыла туфля, возник силуэт огромной расправившей крылья птицы.

Мальчик с трудом отлепил руки от навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел отцовский голос. Через несколько шагов он наткнулся на большое темное пятно на асфальте, поскользнулся и чуть не упал.

– Папа, – тихо сказал он.

Видеть то, что осталось от папы, было слишком тяжело, и он, постепенно понимая, что произошло, побрел назад к своему шару. Перед его глазами встала добрая папина морда со страшными только на вид хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз, и он заплакал. Потом он вспомнил, как папа, протягивая ему кусок навоза, говорил, что слезами горю не поможешь, и перестал плакать.

«Папина душа полетела на небо, – подумал он, вспомнив быстро уносящееся вверх пятно на огромной подошве, – и я уже ничем не смогу ему помочь».

Он поднял взгляд на шар, удивился, каким тот стал большим за последнее время, потом посмотрел на свои руки и со вздохом положил их на теплую податливую поверхность навоза. Поглядев последний раз туда, где оборвалась папина жизнь (ничего, кроме тумана, видно уже не было), он толкнул Йа вперед.

Шар был таким массивным, что требовал всего внимания и всей силы, и мальчик полностью погрузился в свой нелегкий труд. В его голове мелькали смутные мысли – сначала о судьбе, потом о папе, потом о себе самом – и скоро он привык, и уже не надо было толкать шар, достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких черных лапках, чуть приподняв морду, чтобы длинный хитиновый вырост на нижней челюсти не цеплял за шар. А еще через несколько шагов лапки достаточно глубоко увязли в навозе, шар поднял мальчика, обрушил на бегон, и жизнь вошла в свое русло, по которому шар и покатился вперед.

Бетонная плита наезжала на глаза, и наступала тьма, а когда появлялся свет, оставалась только слабая память о том, что минуту назад снилось что-то очень хорошее.

«Я вырасту большой, женюсь, у меня будут дети, и я научу их всему, чему меня научил папа. И я буду с ними таким же добрым, каким он был со мной, а когда я стану старым, они будут обо мне заботиться, и все мы проживем долгую счастливую жизнь», – думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу новому дню движения сквозь холодный туман по направлению к пляжу.

Вопросы

1. Какое место занимает «Инициация» в сюжетно-композиционной организации «Жизни насекомых» В.Пелевина?
2. В чем смысл «фантастического реализма» Пелевина?
3. Как изображается человек в его произведениях?
4. В чем смысл инициации и как это явление художественно обыгрывается в романе В.Пелевина «Жизнь насекомых»?
5. Условиями какой действительности сформирован герой В.Пелевина?
6. Какую функцию выполняет метафора «насекомые»?
7. Какие идеи иронически обыгрываются в повести В.Пелевина?
8. Какую функцию выполняют соцреалистические концепты в художественной системе повести?
9. Какая концепция человека и мира выстраивается в повести В.Пелевина?
10. Особенности какого жанра проявляются в «Инициации»?



Людмила Стефановна Петрушевская (26.05. 1938 г., Москва) – драматург, прозаик.

В 1961 г. окончила факультет журналистики МГУ, работала на радио, телевидении. В литературу пришла относительно поздно. Ее проза художественно реабилитировала быт, трагическую судьбу «маленького человека» наших дней, жителя коммуналки, неудачливого полунинтеллигента.

Центральная тема прозы Петрушевской – женские судьбы. Разрушая человеческие утопии и мифы на разных уровнях – семейном, любовном, социальном и др., Петрушевская изображает ужасы жизни, ее грязь, злобу, невозможность счастья, страдания и муки. Все это рисуется так гиперболистично, что вызывает шок («Медея», «Страна», «Свой круг», «Нюра Прекрасная» и т.д.) Мир семьи, жизнь дома в произведениях Петрушевской изуродованы, искривлены («Отец и мать»), они превращены в арену борьбы отцов и детей, мужей и жен.

Петрушевская является лауреатом престижной Пушкинской премии (1991). Повесть «Время – ночь» печатается в сокращении по изданию: Л.Петрушевская. *Время-ночь* // Новый мир. – 1992. №2.

В центре произведения – судьба современной женщины, раздавленной бытом, доведенной до отчаяния, одинокой, оставшейся наедине со своими страшными мыслями.

Литература

1. Васильева М., Лебедушкина О. Две попытки прочтения Людмилы Петрушевской // Дружба народов. – 1998, № 4.
2. Овчинникова С. Под взглядом софитов // Новый мир. – 1988, № 4.
3. Савкина И.Л. Говори, Мария! (заметки о современной «женской прозе» // Преображение. Русский феминистский журнал. – 1996, №4 (о пов. «Время-ночь»).
4. Шорэ Э. Судьба трех поколений, или От очарования к разочарованию (о Л.Петрушевской «Время-ночь») // Преображение. Русский феминистский журнал. – 1997, №5.
5. Вирен Г. Такая любовь: О прозе Л. Петрушевской // Октябрь. – 1989, №3.

Ау, Алена, моя далекая дочь. Я считаю, что самое главное в жизни – это любовь. Но за что мне все это, я же безумно ее любила! Безумно любила Андриюшу! Бесконечно.

А сейчас все, жизнь моя кончена, хотя мне мой возраст никто не дает, один даже ошибся со спины: девушка, ой, говорит, простите, женщина, как нам найти тут такой-то заулок? Сам грязный, потный, денег, видимо, много, и смотрит ласково, а то, говорит, гостиницы все заняты. Мы вас знаем! Мы вас знаем! Да! Бесплатно хочет переночевать за полкило гранатов. И еще какие-то там мелкие услуги, а чайник ставь, простыни расходууй, крючок на дверь накидывай, чтобы не клянчил, – у меня все просчитано в уме при первом же взгляде. Как у шахматистки. Я поэт. Некоторые любят слово «поэтесса», но смотрите, что нам говорит Марина или та же Анна, с которой мы почти что мистические тезки, несколько букв разницы: она Анна Андреевна, я тоже, но Андриановна. Когда я изредка выступаю, я прошу объявить так: поэт Анна – и фамилия мужа. Они меня слушают, эти дети, и как слушают! Я знаю детские сердца. И он всюду со мной, Тимофей, я на сцену, и он садится за тот же столик, ни в коем случае не в зрительном зале. Сидит и причем кривит рот, горе мое, нервный тик. Я шучу, глажу Тиму по головке: «Мы с Тамарой ходим парой» – и некоторые идиоты организаторы начинают: «Пусть Тамарочка посидит в зале», не знают, что это цитата из известного стихотворения Агнии Барто.

Как быстро все отцветает, как беспомощно смотреть на себя в зеркало! Ты-то ведь та же, а уже все, Тима: баба, пошли, говорит мне сразу же по приходе на выступление, не выносит и ревнует к моему успеху. Чтобы все знали, кто я: его бабушка. Но что делать, маленький, твоя Анна должна денежку зарабатывать (я себя ему называю Анна). Для тебя же, сволочь неотвязная, и еще для бабы Симы, слава Богу, Алена пользуется алиментами, но Андрею-то надо подкинуть ради его пяты (потом расскажу), ради его искаленной в тюрьме жизни.

И Андрей ко мне приходит, требует свое.

Он точно считает вслух: раз комната пятнадцать метров стоит семьдесят рублей, откуда-то он настаивает именно на этой сумасшедшей цифре, поделить на три, будет двадцать три рубля трид-

цать три копейки. Ну хорошо, соглашается он, за квартиру ты платишь двадцать рублей, подели на шесть и отними. Итого ты мне должна ровно двадцать рублей в месяц. В таком случае, говорит он, я сообщу, что ты уже получаешь алименты с Тимкиного папаша. Бедный! Он не знает, что я ничего не получаю, а ежели бы узнал, ежели бы узнал... Мгновенно пошел бы на Аленушкину работу орать и подавать заявку на не знаю на что. Алена знает этот мой аргумент и держится подальше, подальше, подальше от греха, а я молчу. Живет где-то, снимает с ребенком. На что? Я могу посчитать: алименты это пятьдесят рублей. Как матери-одиночке это столько-то рублей. Как кормящей матери до года от предприятия еще сколько-то рублей. Как она живет, не приложу разума. Может быть, отец ее малыша платит за квартиру?

Ночь. Малыш уснул. Я держу оборону, хотя дочь время от времени наносит удары: перед прошлым Новым годом, никогда не забуду, мы собирались справлять его с Тимой дома, никуда не званы, как всегда, мы с ним пошли на елочный базар и из подобранных вполне пушистых, как веера, веток мы сделали букет, как елочку! Также мы с ним нарезали из цветной бумаги (старые журналы) флажков и зверюшек, и тут пришла Алена, выбралась якобы поздравить, принесла Тиме пластмассового синего кота, выдающегося по безобразию, но Тима с ним носился, укладывал его спать, и я не сказала бедному ребенку, что его родная мать, совершенно обнаглев, увезла из семейного дома две коробки елочных украшений, оставив нам только три. Я плакала. Но электрогирлянду она позабыла! И на Новый год мы обвесили наш еловый букет сверху донизу, в том числе я удачно заранее спрятала отдельно, как чувствовала, стеклянный домик: сверкающая крыша и два окошка по сторонам. Тима любит заглядывать в окошки, как Тильгиль и Митиль вместе взятые из «Синей птицы». И ненадолго я зажгла гирлянду, и домик у нас сверкал, и мы с Тимой водили хоровод (плюс синее пластмассовое чудовище), и я тихо вытирала слезы. (...)

Вечером я приползла домой из библиотеки, где собирала материал в газетной рубрике «Из зала суда» (есть надо), а дома, разумеется, я работать не могла по причине шума и агрессии в виде громкого смеха, хлопания дверью, рассказов по телефону, где я была темой номер один. сбрендившая мамаша, особенно в ходу была история со слесарем-больным-триппером, ха, ха! и застала дома полнейшую тишину.

Шурка пришел в два ночи в сильном подпитии, подлец, и молча качнулся мимо меня в уборную, где его, подлеца, вырвало.

– Что случилось? – спросила я его прямо через дверь. – Что случилось? Где Аленка? Он спустил воду и вышел бледный, как замазка.

– Алена родила, – сказал он.

– Поздравляю! Кого?

– Сына.

– Где они?

– В двадцать пятом роддоме. – И он упал как пьяная свинья.

И с нетерпением теперь мы поехали вдвоем с подлецом отцом встречать нашего Ненаглядного.

Шестнадцать дней пролетело как во сне, не было ни ночи, ни дня (...)

Это вообще был страшный период, когда Андрея таскали по повесткам в милицию, я была там, следователь накричал на меня, Андрей возвращался домой желтый и безжизненный. и ему все время звонили и что-то орали, а он кивал, не отвечая, и его вызывали родители этих проклятых друзей в кавычках на свиданки, таскали, уговаривали взять, видимо, вину на себя, а мама ничего не могла понять и тревожно говорила, что мальчик плохо чувствует и не питается, девочка вчера пришла домой поздно, плащ светлый спина в зеленой краске, где-то лежала спиной; и вдруг мать затихла у себя в комнате и почти перестала выходить. это совпало с тем, что Андрей однажды ушел утром на допрос и больше к нам не вернулся.

Андрею понравилось доить меня, тлю. Хотя в этот месяц мы жили как в лихорадке, я выпросила у Буркина, заведомо, лишние сорок писем, сказав, что буквально задолжала, это в него влезло, он и сам бывал должен. Остальное он не воспринимал – роды, болезни, тюрьмы, все это он ненавидел и на такие слова не реагировал. Выпить и деньги на выпить – этому он сочувствовал. Лихая правда моей жизни была ему неудобна, и о, как легко я приходила в редакцию! Я буквально порхала, улыбалась, рассыпалась в комплиментах, мои щеки цвели, лицо, я это чувствовала, худело, скулы обтягивались, руки, трудовые, как у черепahi, мои грабли, я загодя приводила в порядок, стригла ногти скобочкой, делала серьезный массаж.

Там, наверху, на третьем этаже, я была непризнанной поэтессой, а мой алкоголик заведующий был суровым, но справедливым меценатом.

Он рылся в столе, выходил, в столе у него с громом перекатывалась пустая бутылка, напрасный ко мне намек, в жизни не даю взятки и не с чего, он говорил по телефону, копался в портфеле, с ним беседовали его девушки, которые приходили поодиночке, но скапливались затем кучкой и никто не уходил, все словно кого-то ждали. Они садились к нему на стол и чуть ли не на колени, они были молоды и прекрасны, а меня внизу ждал Тима, изнывая и становясь кверху тормашками. Тут же заходили деловые мужики из соседних отделов, но все это было не то, они все ждали, кто бы их повел в кабак. А у меня было только одно: писем и писем!

Буркин всех прокормить не мог, он еще давал письма одной вдове своего товарища, который утонул, но его так и не нашли, и какие-то трудности были с пенсией его двум малолетним детям и не работающей жене, которая ничего на свете не умела. Зав. научил ее шпарить по трафарету пять видов ответов, она мне сама призналась, а я каждый раз создавала произведение искусства разового употребления, это были безумные ночи, полные разговоров с невидимыми душами пенсионеров, моряков, учетчиц, студентов и школьников, прорабов, медиков, сторожей и заключенных.

А я что писала? Я писала поэмы. Я цитировала, советовала, хвалила, а ругала очень сочувственно. Мой Буркин брал эти мои произведения, и его перекашивало, как от горя. Но ведь за каждой рукописью вставали передо мной живые люди, может быть даже больные, прикованные к постели, как Николай Островский! Инвалиды и горбуны! (...)

Звонок телефона, малыш кинулся первым и долго стоял, прижавши трубку к голове двумя ручками, не отдавая мне, известная манера, всегда кидается.

Он: Але! Але! Что? Кого? Анну кого? Але! Кого?

– Дай, дай, маленький. Дай бабе трубочку.

– Да погоди ты! Ничего не слышно! Что, але! (пауза) Положили трубку.

Я: Никогда! Слышишь? Никогда...

Опять звонок. Борьба. Я выхватываю трубку, он взревел и стукнул меня ножкой по голени. Какая боль... Я отбрасываю его

рукой и вежливо разговариваю, а малыш сидит на полу, глаза сверкают как граненый хрусталь, это он заходится, хватая воздух, три-два-один – пуск! А-а-а-а!!!

– Минуточку. Или ты замолчишь...

– Ааааа!!!

Никогда ни Алена, ни Андрей маленькие себе такого не позволяли, но ведь у малыша энцефалопатия, мать его, как видно, роняла со стола, я ее предупреждала, и у него расшатаны нервы, как у истеричной бабы.

В трубке приветливый провинциальный голосок информирует меня о том, что мою мать Серафиму Георгиевну переводят из больницы в интернат для психохроников.

Все. Это все. Все, о чем я даже боялась думать, сбылось. Ведь знает заведованием, знает, что мне некуда брать мать и на что я живу.

– Простите, деточка, как вас звать?

– Никак. Ну, Валя.

– Почему, Валюша? Что такое?

– А не будут держать.

– Можно, я заеду поговорю? А кто на месте? Малышик, погоди, не до тебя. (А он разбежался и ударил меня двумя кулаками по почкам.) Господи, за что? А, Валечка?

– В общем, вы решайте. Выписка в интернат уже готова. Вы не беспокойтесь, вам приезжать не надо, мы все оформили. Завтра ее увозят.

Почему такая спешка?

А сама лихорадочно соображаю, что делать. Значит, так, ее переводят, пенсию у нее отбирает государство. Интернатным не платят. Значит, мы сидим совершенно уже в калоше. Абсолютно. А ее пенсия как раз через два дня, я ее успею ли получить? Могут не дать. Ах ты горе какое! Живешь плохо, но как-то все уравнивается до следующего удара, после которого может показаться, что предыдущая жизнь была тихой пристанью. Горе, горе. Они там умирают как мухи, в этих интернатах для психохроников. (...)

... Настало белое, мутное утро казни.

Я поняла, что не могу взять мать домой, не имею права перед Тимошей, за что ему эти дела, этот запах зверинца, эти крики и обвинения, эти моча и кал, и никакая пенсия ничего не возместит, тем более такая мизерная, она встанет поставить чай и подожжет дом. Нельзя, о Господи.

Вот тут и раздался гром небесный. звонок в дверь. Явление Христа народу: звонок. Кто там, спрашивается? Опять какие-нибудь друзья в кавычках Андрея? Я заплатила, я уже все заплатила, сволочи, собаки! Хорошо. Кто это «я»? Я, Алена, – отвечает она и что-то еще там такое говорит.

Я открываю на цепочку, как бы удостовериться.

– Ты что, мама? – с деланным любознательством спрашивает меня эта низенькая бабенка. Действительно, большие глаза, и действительно, ребенок на руках, второй (вторая, она же вторая по счету в ее многодетной семье) держится за подол юбки. Моя дочь принаряжена в какую-то чью-то куртку, куртка ей мала и явно с помойки.

– Открывай, открывай, – говорит она мне. Рядом я вижу коляску, все ту же самую, узел, чемодан. Как дотанчила-то на наш этаж?

– У нас денег нет вас принимать тут! Нету!!! Я хочу захлопнуть дверь.

Малыш борется со мной. Его мать с той стороны принасла ключ и вертит им в замке. Давно не тот ключ! И дверь на цепочке!

Алена через щель разговаривает с пыхтящим Тимошей:

– Тимочка, не надо, не старайся, прищепит она тебя!

– Тимочка, давай закроем дверь, – ласково говорю я.

– Нет! Нет! – кричит он.

– Тимочка, – говорит она, – не старайся тут с ней... Она же больная! Ты не понимаешь? Она тебя прищепит, сынок, она сумасшедшая! Не надо, отойди.

– Отойди, да! (это я)

– Нет!!!

– Отойди, сынок!

Я плюнула и ушла к себе в комнату и закрылась на ключ, они там шуровали, бегал Тимоша, слышался писк и другой тонкий голосок, который внятно, как попугай, говорил: «Аля? Аля? Уля?». Ворковала их мать, все потом пошли мимо моей двери на кухню, потом в ванную, объединились в одну секунду. Семья! Тима их спас, им открыл, он теперь счастлив и их, их член семьи! Мать с тремя детьми. Вот для чего я готовила почву, вот зачем не спала, голодала, лечила, учила: чтобы Тимоша меня в одну секунду бросил, возненавидел. Аля, аля, уля. В одну минуту жизнь потеряла смысл. Ах ты какой тонкий. Как хорошо сыграл. Все на руку матери, чтобы ей доказать преданность! Малая борьба у дверей – и

все! Готово! Ах предатель, шелковые кудри, шелковые ножки! Так всегда, волк всегда в лес убежит, к матке! Сколько я видела таких матерей-кукушек, и как их любят брошенные дети, в одну секунду отказываясь от тех, кто их воспитал! (...)

... Гром на лестнице, в коридор входит санитар

– Больная Голубева!

– Здесь, здесь, я ее провожаю, все-все документы у меня. Голубчик, помогите ей одолеть лестницу.

– Ну подписывайте, – сказал санитар и подсунул мне бумажку.

Дома дети, Алена, я ей нужна, куда в этот детский очаг наше говно и пропахшие мочой одежды, наша старость. Вообразить рядом запахи мыльца, флоксов, глаженных пеленок, зачем я все эти сутки пугала мою бедную Алену, мне самой-то падо уйти.

Санитар влез с моей подписью в машину, поправил еще маму, оглядываясь на меня. Возможно, он ждал, что я с ней попрощаюсь...

Машина тяжело тронулась.

Теперь я проснулась среди ночи, мое время, ночь, свидание со звездами и с Богом, время разговора, все записываю.

В квартире полная тишина, холодильник выключен, издалека тупые, глухие удары: соседка Нюра дробит кости на суп детям, сколько раз ей говорили, чтобы она прекратила по ночам эти леденящие душу удары, как поступь судьбы. Почему такая полнейшая тишина, трое детей ведь! Никто не пикнул, молодцы, устали. И мать не шляется по квартире то молочка согреть, то пеленку сухую. Молодец. Все тихо и эти удары. Шаги судьбы. Что же они молчат?! Молодцы. Спят мертвецким сном. Спят как мертвые. Полная тишина. Живы ли, вот вопрос. Живые дети так не спят. Совсем не ворочаются. Уже всю ночь тишина. Что еще эта сумасшедшая натворила с собой и детьми? Живы ли? Полное молчание. Я и всю-то жизнь ночами прокрадывалась к детским постелькам послушать, дышат ли. Иногда дыхание такое слабенькое, спят как умерли. Как сейчас. Не придумывай на свою голову. Какая тишина! Далекие удары. Совсем Нюра с ума тронулась, все жалуются. Кормить нечем, она пустые кости где-то достает детям. Потом сутки вываривает, делает холодец, молодец. Спят как убитые, молодцы. Не могу туда идти. Не могу знать. Не могу предугадывать насчет четырех гробов мал мала меньше, и как все это хоронить?! Как, скажите мне! Зима, цветы. Какие могут быть еще зимой цветы! Андрюша

маленькой жизнью. Ветер будет трепать на мертвой головенке легкие кудри. Ветер создает впечатление живых волос. Как она это совершила, гадина! Таблетки! У нее всегда были в запасе таблетки. За что детей? Тому последнему и вообще крошка понадобилась, растворила в молоке. У мертвых выражение лица облегчение как после слез. В ряд лежат: Сколько можно бить по костям, я спрашиваю? Удары судьбы. Нюра, хватит! Пойти постучать ей в дверь. Можно просто сойти с разума. Ответит матом, распаренная трудовая женщина, с визгом. Все давно привыкли и спят. Господи! Господи!!! Спаси и помилуй!

Я сделала две вещи. Первое, я не выдержала и пошла к Нюрке. Я ей сказала пару слов на ее языке, что заявлю, что ее Генка ворует телефоны, если она не понимает простых вещей. Мы с детьми видели. Срезал трубку. Она только разинула пасть для мата в разгаре трудовой деятельности, как я захлопнула с треском ее дверь. Пусть подумает. Далее. Я решительно поднялась к себе и вошла в комнату своей дочери, и там при свете включенной лампы никого не оказалось. На полу лежала сплюснутая пыльная соска. Она их увела, полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя, крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна, простите слезы.

Вопросы

1. Какой тип женщины представляет героиня повести «Время-ночь»?
2. Охарактеризовать особенности стиля повествования?
3. Как соотносятся пространство и время в повести?
4. Что такое быт в концепции повести?
5. Какой тип сознания отражает героиня повести?
6. Как в повести Л.Петрушевской рассматривается идея преемственности поколений?
7. В чем трагедия существования главной героини?
8. В чем причины «непонимания» героини детей?
9. Как вещный мир, окружающий героев, характеризует их? Дополняет ли он наше представление о них, об их деятельности, цели, смысле жизни?
10. Какие жанровые признаки можно выделить в данном произведении?



Вячеслав Пьецух родился 18 ноября 1946 г. в Москве. Первый сборник писателя «Алфавит» вышел в свет в 1983 г. Рецензенты отмечали свободное владение пером, раскованность, ироничность, осязаемое влияние юмористической традиции М.Булгакова и М.Зощенко. «Главная тема моего литературного существования, – подчеркивает сам писатель, – исследование феномена русского дурака... Это попытка осмыслить все то, что противостоит элементарной истине, которая поведена нам две тысячи лет тому назад: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

В романах «Предсказание будущего» (1989), «Роммат», «Центрально-ермолаевская война», в рассказе «Сухов, осквернитель могил» история представлена в низовом, буффонадно-пародированном и фантастическом виде. Это попытки проекции прошлого на будущее. Размышляя об утраченных путях, нереализованных возможностях, Пьецух обытовляет, «одомашнивает» историю. «У Булгакова Пьецух учился лавировать между историей (таинственным ходом событий) и историей (чередой банальных скандалов и разборок)» (Немзер А.).

Пьецух В. Государственное дитя. – М.: Вагриус, 1997.

Литература

1. Бунимович Е. Четыре дебюта. // Юность. – 1986. № 4.
2. Вайль П. Русский человек на randevу. // Литературная газета. 1991. – 9 октября.
3. Золотоносов М. «Дети Арбата»: Ностальгические заметки о позднесоциалистической литературе // Московские новости. – 1993. – 10 октября.
4. Иванова Н. Намеренные несчастливцы? // Дружба народов. – 1989. №7.
5. Иванова Т. Наша бедная литература // Знамя. – 1989. № 4.
6. Немзер А. Несбывшееся // Новый мир. – 1993. № 4.

Над Москвою денно и нощно висела удушливая пелена, похожая на туман оливкового оттенка, которая временами опускалась так низко, что скрадывала город примерно по четвертые этажи, и он казался прихлопнутым чьей-то гигантской дланью. Вразнобой звонили по церквям к ранней обедне: в Кремле ровно в восемь часов утра, но уже у Казанской Божьей Матери в пять минут девяти, а у Христа Спасителя аж в четверть – и перезвон колоколов разносился над Первопрестольной глухо, недостоверно, как под водой. Прохожих на улицах мало, что называется, по пальцам можно пересчитать: на Покровском спуске виднелась компания пьяных стрельцов в куртках цветов Измайловского полка, на углу Никольской улицы старушки торговали поношенными вещами, у Иверской о чем-то спорили, горячо жестикулируя, двое подозрительных мужиков; изредка проедет по Красной площади извозчик с номерным знаком на спине, нарисованным нитро-краской, или протарахтит автомобиль, отравив воздух злым перегаром, поскольку моторный транспорт давно уже работает на спирту. Между десятым и одиннадцатым зубцом кремлевской стены, если считать от Никольской башни, стоял государь Александр Петрович и показывал «нос» извозчику № 6.

Позади государя переминались с ноги на ногу окольные и бояре, все в чинных темных костюмах и крахмальных Косоворотках, вошедших в обиход после того, как государь Петр IV Чудотворец галстуки запретил. По правую руку от Александра Петровича стоял отрок Аркадий, Государственное Дитя, наследник всероссийского престола, который был вычислен Палатой звездочетов два года тому назад. Дьяк Перламутров читал выборку из газет:

– ...Чтобы мир развивался абсолютно во всех случаях последовательно, постепенно, – этого не сказать. Динозавры, по историческим меркам, вымерли в одночасье, человек тоже родился в одночасье, минуя промежуточное звено между обезьяной и кроманьонцем, парижские босяки взяли в 1789 году Бастилию и тем положили начало буржуазному строю государственности, Зворыкин выдумал телевизор и тем обозначил закат культуры...

– Во русские дают! – воскликнул государь Александр Петрович. – Телевизор, и тот между делом изобрели!

– ...Тем не менее, – продолжал чтение Перламутров, – многое нам говорит о том, что природа вещей не жалуется революций, что по мере возможного она избирает пути последовательного развития, через постепенное накопление количества, превращение его в качество, отрицание отрицания, то есть в полном соответствии с законами диалектики, которые подарил миру великий Гегель ...

– А разве не русские выдумали диалектику?

– Немцы, ваше величество.

– Это жаль ...

– В этом смысле Великая французская революция была вовсе не революцией, а этапом эволюции, хотя бы и взрывным по своему характеру, что вообще бывает довольно часто. Или взять периодическую систему великого химика Менделеева: его знаменитый карточный сон, из которого развилась периодическая система, был следствием многолетнего накопления знания о материалах природы, и революционного в этом сне было не больше, чем в справке о среднем образовании ...

– Подозрительная какая-то фамилия у этого химика, он часом не из Менделя переделал?

– Вряд ли, ваше величество, он, кажется, из поповских детей.

– Ну – ну.

– ...Равно и возвращение России к самодержавию стало закономерным следствием эволюции русского общества от царизма через буржуазную республику, так называемый социализм, навязанный народу жидочувавшим Лениным и евреем Троцким, через парламентский строй – к самовластью как форме отправления государственности, которая наиболее органична русскому человеку...

– Что-то туманно они пишут. – перебил чтеца государь Александр Петрович. – Нет ли чего-нибудь позадорнее, например, про борьбу за социальную справедливость?

– Из Тамбова сообщают: старший повыхчик областного правления Вазелинов уличен в получении взятки от купца второй гильдии Кузнецова. Оба приговорены по суду к отсечению правой руки и левой ноги. Приговор приведен в исполнение при огромном стечении горожан. Старший повыхчик Вазелинов скончался от разрыва сердца на месте казни.

– А ты не воруй!..

На Иване Великом ударили в колокол, напустив на столицу густой, дребезжащий звук, от которого у москвичей вырабатывалась слюна. Государь Александр Петрович, оживясь, взял за руку отрока Аркадия, и они направились в Столовую палату дворца, старательно держа ровный, степенный шаг. Замечательно, что живая походка у них была одинаковая: как будто обоим приспичило по малой нужде, но этого нельзя ни в коем случае показать.

На завтрак подавали: салат «оливье» с брусникой, заливные телячьи языки с хреном, уху из стерляди, жареного барашка, нафаршированного разными овощами, индейку под белым соусом, а на сладкое гурьевскую кашу и земляничные муссы. Из почетных гостей за царским столом присутствовал только посол Сибирского ханства толстый татарин Руслан Гирин. Во время завтрака, длившегося два часа, завязался приличный спор: судили – рядили, какая форма монархии предпочтительней в рассуждении государственного благоустройства, наследственная или ламаистского образца, когда будущий властелин вычисляется в результате длительного наблюдения за ходом ночных светил. Сибирский посол согласился из политеса, что последняя будет лучше, ибо природа часто дает осечку, а небо не может врать. Но в конечном итоге спорщики пришли к неожиданному заключению, говорившему не в пользу хомо сапиенс как именно разумного существа, – дескать, сколько воды утечет, сколько берез обдерут на веники, прежде чем люди придут к тому, отчего ушли: баба не человек, простонародью воли давать нельзя, монархия – идеал государственного устройства.

После обеда государь Александр Петрович беседовал с отроком Аркадием в присутствии ближних бояр, мамы Елизаветы и пестуна Ласточкина, наставника Государственного Дитя.

– Ты зачем своим котяткам глаза выколол, сукин сын?!

Отрок Аркадий внимательно посмотрел вбок, точно это дело его не касалось, точно он глазами искал того, к кому обращен вопрос.

– Какой же ты будешь отец своим подданным, если у тебя такие зверские замашки с младых ногтей?!

Отрок Аркадий молчал, по-прежнему глядя вбок.

Мамка Елизавета пожаловалась государю:

– Их высочество и к моим котяткам подбирался, да я моих спрятала под замок.

- Час от часу не легче!
- И еще кусаться они горазды.
- Хорошо: ну а кусаешься ты зачем?

Отрок Аркадий смотрел исподлобья, угрюмо молчал, и государь Александр Петрович скоро остыл к беседе. В четвертом часу дня он отправился вздремнуть в верхние комнаты, а Государственное Дитя послали гулять в сопровождении малолетних жильцов и мамки Елизаветы. Некоторое время молодежь носилась по стенам Кремля, вогнав в испарину бедную женщину, а потом забралась на Спасскую башню полюбопытствовать, нельзя ли сломать куранты. Пока жильцы старались оторвать языки у колоколов, настроенных на первые такты «Богатырской симфонии», отрок Аркадий подкрался к мамке Елизавете, сказал с недетской злостью:

– Так ты ябедничать, гадюка! – и укусил ее за правую грудь, опять же с недетской силой.

Елизавета взвизгнула и что было мочи отпихнула от себя Государственное Дитя. В результате этого толчка случилось непоправимое: сила его была велика настолько, что мальчик перекинулся через каменный парапет и упал на кремлевскую брусчатку примерно с высоты десятого этажа, произведя при падении нехороший, тряпичный звук.

Первым оповестил народ о трагедии пономарь Архангельского собора, который шел к службе читать часы. На звук набатного колокола тотчас сбежались кремлевские обитатели, да прорвались через Спасские ворота десятка три москвичей, сметя караул Семеновского полка. Наследник всероссийского престола лежал, скрючившись, на брусчатке и уже был бел той отталкивающей белизны, какой не бывает в живой природе. Кто-то завел ручную сирену, наполнив воздух тревожно-противным воем, и тем самым, надо полагать, вверг в иступление собравшуюся толпу. Минуты не прошло, как начался свирепый народный суд: пестун Ласточкин, пьянствующий накануне, с двумя своими братьями, Михаилом и Константином, набросились на мамку Елизавету и, несмотря на то, что она пребывала в обмороке, избили ее поясными ремнями в кровь, в свою очередь пестуна Ласточкина, насчет которого почему-то моментально распространилась молва, будто именно он погубил Государственное Дитя, насмерть забили прикладом семеновцы, очумевшие от страха и озлобления, а заодно прикончили и

его братьев, Михаила и Константина, – этих уже в порядочном отдалении от места действия, за кремлевскими стенами, в подземном общественном туалете, где братья спрятались от ярости народной, то есть от семеновцев и толпы; по неясному подозрению были убиты также помощник главного хранителя государственных бумаг архивариус Ключев, один младший чин палаты звездочетов и тот самый пономарь Архангельского собора, который первым оповестил народ о гибели Государственного Дитя; всего в тот день так или иначе умертвили четырнадцать человек, в большинстве своем не только не причастных к трагическому событию, но пребывавших в том заблуждении, что кремлевский набат оповещает население о пожаре.

Между тем останки отрока Аркадия перенесли в дворцовый покой, обмыли, обрядили в государственные одежды и положили на большой обеденный стол головой к иконе Николая Угодника, перед которой задумчиво теплилась рубиновая лампадка. Первый день с усоншим наследником всероссийского престола прошалась семья государя Александра Петровича, придворные чины и служилый кремлевский люд, а затем трупик перенесли в Успенский собор и дозволили проститься с покойником всей Москве. Странное дело: день лежало тело отрока Аркадия в Успенском соборе, два лежало, неделю, другую, – и ни чего, тлен не касался плоти, точно для Государственного Дитя не существовало законов органической химии, и только он весь наострился, обсох, словно окаменел. Первое время народ дивился такой устойчивости, но потом стало ясно, что это знак, тем более что подле почившего неожиданно неггадшно прозрели трое слепцов, и патриарх Филофей с архиластыри скоропалительно причислили отрока Аркадия к лику святых, просиявших в пределах российского государства.

Чтобы пресечь вредные толки, касавшиеся обстоятельства гибели отрока Аркадия, была учреждена следственная комиссия, которую возглавил дьяк Перламутров, вообще ведавший многими государственными делами. Толку от этого расследования не ждали, поскольку трудно было рассчитывать, что настоящие свидетели дадут дельные показания: малолетние жильцы окосноязычили от страха, а мамка Елизавета пребывала в длительном столбняке. Однако москвичи наворотили таких злостных сплетен вокруг темной смерти, постигшей Государственное Дитя, что дело о происшеств-

вии на Спасской кремлевской башне следовало подвергнуть самому тщательному рассмотру, навести в нем какую угодно определенность и, таким образом, утихомирить беспокойный московский люд.

Таскать свидетелей на допросы начали спустя сутки по смерти Государственного Дитя. Следственная комиссия заседала в Приказе внутренних дел, который занимал 1-ю линию бывшего универсального магазина, выходившего фасадом на Красную площадь, а торцами на Никольскую улицу и Ильинку.

Поручик Иван Крашенинников, начальник группы телохранителей при особе отрока Аркадия, показал: де 12 июля, в шестом часу по новому счету времени, он составлял недельный отчет для Приказа государственной безопасности, когда услышал вой ручной сирены и прибежал в Кремль одетым не по форме и даже с пером в руках; тело отрока Аркадия он застал уже бездыханным, лежавшим у цоколя Спасской башни с внутренней стороны стен; тут же находились малолетние жильцы наследника и его мамка Елизавета, валявшаяся без чувств, каковую мамку истязал отроков пестун Ласточкин и его братья, Михайла и Константин; а Государственное Дитя, по слухам, уже распространившимся вокруг неостывшего его тела, давеча забрался с жильцами на Спасскую башню и, расшавшись, будто свалился сам.

Майор Сергей Прохоров, начальник караула семеновцев, в тот день охранявших Кремль, в свою очередь показал: услышав набатный колокол, он, де, прибежал из кордегардии к Спасской башне, чтобы приказать затворить ворота, но было поздно, – немалая толпа москвичей, несмотря на предупредительные автоматные очереди поверх их дурных голов, ворвалась в Кремль и принялась бесчинствовать вплоть до пролития братской крови; впрочем, пестуна Ласточкина прикончили люди поручика Крашенинникова, что неудивительно, так как поручик был должен Ласточкину пятьдесят рублей; а Государственное Дитя накануне забрался со своими жильцами на Спасскую башню и как будто свалился сам.

Трое из малолетних жильцов при особе отрока Аркадия показали, что, дескать, в момент трагедии интересовались кремлевскими курантами и не видели ничего, однако жилец Николай Бабенко первое время утверждал, будто он был свидетелем злого разговора наследника с мамкой Елизаветой, но ему поприжали яички в

щели между притолкой и дверью, и жилец сознался, что он соврал. Сама же мамка Елизавета, дававшая показания один на один с дьяком Перламутровым, заявила, что Государственное Дитя, расшалившись, вознамерился перебраться по карнизу от одного башенного зубца до другого, оступился и рухнул наземь.

По этому делу поручик Крашенинников и майор Прохоров были подвергнуты смертной казни, жильцы помещены в Бутырскую тюрьму, тела братьев Ласточкиных отданы на съедение собакам в кинологический питомник, а мамку Елизавету хотя и сослали в Выску, в Николаевский монастырь под надзор тамошнего игумена, но содержать приказали на полном довольствии и с почетом.

Результаты следствия по делу о гибели Государственного Дитя были опубликованы во всех российских газетах и, коротко говоря, заключались в том, что наследник престола стал жертвой несчастного случая, а окружение его было виновато исключительно в недосмотре. Однако это сообщение не только не успокоило общественное мнение, но, напротив, способствовало распространению вредных толков: дескать, дьяк Перламутров, давно присматривающийся к месту первого лица в государстве, подкупил стяжателей, застрашал малодушных и, таким образом, покрыл страшное преступление, которое как раз состояло в том, что злодей перламутров подослал к отроку Аркадию наемных убийц, тонко знающих свое дело. Кроме того, поговаривали, будто наследник жив, будто поручик Крашенинников и майор Прохоров, как-то прознавшие о готовящемся злодеянии, нарядили наследником одного из жильцов, а отрока Аркадия спрятали до поры, за что и были подвергнуты смертной казни. Бог весть, отчего у нас возникают иные слухи, но, во всяком случае, офицеров, действительно, наказали несоизмеренно с виной, а государь Александр Петрович, действительно, назначил дьяка Перламутрова местоблюстителем престола, буде сам он скончается в одночасье, и Палата звездочетов не поспест к тому времени вычислить новое Государственное Дитя.

Дьяк Перламутров, сразу взявший большую власть, распорядился насчет патрулирования столицы силами гвардейских полков, установил трехлетнее тюремное заключение для нарушителей правил дорожного движения, хотя бы это были пешеходы, переходившие улицы в непоказанных местах, и ввел предварительную цензуру. Нехорошее, тяжелое настроение распространилось меж

москвичами, да еще эта мгла, низко повисшая над Первопрестольной, которая угнетала душу и вгоняла людей в беспричинный страх.

2

Поезд «Лев Толстой» приближался к Хельсинки. Вася Злоткин, молодой еще человек с хорошим славянским лицом и немного оттопыренными ушами, лежал на нижней полке в своем купе и странными глазами рассматривал потолок. Уже в течение года с ним время от времени происходило что-то неладное: как на одних бедолаг вдруг нападает неясное беспокойство, а на других «куриная слепота», так Вася Злоткин иногда погружался в тяжелую мечтательность, напоминающую прострацию, и его посещали чудные грезы. Замечательно, что эти мечтания сильно смахивали на явь и он даже временами ощущал незнакомые запахи, воочию наблюдая героические картины, слышал нездешние голоса; также замечательно, что его грезы нанизывались на определенную сюжетную линию, и всякая из них представляла собой фрагмент одной и той же продолжительной эпопеи; но самым замечательным было то, что Злоткин мог руководить своими видениями, что он как бы в уме сочинял роман. После первого же припадка бедняга напугался и побывал на приеме у самого Наджарова, главного психиатра IV управления; тот, впрочем, ничего серьезного не нашел и назначил только ежедневные продолжительные прогулки, но на прощание сообщил, что вообще психиатрия не столько наука, сколько искусство, и самый авторитетный диагноз есть не более чем набросок карандашом. И Вася Злоткин, успокоившись, смирился со своим недугом; так в преклонные годы люди смиряются с одиночеством и болезнями возраста, вроде гипертонии.

Поезд нечувствительно плыл по рельсам, – видимо, финны как-то умудрились их класть без стыков, за окном тянулись пригороды Хельсинки, присыпанные снежком, именно производственные либо складские помещения, очень опрятные и даже радующие глаз, преаккуратные домики, выкрашенные в пастельные, завораживающие цвета, автомобильные стоянки, первые улицы с редкими пешеходами, словом, приятно оживленная местность, которая предваряет любой европейский город. Вошел, вкрадчиво постучав, проводник в коричневой униформе, сказал:

– Прибываем... – и мягко задвинул дверь.

Злоткин положил на столик десять финских марок для проводника, надел теплую замшевую куртку, подхватил сумку с плечевым ремнем и брезентовый баульчик для дипломатической почты, в котором на самом деле помещался пистолет Стечкина и крупная сумма денег, вышел в коридор своего вагона, посмотрел направо, посмотрел налево, осенил себя мелким-мелким крестиком и сошел.

Несмотря на то, что день выдался будний, а также ранний час, в помещениях хельсинского вокзала было многолюдно и совершалась прилично-суматошная, привычная и в то же время чужая жизнь; в частности, Вася Злоткин приметил компанию пьяных парней с осолопевшими чухонскими физиономиями, они не орали песен, не сквернословили, не приставали к публике, не дрались, а только бродили, шатаясь, туда-сюда. И ему подумалось на их счет: «Ну что ты с ними, сукиными сынами, поделасешь – северяне!.. Северяне-то они, разумеется, северяне, а все-таки прямо шевалье по сравнению с нашей рванью...».

Нужно было как-то убить время до часу дня, и Вася Злоткин пустился в разные приятные операции: купил пачку голландского сигаретного табака и машинку для самокруток, снялся в автоматической фотографии за тридцать марок, перекусил в ресторане на втором этаже, выпив при этом двойную порцию виски и кружку пива. Ровно в час дня он звонил из телефонной будки, попыхивая сладко-приторной самокруткой; когда на том конце провода отозвались, он сказал приглушенным голосом:

– Здравствуйте, я ваша тетя...

Ему в ответ

– Поезжайте на улицу Алексантринкату. Там найдете туристическое агентство «Матка-Расила Ою». В этом агентстве на ваше имя заказан билет на паром Або-Стокгольм. До Або доберетесь сами, лучше поездом, так спокойней. И будьте предельно осторожны: Асхат Токаев следует по пятам.

Двумя часами позже Вася Злоткин уже ехал в поезде, который смахивал бы на подмосковную электричку, если бы не чистота в вагонах, не сравнительное безлюдье и нетронутые сиденья, обитые светло-коричневым дерматином. Ближе к тамбуру бесновалась компания юных американок, чуть позади сидел господин в высокой меховой шапке, который вызывал законное беспокойство. Злоткин

достал записную книжку и нашел в ней фотографию Асхата Токаева: нет, не он. У него отлегло от сердца, и захотелось вспомнить о чем-нибудь приятном, вроде недавней пьянки в ресторане «Седьмое небо».

Между тем компания юных американок до того распалилась, что одна из девушек с разбегу вспрыгнула Злоткину на колени.

– Фак оф, май дарлинг, – сказал ей Вася.

– Animal!* – был ответ.

Вечером, когда на Финляндию пала темень и повсюду зажглись апельсиновые фонари, Злоткин приехал в Або. Прямо у дебаркадера пассажиров паром дожидался роскошный автобус, и через полчаса времени он уже был в порту. За эти полчаса ему в голову пришла только одна мысль. «И чего они там мудрят на Старой площади, – подумал он, – чего сразу не сориентировали на Стокгольм, если известно, что Орхан Туркул находится в столице Шведского королевства? Наверное, следы замечают, иначе понять нельзя».

Вася Злоткин никак не ожидал, что морской паром «Сильвия лайн» будет таким гигантом, что высотой он окажется примерно в пятнадцатизэтажный дом, а размером с городок районного подчинения, что даже всякая буква, нарисованная на борту, не пролезет в Спасские ворота, как ты ее ни суй.

Поднявшись на борт, он оставил вещи в одноместной каюте, которая запиралась пластиковым жетоном, и отправился обследовать помещения корабля. В магазине на третьей палубе он купил свитер и бутылку французского коньяку, в кафе для курящих приобрел коробку немецких сигар, а в кафе для некурящих выпил хмельного пива. Паром уже вышел далеко в Ботнический залив, когда Вася Злоткин обосновался в ресторане, просторном и овальном, как маленький стадион. Первым делом он внимательно осмотрелся, прикрывшись от публики картой вин: из числа посетителей ресторана по крайней мере трое могли оказаться Асхатом Токаевым, если принять во внимание возможности гримерного мастерства. Злоткин запечатлел этих троих у себя в памяти и подозвал официанта московским жестом. Подошел официант невзрачной наружности и почему-то стал сдирать со стола скатерть. Вася сказал, забывшись:

– Ты чего делаешь-то, чудила?!

– Сам чудила, – последовало в ответ.

- Ты что, из наших?! – воскликнул Злоткин, радостно удивясь.
- Из ваших, из ваших, – подтвердил хмуро официант.
- А чего ты здесь околачиваешься тогда?
- Работаю, бабки варю, – не видишь, что ли?
- Так бабки варить и в России можно! Знаешь, какие сейчас у нас открылись возможности для промышленников, коммерсантов, вообще деловых людей?!
- Три курса отделения искусствоведения – это как?
- Да и у меня образования никакого, так... среднее техническое, а между тем я не последний человек в государственном аппарате...
- Слушай, мужик, ты давай делай заказ, а то мне работать надо.
- Брось чепуху молоть! Лучше присаживайся ко мне, выпьем сейчас, закусим, у меня денег вагон и маленькая тележка!
- У нас это запрещено.
- Тогда давай сделаем так: ты постой около меня, с понтом ты записываешь заказ, и мы под эту дудку поговорим.
- О чем говорить-то?
- Да о России, о чем еще!
- В гробу я видел твою Россию. Мне про эту белую арапию и подумать тошно.
- Так: подашь салат из креветок, венский шницель и бутылку розового вина.

Позже он заказывал еще копченую лососину, отбивную из оленины с брусничкой, французский сыр, а напоследок выпил чуть ли не целую бутылку «Бурбона», но с официантом больше не говорил и даже принципиально не оставил ему на чай. Вернувшись к себе в каюту, Вася Злоткин улегся и наугад вытащил из сумки старое письмо своей бывшей жены, писанное на школьной тетради в клетку; с той самой поры, как Вася начал страдать видениями наяву, на него напала бессонница, и только старые женины письма почему-то вгоняли его в настоящий сон.

«Милый Вася!

Сегодня утром (14 июля) проснулась в седьмом часу. Хотя солнце стояло уже высоко, в траве было полно росы, и пока дошла до умывальника, который недавно приколотил мне к березе возле баньки Петрович, совсем промочила ноги. Умываясь, с удовольствием думала о толстых носках из собачьей шерсти, которые на такой случай припасены у меня в корзиночке для грибов. Кстати

о грибах. В нынешнем году этого добра у нас какое-то безумное количество, например, вчера я принесла из лесу сорок четыре белых, не считая подберезовики и лисичек. Наш сторожил Надежда Михайловна говорит, что такое обилие грибов верная примета к войне (в сороковом году, по ее словам, было то же самое). Петрович, в свою очередь, уверяет, будто грибное лето к «сиротской», то есть теплой и сытной зиме, – не знаю, кому и верить.

Ну так вот... Вода в умывальнике была холодная – прехолодная, несмотря на то, что уже две недели стоит ровная жаркая погода, о которой Петрович говорит, – «вёдреная», и даже ночами душно. От этой воды мурашки пошли по телу, но лицо точно расправилось, распустилось, и руки отошли, – у меня в последнее время от работы в огороде немеют руки. Кстати про огород. Картошку я в этом году посадила «синеглазку», которую купила в соседней деревне Лески у тракториста Гожева, два раза окучивала, потом, когда уже началось цветение, как ненормальная день-деньской снимала с цветков колорадского жука, и вот тебе на: ботва выросла чуть ли не с человеческий рост и толстая-претолстая, точно стебель у лопуха. Надежда Михайловна говорит, что Гожев, подонок, меня надул, что посадочный материал никуда не годится, поскольку он весь ушел в ботву, и картошка будет мелкая, как горох. Но Петрович говорит, что ничего страшного, ботва ботвой, а клубень клубнем, – уж не знаю, кому и верить. Зато удались салат (берлинский курчавый), лук, морковь и особенно кабачки. Огурцы ничего себе, помидоры тоже, а свеклу я в этом году не посадила, потому что в прошлом году, кажется, только два раза готовила себе борщ. Борщ я теперь делаю по-новому, с заправкой и антоновскими яблоками, заправка же делается так: натираешь на мелкой терке несколько ноготков чесноку, а на крупной – кусок соленого сала, замороженного до каменного состояния, потом в эту смесь добавляешь безумное количество красного перца, хорошенько перемешиваешь, и готово дело. Говорят, что в такой борщ нужно класть рубленые сосиски, но это уже, по-моему, чересчур.

Ну так вот... Умылась я и только обтерлась полотенцем, как вдруг со всех сторон запели клесты (у нас в этом году прямо какое-то нашествие клестов), и на душе сразу стало так хорошо, беспечно, точно я и душу заодно умыла и как будто ко мне вернулись мои восемнадцать лет. А ведь мне, Вася, уже под тридцать, – вот

что значит погожее июльское утро, ледяная вода в умывальнике на дворе, пение птиц и вообще благополучная экологическая обстановка. Кстати об экологической обстановке. Представь себе, у нас в Урче мужики даже раков ловят, а это верный знак чистоты в природе, бабочки кругом так и порхают, как будто листва осыпается на ветру, а этой весной вдруг появились майские жуки, которых я не видела с детских лет. А воздух такой чудный! Дышишь, и не замечаешь, что дышишь, вот уж благорастворение воздушных. Неудивительно, что у меня уже месяц нормальная температура и я позабыла про кровохарканье, как будто у меня его не было никогда.

После завтрака (ложка меда со стаканом ключевой воды) я часа два ползала в огороде. Кто бы мне сказал еще два года тому назад, что я когда-нибудь буду с наслаждением копать в земле, я бы тому плюнула в глаза, а сегодня я и мокрицу выполола с двух грядок, и редис посеяла (сорт «ледяная сосулька»), и подготовила почву под озимый посев полтавского чеснока. Наверное, эта моя новая страсть объясняется тем, что я прямо млею от восторга перед сокровенной деятельностью земли. Бросишь в грядку чепуховину какую-то размером с булавочную головку и вдруг вырастет изящное существо, которым можно украшать – раз, любоваться – два, кормиться – три, обонять – четыре. И вот я еще не знаю, кто достоин называться самым совершенным произведением природы, потому что если, например, меня посеять, не вырастет ничего. Как можно увидеть на каждом кладбище, если человека посеять, из него не вырастет даже несчастная лебеда.

Ну так вот... После того, как я в свое удовольствие напозлалась в огороде, я себе приготовила безумно вкусный обед: на первое салат из свежей зелени под горчишным соусом, на второе суп из цветной капусты, на жаркое маленький кусочек телятины с ханским рисом, на десерт картофельные оладьи с киселем из чернослива и кураги. После обеда я прилегла, нацепила на нос очки, взяла в руки книгу (сейчас я читаю шестой том собрания сочинений Герцена), – и вот оно счастье в его настоящем виде! Все-таки Герцен совершенно отдельное явление в нашей литературе, первых, потому, что он остроумен, как десять Бернардов Шоу вместе взятых, во-вторых, потому, что он желчно-любовен по отношению к России, до гадливости, как никто, в-третьих, потому, что он писал публицистику слогом первоклассного прозаика, в-

четвертых, потому, что он был самым умным русским писателем после Достоевского, в-пятых, потому, что как политический деятель он не был пошл.

За чтением я вздремнула, но это, разумеется, не по вине Герцена, а по вине подушки, набитой сеном, от которой идет такой сладкий дух, что, кажется, так и проспала бы остаток дней. Проснувшись, я ходила гулять к реке. Из-за жары наша Урча обмелела так, что несколько валунов, о существовании которых я раньше не подозревала, высунулись из воды. Они какие-то неземные, округлые, точно гигантские яйца древних пресмыкающихся, и сначала были покрыты темно-зеленой слизью, а потом обсохли и как бы покрылись струпами. И течение реки стало медленнее, вероятно, по причине мелководья, и поэтому отлично видно, как порскают туда-сюда какие-то мелкие рыбешки, похожие на блестящие гвоздики, как валяжно шевелятся на дне водоросли, а если хорошенько приглядеться, то можно увидеть рака. Я, как Аленушка у Васнецова, сидела на прибрежном камне, разогревшимся на солнце, точно полук в бане, и любовалась на нашу речку. Тишина такая, как будто уши заложило, только какая-нибудь невидимая пичужка запоем на том берегу, овод прогудит мимо, ну кто-нибудь в деревне на ночь глядя станет колоть дрова. И кажется невероятным, что где-то далеко за лесом существуют большие города, мчатся машины, люди ходят туда-сюда, шум, гам, суeta суeta. Интересно, какой подонок выдумал города?

Вечером, когда уже садилось солнце, ко мне по-соседски зашел Петрович. Если ты помнишь, Вася, у него в прошлом году сына убили в пьяной драке, и мы говорили о том, как на старости лет радостно одиночество. Стих ветер, стемнело, только на западе образовалось зарево под 96-ю пробу, а мы с Петровичем все пили чай и болтали о том, о сем. Я включила на веранде свет, и так стало уютно, хорошо, что мы одолели целый ведерный самовар.

Нет, не спится. Вася Злоткин убрал письмо в сумку, сделал порядочный хлебок их бутылки, с французским коньяком, надел свою серую замшевую куртку и пошел проветриться в надежде нагулять сон. Оказалось, что уже рассвело; на верхней палубе, не было ни души, тянуло сырым ветерком, припахивавшим чем-то острым, вроде карболки, по правому борту, вдалеке, отходили Аландские острова. Злоткин сел на банкетку и закурил. Ему при-

помнилось, что аккордеонист в ресторане два раза играл «На сопках Манчжурии», и он сказал себе: «Вот! А говорят, финны не любят русских...».

Вопросы

1. Кого пародирует автор в образе Дитя?
2. Как представлено время и пространство (хронотоп) в повести В.Пьецуха?
3. Поясните смысл контраста уклада жизни Васи Злоткина и его жены.
4. Приметы какой исторической эпохи отражены в рассказе В.Пьецуха?
5. В чем причина смерти Государственного Дитя?
6. С какой целью учредили следственную комиссию?
7. Как описывает работу следственной комиссии автор и какие ассоциации вызывает описание работы следственной комиссии?
8. Какую функцию в общей структуре повествования выполняет письмо?
9. Что вам кажется ведущим в художественной системе рассказа; на чем, с вашей точки зрения, акцентирует внимание писатель: сюжете, героях, проблемах, изображении «мелочей жизни», художественных деталях, авторской интонации, парадоксальности изображаемого, концовке рассказа и т. д.?
10. Как выражена авторская позиция в рассказе?

РАСПУТИН Валентин Григорьевич



(р. 15 марта 1937, пос. Усть-Уда Иркутской области), русский писатель; лауреат Государственной премии 1977, 1978) и премии фонда Солженицына (2000).

Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета (1959), в течение ряда лет – до того, как стать профессиональным писателем, – работал журналистом в Сибири. В молодости дружил с А.В.Вампиловым. В настоящее время живет в Москве и в Иркутске. Один из самых ярких представителей так называемой "деревенской прозы", расцвет которой пришелся на 1970-е гг.

Творчество В.Распутина во многом автобиографично, что подчеркнуто названием первого сборника его рассказов "Я забыл спросить у Лешки" (1961), за которым последовали другие: "Край возле самого неба" (1966), "Человек с того света" (1967). Основное место действия его произведений - Приангарье: сибирские деревни и поселки. Повесть "Деньги для Марии" (1967), конфликт которой основан на столкновении традиционных нравственных ценностей и материальных реалий современной жизни, принесла Распутину широкую известность. Следующая повесть "Последний срок" (1970) ознаменовала начало самого продуктивного этапа творчества В.Распутина (1970-е гг.). К нему также относятся сборник рассказов "Вверх и вниз по течению" (1972), повести "Живи и помни" (1975) и "Прощание с Матерой" (1976) – вершина творчества писателя. Из произведений Распутина, созданных в последующие, во многом кризисные для писателя и, как ему представляется, для всей русской литературы годы, выделяется повесть "Пожар" (1985), воспроизводящая целый ряд мотивов повестей 1970-х гг., окрашенных в апокалиптические тона.

Эти же публицистические интонации становятся все более ощутимы в прозе Распутина второй половины 1980-х – 1990-х гг. Рассказы "Видение", "Вечером", "Нежданно-негаданно", "Новая профессия" (1997).

В 2003 году была опубликована повесть Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». В основе сюжета лежит история

женщины из сибирского города, застрелившей насильника своей несовершеннолетней дочери. По словам писателя, название повести он выбрал благодаря переписке со своей знакомой, работавшей с ним в 1960-е годы в красноярской газете: «в одном из писем она написала, мол, не жалуйся на судьбу, у меня ведь тоже судьба трудная, „у дочери Ивана, матери Ивана“...»

В издании предлагается фрагмент повести В.Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».

Литература

1. Быков Д. Зори над распутьем // Новый мир, № 4, 2004.
2. Быков Д. Снасильничали // Огонёк, № 44, 2003.
3. Оскоцкий В., Ступин С. Онтология? Скорее – правдо-
рубство // Литературные вести, № 78, август-сентябрь 2004.
4. Повесть Валентина Распутина удостоена премии в Китае // NEWSru.com, 12 января 2005.
5. Российская литературная премия «Национальный бестсел-
лер». Голосование большого жюри // Русский журнал, 2004.
6. Русаков Э. Задача писателя — помочь человеку, сделать его
добрее // Красноярский рабочий, 13 июля 2004 (Обзор СМИ о си-
туации в Красноярском крае за 13 июля 2004 агентства REGNUM).
7. Чкаников М. Очистить Россию за 15 лет // Труд, № 042, 15
марта 2007.

ДОЧЬ ИВАНА, МАТЬ ИВАНА

Кухонное окно было над подъездом, над его визгливой дверью, голосившей всякий раз, когда входили и выходили. В том нетерпении, горевшем огнем, в каком находилась Тамара Ивановна, она бы услышала звук двери из любого угла, даже из спальни на другой боковине квартиры, где уснул муж, но уже несколько часов продолжала стоять у окна, точно вытянувшаяся струна, направленная в улицу и ожидающая прикосновения. Но там было темно и глухо. Световое пятно от лампочки у подъезда едва доставало до низкого штaketника, которым огорожен сквер и детская площадка в нем среди высоких, шатром разбросавших ветви старых тополей. И никто в него, в этот недвижный и блеклый световой круг, не вхо-

дил. Тамара Ивановна была так напряжена, сама пугаясь продолжительности накала внутри, до сих пор не испепелившего ее, что заметила бы любую тень в черном до темна сквере и услышала бы любой скрад шага из-за угла, если бы они только явились. Но нет, все замерло и оцепенело. С улицы, загороженной и приглушенной спящими домами, поначалу еще пошумливали машины – точно запоздавшие птицы спимались с кормежки, теперь и там вымерло.

Самый глухой час ночи, наверное, уже больше трех.

Муж спит. Как же все-таки по-разному устроены мать и отец: разве она могла бы уснуть? В детях, может, и есть половина отца, да только малая она, эта половина, без вынашивания и без того вечного, неизносного присутствия в своем чреве, которое чувствует мать. И, рожая дитя свое, превращающееся затем во взрослого человека, не все она в родах и корчах выносит наружу: впитавшееся в стенки то же самое дитя остается в ней навсегда. И не сердце одно болело теперь у Тамары Ивановны, а вся она превратилась в стук боли, все в ней исходило в пытке. Но скреблось что-то и отдельно, особой болью, скреблось и скреблось, разрывая ткани и выставляя одно слово. Скреблась она, Светка, зовущая мать...

Вечером, когда началась эта пытка, Анатолия, мужа, дома не было. Но Тамара Ивановна знала, что он у Демина, они заговали какое-то общее дело, уже с месяц дальше разговоров никуда не продвинувшееся. Заводилой был Демин, более решительный и опытный в новой жизни. Он сразу же, как только покатила старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал пятнадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно – стыд сказать! – то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненужностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужиками крутила баранку.

Тамара Ивановна отыскала его по телефону у Демина уже после одиннадцати вечера. До этого она сбегала на соседнюю улицу к

Светкиной подружке Люсе, рослой и пышной девчонке, которую можно было принять за совсем вызревшую женщину, если бы не откровенно кукольное лицо — круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками. И по этому лицу, деланно испуганному и одновременно восторженному, нельзя было понять, говорит ли девчонка правду, будто она видела Светку только днем. Видела на рынке, они ходили спрашивать про работу, с ними была и Лида Тополь. Работы не сыскалось, и она, Люся, уехала, оставив подружек возле торгового комплекса. Когда уходила, заметила, как к Светке и Лиде подошел какой-то парень кавказской национальности в джинсовой куртке.

Один был толк от этого похода: Люся назвала адрес Лиды Тополь, та жила далеко, в микрорайоне.

После того, возвратившись домой, Тамара Ивановна и позволила Анатолию и уже без всяких сомнений сказала, что Светка потерялась. Такого еще не бывало, чтобы она приходила позже девяти. Этот час и был ей указан как домашний порог, и задержаться где-нибудь по своей воле после девяти она бы не решилась. Ивану, младшему на полтора года, позволялось больше, он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень. И совсем иное дело — девчонка шестнадцати лет, хорошенькая, нетвердая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги. Она пошла в школу рано, шести лет, и рано же, после девятого класса, бросила школу, заразившись поветрием, неведь откуда налетевшим, что учиться необязательно. Пошла на девятимесячные курсы продавцов, поближе к красивой жизни. Закончила эти курсы, а не работу не берут: несовершеннолетняя. И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок, выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром.

Вот так. Анатолий приехал с Деминым, в деминской машине. Тамара Ивановна, не находя себе иного места, вот так же стояла возле кухонного окна и видела, как беззвучно и валко, вышаривая в густых сумерках дорогу в узком и дырявом, яма на яме, проезде, подплыла "семерка" и выскочил Анатолий, а выскочив, застопорил, поджидая Демина. Так легко было догадаться: не хотелось ему одному подниматься сейчас в родное гнездо с нагрянувшей туда угрозой и встретить испуганный и требовательный взгляд жены. Но

и Тамара Ивановна вздохнула легче, увидев Демина. С ним надежней. Демин выбрался из машины и, как всегда, горбатисто, клонясь вперед, со свисающими с плеч длинными руками, похожий на первобытного человека, каким рисуют его в школьных учебниках, первым шагнул в подъезд. А войдя в открытую дверь, поняв по напряженному лицу Тамары Ивановны, что девчонки по-прежнему нет, сказал по обыкновению гулко и с хрипотцой:

– Не паникуй. Рано паниковать. Время-то еще детское.

Но все услышали, в том числе и сам он, что это были только слова. Ненужные слова.

Оставили дома Ивана, наказав ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно у телефона, и вышли.

Поехали.

* * *

Долго искали улицу по названию Черемуховая; если судить по названию, должна была она находиться на краю поселка и быть деревянной. Сворачивали и у второго светофора, и у третьего, утыкались то в болотину, то в ангарский берег, у каждого перекрестка останавливались, наводили свет на угловые дома и заборы, чтобы отыскать надпись, но микрорайон в этой стороне на постороннего человека не был рассчитан и имена своих улиц не оставлял. Спросить было не у кого, шел первый час ночи. Только однажды разглядели они фигуру, крадущуюся по тротуару вдоль забора; Демин, опустив стекло, окликнул ее с дружелюбием, на какое был способен, но фигура, походившая на подростка, вдруг сделала мгновенный прыжок и провалились сквозь землю. Деревянные дома лежали в темноте, какой-то особенно плотной, словно из освещенного центра она вся отступала сюда; в каменных, этажных домах освещенных окон было больше, но попробуй достучись, доберись до них за двойными и тройными запорами.

Тамара Ивановна из машины не выходила. Отвалившись на спинку сиденья, упершись коленями в переднее сиденье, в странной напряженной забывчивости ждала, когда найдется нужный дом. Тупо смотрела она в темноту и еще тупей в запутанные ходы тоннеля, по которым, вспарывая перед собой фарами черную плоть, колесила машина. Замечала и не замечала, как мигает светом Демин редким встречным машинам, прося остановки, не возмуща-

лась и не удивлялась, чувствуя в этом какос-то даже утешение, когда те проскальзывали мимо и прибавляли ходу. Наконец одна, храбрая, затормозила. Демин зашагал к ней, к нему вышел коротышка, похожий на бочонок, и, разминая ноги, точно приплясывая перед огромным Деминым, принялся крутить руками.

Черемуховая оказалась вовсе и не в стороне, а рядом с центральной улицей, протянувшейся через весь микрорайон, и оказалась она переулком всего с несколькими четырехэтажными домами. Остановились у подъезда, конечно же, забронированного железной дверью, совсем темного, во мраке как бы вдавленного внутрь. Демин на ощупь воткнул в круглую дыру один зубристый штырь. потом второй – дверь щелкнула и подалась.

– Мне идти? – спросил он у Тамары Ивановны.

– Не надо.

И вот перед нею и Анатолием вторая Светкина подруга – с вытянутым вперед узким зверушечьим лицом на сдавленной по бокам голове и с живыми, мсущими мгновенные взгляды круглыми мигающими глазами. Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, она бывала у Воротниковых. Тамара Ивановна мимоходом присматривалась: кто из них верховодит? И не высмотрела, все они притягивались друг к другу какой-то равно невеликой силой – как временные попутчицы, ищущие общих занятий. Но эта, Лида, была хитрее. Встроен был в нее особый инструмент, дающийся не всем, на котором она умела играть. Есть люди, несколько не скрывающие, что они хитрят, хитрость у них написана на лице, выдающем поиски замысловатых боковых ходов, но так она располагающая, такой она кажется невинной и бестолковой, более того – приятной, что никаких подозрений не вызывает.

Лиду подняли с постели, и теперь она, испуганная, с нервно двигающимися тонкими губами, в коротком и узком застиранном халатике, едва сходящемся на скромной груди, стояла возле круглого голого стола рядом с зашторенным окном. По другую сторону стола сидела мать, вялая и невыразительная женщина с таким же, как у дочери, вытянутым лицом, подавленная не приходом непрошенных гостей среди ночи, а подавленная чем-то давно и безысходно. Глаза ее смотрели пронзительно и устало, с какой-то пронизывающей тупостью. Тамару Ивановну и Анатолия усадили на диван, уже раздвинутый для сна, со скатанной в валик постелью.

Лиду застали врасплох, она не знала, как отвечать. И отвечала осторожно, выдавая недосказанное подергиваниями плеч, то ли себя выгораживая, то ли Светку. Прежде чем говорить, спросила: а что сказала Люся? Сказала, что она уехала? Нет, не обманула, вправду уехала. А к ним возле торгового комплекса подошел парень. Он на рынке фруктами торгует, приезжий. Как зовут? Он сказал, как зовут, я нерусские имена не умею запоминать. Говорил? Он к Светке приставал, говорил, что она ему понравилась, он к Светке не в первый раз подходит. Говорил: зачем ты меня обманула, тебя зовут не Марина. Сказал... город ему понравился, просил показать город... Я, говорит, поймаю машину, вы мне покажете. Нет, не согласились. Мы уходим, а он не отстает, прилип. Кое-как убежали. Потом Светка пошла к дяде Володе, а я поехала домой. Дядя Володя – это Демин, у него на рынке киоск, куда Светка, и верно, забежала частенько.

Расспрашивал Анатолий, Тамара Ивановна не вмешивалась. Она и слушала, казалось, вполуха, занятая пристальным и тяжелым изучением обстановки в этом жилье. Двухкомнатная квартира была запущенной, до последней бедности оставалось немного. Ржавые потеки с отставшей известью на потолке, когда-то зелененькие обои, выцветшие, померкшие, разлохмаченные в швах. Мать пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней стадии, есть еще куда падать. Продолжает обманываться, что устоит. Мать с дочерью не в ладах, доходит до крика, а потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспощадный отсчет времени. Большой рыжий кот трется о ноги, вычесывая шерсть, и просительно задирает голову, в глазах тоска...

– Все рассказала? – спросил Анатолий.

– Все. И тогда, уставив беспощадный взгляд на подружку дочери, Тамара Ивановна отчеканила:

– Вот что, милая. Ты рассказала... как ты рассказала – нам надо сейчас ехать в милицию и писать заявление. Светки-то нет, она пропала. Ты была последняя, кто ее видел. Дядя Володя внизу в машине, Светка к нему не приходила. Мы напишем заявление и еще до утра милиция приедет с допросом. Там другой разговор будет. Так что давай-ка дальше. Ты не все рассказала.

– Я все рассказала.

– Когда вы со Светкой разошлись?

– Не помню точно... часов в пять.

– А когда ты приехала домой?

Лидя молча вела какие-то подсчеты; мать ответила за нее:

– Часов в девять. – И сказала дочери без нажима: – Рассказывай, Лидия, затаскают.

Видно было, что девчонка струсилась, уже не только по губам, а по всему лицу стали прокатываться судороги, подсчеты подходили к тому концу, куда направляла их Тамара Ивановна.

– Вы вместе куда-то пошли или поехали? – наступала она.

– Поехали...

И рассказала, сначала под продолжающимися вопросами, а затем уже и без них, говоря и испуганно взглядывая на Тамару Ивановну, пугаясь ее вида и говоря уже с отчаянием, – рассказала подружка, что кавказец, узнав, что они продавцы без товара и ищут работу, предложил им поехать к своему двоюродному брату, тот ищет таких, как они, потому что ему надо срочно распродать большую партию китайских товаров. Они долго не соглашались, но парень настаивал, показал какой-то документ, говорил, что это недалеко и они скоро вернутся, у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Пока они раздумывали, он остановил машину, затолкал упирающихся девчонок и сказал шоферу, куда ехать. Ехать действительно было недалеко, на бульвар Постышева, в общежитие для малосемейных. В однокомнатной квартире был старик, он сразу ушел. Никакого брата не оказалось. Они просидели часа два, пили чай, парень предлагал вино. Но вино не пили. Всякий раз, когда они поднимались уходить, он кричал: "Придет! Придет!". Это он о брате. Потом стал говорить, что он знает, где брат, надо поехать к нему, тут тоже недалеко. Чтобы выбраться из этой квартиры, они согласились, хотели обмануть его. На машине ехать отказались, пошли на трамвай. Парень взял Светку под руку и не выпускал. На трамвайной остановке было много народу, но он все равно не выпускал, как она ни вырывалась. Там, на остановке, она от них, от этого кавказца, вцепившегося в Светку, сбежала. Ко всему была готова Тамара Ивановна, но все равно как топором ее оглушило. Анатолий расспрашивал, как найти это общежитие для малосемейных; девчонка, повторяя "визуально", "визуально", нравящееся ей, очевидно, звучанием, как и большинство чужих

слов, довольно толково рассказала, где оно и как отыскать квартиру. Возле общежития Тамара Ивановна и из машины выходить не стала, сидела, уставившись в темноту, дышала с подвисстом, как больная, и ничего, кроме затвердевшей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала. Чувствительность и боль нахлынули потом, когда, воротившись домой ни с чем, встала она в одиночестве возле кухонного окна под наплывающие и все жуткие, все обдирающие сердце картины того, что могло быть со Светкой.

* * *

Рядом, напротив прокуратуры, сжатый домами, был малозаметный проход во двор, и там, на задах ухоженной архитектуры, лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих сооружений неизвестного назначения: низких, вдавленных в землю, с плоским верхом, крытым то шифером, то толем, то ржавыми железными листами, где кирпичные, где деревянные, где с одним-двумя подслеповатыми окошками, где совсем без них, – все обветшавшее, скособоченное, вцепившееся друг в друга, чтобы не упасть. Тамара Ивановна заглянула сюда случайно, тычась в любой угол, в любую щель, лишь бы убить те короткие промежутки в десять-пятнадцать минут, которые она позволяла себе между проверками прокурорского кабинета. Возле глухой кирпичной стены одного из бесформенных сооружений, уныло обживших двор, стояли мусорные контейнеры, доверху набитые картонными коробками, за ними куча битого кирпича. "Вот тут и пристроиться, тут и дать ненадолго отдых ногам", – решила Тамара Ивановна. Возле мусора – это даже и хорошо, ее будут принимать за бомжиху, караулящую добычу. Этого ей и надо, на бомжих даже внимание обращать брезгуют. Она соорудила из кирпичей сиденье, подстелила сверху чистый лист картона и с пристомом опустилась, вытянув ноги и прикрывая ладонью от солнца глаза. "Вот и хорошо, вот и хорошо", – приласкивала она себя, чуть раскачиваясь и обирая этими осторожными движениями изнутри страха и неприятный едкий нагар, которым она, казалось, пропахла до самых печенок. Дверь прокуратуры отсюда не видна была, надо было подниматься и за десять шагов выходить на прямую обзорную линию. Так и придется делать, только такой отдых с подпрыгами она и может себе позволить.

Но гром рывкает так близко и с таким отчетливым вышним рыком, раздающимся прямо над соснами, что Тамара Ивановна едва не падает на колени. И прислушивается. Гром еще катит перед собою стукоток, перемещаясь вправо, где и туч нет, где солнце только теперь испускает из себя радужную маревую завесу, как вдруг невесть откуда, кажется, что сразу отовсюду, слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопящийся предостеречь:

– Томка-а-а-а!

Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно, и слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение. Ошеломленная, Тамара Ивановна замирает.

– Томка, воротись! Томка-а-а! – истошно зовет отец, и гром опять грозно гремит вослед его словам.

<...> Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменной земле деревьев с короткими верхушками и вразнобой торчащими ветками, еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя, когда Тамара Ивановна разомкнула глаза и огляделась. Не сразу вспомнила она, где оказалась. Сон был так тяжел и так липок, такой душной пеленой застелил он сознание, что и выдираться из него пришлось долго и мучительно, не понимая, откуда и куда выдираешься. Но когда наконец выдралась, когда с тяжелым вниманием огляделась и вспомнила, кто она и где она, в ужасе она давила себя так, приподняв и молотом опутив верхнюю часть туловища на нижнюю, что захрустели косточки. Шел четвертый час пополудни. Она проснулась в поту, больше часа плавилась под кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же, прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыни, не соединился ли он, как и гром небесный, еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком?

Она медленно поднялась со своих кирпичиков и вдруг рванулась в развороте: здесь. Сумка, остававшаяся за спиной все это

время, пока она спала, была на месте. Ее, спящую, уткнувшую голову в колени, должно быть, и верно приняли за бомжиху, утомленную лазаньем по городским свалкам. Схватив сумку и нащупав в ней знакомые очертания, Тамара Ивановна медленно, запретив себе торопиться и не веря уже ни в какую удачу, сделала те самые десять шагов, которые позволяли увидеть на противоположной стороне улицы дверное бельмо, – и увидела: возле двери толкуются трое или четверо кавказцев. Не помня себя, пересекла она улицу, расчетливо обошла с правой стороны, ближней к стене, кавказцев, убедившись, что ее парня среди них нет, отодвинула одного из них плечом, чтобы протиснуться и показать себе, что никого и ничего она не боится. Так же медленно, стараясь не сбиться с полусонной неповоротливости, обманывая ею себя и стараясь обмануть кого-то еще, поднялась в прокуратуру. Коридор был почти пуст, только в дальнем его конца маячили две фигуры. Дверь к прокурору закрыта и безмолвна. Тамара Ивановна с безжизненным спокойствием подала ее от себя и в образовавшуюся щель увидела: как раз там, возле самой двери справа, где только вчера сидела она сама, маясь в нетерпении, когда их с Анатолием примет прокурор, сидел теперь тот, кто и был ей нужен. В синей джинсовой куртке, с обросшим лицом и хищно опущенным носом, он стал поднимать глаза. Успели ли он их поднять и узнать ее, она не знала, но за дверью было по-прежнему тихо. Вот теперь все сжалось и напружинилось в ней до предела; казалось, еще мгновение, и она бы вырвалась из чего-то удерживающего и взвилась в воздух, но за это мгновение она успела поднять к груди сумку, на ощупь отыскать и приготовить в ней то, что было нужно, и выставленной вперед сумкой снова приоткрыть дверь. Теперь он узнал Тамару Ивановну, лицо его перекосилось то ли от брезгливости, то ли от ужаса. Сумка грохнула выстрелом. Тамаре Ивановне на всю жизнь запомнилось: парень, казалось, начал привставать, чтобы броситься на нее, но это грудь его приподнялась в последнем вздохе, и, прихватив ее рукой, он откинулся на спинку стула, тотчас оттолкнулся и медленно повалился вперед. Упав, он придавил дверь, за которой сидел конвоир, приведший его на "санкцию". Когда конвоиру удалось выскочить в коридор, там никого, кроме перепуганных посетителей в дальнем его конце, не было.

Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления

последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обоих. В кабинете был еще один человек, кавказец, он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами беспамятстве Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув: "А теперь меня спасайте!" – кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примеряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться.

Потом ее тронули за плечо – огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо и, подавая руку, сказал хрипловато, с неподдельным участием:

– Пойдем, милая!

Вопросы

1. Кто является главным героем повести?
2. Дать характеристику главной героине повести, подтверждая свои выводы примерами из текста.
3. Почему автор назвал свою книгу "Дочь Ивана, мать Ивана"?
4. Дайте характеристику всем членам семьи Воротниковых.
5. Какие языковые средства использует автор, рисуя образ своей героини?
6. Что подчеркивает автор, говоря о своей героине?
7. Что вынудило Тамару Ивановну пойти на убийство?
8. Что символизирует сон Тамары Ивановны и воспоминание об отце?
9. Как можно оценить поступок героини В. Распутина?
10. Что символизирует образ рынка в повести и территориальная близость его с органами власти и правосудия?
11. С каким героем русской классики ассоциируется судьба героини?



Родилась в 1953-м в Ташкенте, в семье художника и учительницы истории. Она дебютировала в журнале «Юность» в 70-е годы (рассказ «Беспокойная натура»), публиковалась в журнале «Огонек», «Новый мир», «Дружба народов», «Континент». Ее произведения переведены на пятнадцать языков мира: английский, французский, иврит, хинди, эстонский, польский и др. Дина Рубина – лауреат премии «Большая книга» за роман «На солнечной стороне улицы», врученной ей в 2007 году в «Доме Пащикова». В 2008 г. награждена премией Благотворительного фонда О. Табакова «за редкий по человечности и художественной точности рассказ «Адам и Марьям».

Пьесы Дины Рубиной ставились в Москве, Перми, Брянске. В Ташкенте в театре музыкальной комедии с большим успехом ставилась комедия «Чудесная дойра». В 1984 г. на «Узбекфильме» был снят фильм «Наши внук работает в милиции» по повести «Завтра как обычно».

Сегодня Дина Рубина – писатель известный и популярный в мировом масштабе, многочисленные сборники ее рассказов, повестей, романов издаются в России (Москве, Санкт-Петербурге), Польше, Америке, Израиле.

Печатается как прозаик с 1971: Когда же пойдет снег? Повести и рассказы. Ташкент, 1980; Дом за зеленой калиткой. Повести и рассказы. Ташкент, 1982; Отворите окно. Повести. Ташкент, изд-во им. Г. Гуляма, 1987. Выпустила кн. прозы: Один интеллигент уехал на дороге. Повести и рассказы. Иерусалим, «Verba», 1994; Вот идет Машиах! Роман. Иерусалим, 1996; Вот идет Мессия! Роман и повесть. – М.: Остожье, 1996; Последний кабан из лесов Понтеведра. Иерусалим, 1998; «Во вратах твоих». Повести и роман. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002; «Несколько торопливых слов любви». Рассказы, повести. – СПб.: Ретро, 2003; «Синдикат». Роман-комикс. – М.: ЭКСМО, 2004; «Ангел конвойный». Роман. Повести. Монологи. – М.: ЭКСМО, 2005; «На солнечной стороне улицы». Роман. – М.: ЭКСМО, 2006; «Почерк Леонардо». Роман. – М.: ЭКСМО, 2008; «Белая голубка Кордовы».

Роман. – М.: ЭКСМО, 2010; «Синдром петрушки». Роман. – М.: ЭКСМО, 2011.

Фрагменты из романа Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» печатаются по изданию: Дина Рубина «На солнечной стороне улицы». Роман. – М.: ЭКСМО, 2006.

Литература

1. Рубина Д. На солнечной стороне улицы: роман / Д.Рубина. – М.: ЭКСМО, 2006.
2. Блаус С. Картинки из жизни классика // Русская Германия. – 2007. – 31 декабря.
3. Жабский А. Человек сложнее электроники // Санкт-Петербургский курьер. – 2007.
4. Кочеткова Н. Я по натуре актриса // Известия. – 2005. – 18 августа.
5. Кац Р. Взгляд на современную русскую литературу // booknik.ru

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ

...Хадича, маленькая проворная женщина, подвязав с утра косынку седые жидкие косицы, целый день бесшумной юлой крутилась по утопанному, чисто выметенному дворику.

А Катя умирала...

Истощенный блокадным голодом желудок отторгал пищу. Девочка лежала на цветастых курпачах, расстеленных на балхане, и молча глядела в теплое узорное небо, сквозившее радужными снопиками сквозь листья чинар. Виноградные лозы оплетали деревянные столбы балханы. Настырный ветерок трепал на плоских крышах алые лепестки маков... Где – то во дворе с курлыкающим ровным звуком день и ночь вдоль дувала катился арык...

Саша сидел рядом, обхватив колени, – сутулый, мосластый, сам до нельзя худой, – и тихо плакал: он понимал, что Катя умирает и он остаётся один из Щегловых, совсем один, в этом бойком южном городе, среди чужих людей. Он никого к Кате не подпускал и всё разговаривал с ней, отворачиваясь и отирая слёзы рукавом рубашки.

– А потом, Катенька, мы поедem на острова, на лодке кататься. Помнишь, как первого мая, до войны? Нам тогда ещё двух лодок оказалось мало, тётя Наташа на берегу осталась... А Володька так перегнулся через борт – за твоим уплывшим шариком, – что мы чуть не перевернулись... помнишь? Я буду грести, а ты вот так сядешь на корме и руку опустишь в воду, а вода ласковая, теплая... Это обязательно будет, Катенька...

Хадича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что – то по-узбекски. Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока.

– Кизимка, бир пиалушка катык кушай, – озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу.

– Оставьте её... – угрюмо простонал Саша, – всё равно вырвет...

И тут лицо тихой Хадичи изменилось: она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу-сухофрукт.

Осторожно подложив ладонь под лёгкую Катину голову, приподняла её и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на довоенный кефир... послушно отхлебнула и потянулась – еще.

Хадича отняла пиалу, покачав головой: нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка...

На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю.

Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой, раздувал самовар, помогал у тандыра, – подметал двор, и бог знает что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых, тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных, ребятишек. Двое старших сыновей Хадичи постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта, муж давно умер.

Дня через три Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиной о подоткнутые Хадичой подушки, и глядела с тихим удивлением на

крикливые игры ее черноглазых детей. Говор ей был непонятен, а игры – понятны все...

С того военного лета этот город, эти узбекские дворики с теплой утоптанной землею, эти сквозистые кроны чинар, погруженные в глубину неба, означали для нее больше, чем просто – жизнь; все это было жизнью подаренной.

* * *

«...Это вы замечательно решили – писать роман о Ташкенте! Такой город не должен быть забыт... И, знаете, здорово придумано – собирать «голоса». Каждый такой голос – а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, – может вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню...

Я тут недавно набрел в Интернете на сайт под названием «Алайский»... и там перекличка наших земляков: «Кто учился в мужской средней школе им. Сталина, Хорезмская, 8, – откликнитесь!»... «Кто с Тезиковки, ребята, – отзовитесь!»... Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект: главпочтамт, например... – помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, что это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом то на одном, то на другом – они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере... Или, например, консерватория... или памятник в парке Тельмана... Так, значит, этот парень фотографирует за сущие копейки и присылает все-таки память... Очень удобно! Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура... кладбище, мечеть... Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы – религиозного поста. Да, Шейхантаур... это был город в городе, знаете... Такой Багдад: путанный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов... А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху – балхана... Не знаете? Ну как бы объяснить вам... это балкон – не балкон... не антресоль... а нечто вроде пристройки наверху... так что дом тогда казался двухэтажным... А крыши... они земляными были, поэтому

весной на них проросла трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком...

По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу... бросали на него множество курпачей – небольших, простеганных вручную, ватных одеял. От них всегда пахло прелым человеческим душком, стирать их не стирали, а вывешивали на солнце – сушили, проветривали... На айва не спали, принимали гостей, чай распивали... От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял...

Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной, печь – тандыр, в ней пекли лепешки, самсу... дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно, он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам... Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает, – круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посередке у нее вдавленный такой, жесткий, хрусткий пятачок, за который можно душу дьяволу продать! И от нее волна горячего запаха... как бы это объяснить... материнского запаха, знаете... вот, слов не хватает!.. Да мир на этом запахе стоит!

А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики, печки – не помню принцип, по которому они работали, врать не стану... а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло... Было замечательно! А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, посездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу... Берется старое ведро и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила...

Да, так, Шейхантаур... там все было свое – парикмахерские, школы, Юридический институт, зубоветеринарный кабинет, рынок... Даже кинофабрика – в ней еще немые фильмы снимались! И все жили скопом, как в кучу наваленные... По соседним дворам у нас много лежало раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи... Во время войны эвакуированные жили даже в

мечети, позже она была складом, а с возрождением национальной независимости... но этого я уже не знаю, это уже не при мне...

Ну и чайханы на каждом шагу... Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках... и весь день пьют чай, потеют... – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня... Вековые народные традиции – так спасаются от жары... Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему – анаши... Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.

Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент – взглянуть на свою первую школу... Ничего не узнал! Все перестроили; вместо милых ташкентских особнячков – какие-то циклопические сооружения псевдо – мавританского шика: купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем... Идешь к такому издали, думаешь – ну, это, наверное... парламент? Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций... Театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, выясняется: какой-нибудь Дом моделей.

А от Шейхантаура, моего Шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей «стезей» уличной можно бы, наверное, обернуть экватор... – от Шейхантаура осталась только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда – в город, которого нет больше ни на одной карте...».

* * *

... – Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам?

– Так, иногда... если голодная на ночь лягу... А ты к чему спрашиваешь, я для тебя тоже – «голос в романе»?

– Почему бы и нет. Ты ведь не чужая этому городу...

– Знаешь, что снится? Наша студенческая столовка возле Воскресенского базара... как я мухлюю там с талонами!

– Как это – мухлюешь?

– А так, на них на каждом стояла дата, проставленная карандашом. Надо было стереть ее резинкой и встать в другое окошко.

– Тогда можно было взять вторую порцию? А чем кормили?

– Да там только одно блюдо и было в меню: затируха. Не суп и не каша... а жидкая бурда на муке... ты должен был являться со своей миской и своей ложкой, тебе наливали порцию... Причем к этой столовке прикреплены были и студенты, и профессорский состав. У меня однажды случай смешной произошел... Я случайно поменялась портфелями (они одинаковые были, клеенчатые) со знаменитым московским профессором по фамилии Хайтун, он читал у нас курс истории древних веков по собственному учебнику. Сам Хайтун был страшно уродлив, но необыкновенно остроумен. Помню, впервые войдя в аудиторию, сказал: заниматься будем по моему учебнику с моим портретом – и поднял его над головой: на обложке был нарисован неандерталец. Так вот, я, понимаешь, сидела за первым столом, чтобы не заснуть после заводского дежурства. Наши портфели лежали рядом. Прозвенел звонок, он схватил мой и Пошел. Я вспомнила – что там у меня в портфеле... чуть со стыда не умерла... Догоняю его в коридоре, говорю: «Профессор, вы по ошибке взяли мой портфель!» Он ахнул, мы обменялись своими клеенчатыми кошелками... и я, осмелев, говорю: «Мне ужасно стыдно: если б вы его открыли, то обнаружили бы только миску и ложку для «затирухи»! Он расхохотался, и в ответ мне: «Дитя мое, если бы вы открыли мой, то увидели бы то же самое»...

Они, бедные, голодали пуще нашего. Особенно зимами. А я тебе рассказывала, какие страшные зимы на войну выпали? Университет не отапливался... Боже, в каких обмотках и тряпье они ходили, наши профессора! Была преподавательница одноногая, она курила, ее мальчики наши угощали «Беломором»... – так одна из дур на курсе, с обмороженными ногами, как-то сказала ей: «Вам хорошо, у вас только одна нога!»... И еще преподавательница Московского университета – Кирова, Кира Эммануиловна – вот надо же, помню! – жутко была одета... Она эвакуировалась в одночасье, – понимаешь, времени не было собраться. Так и ходила – в митенках разного цвета, чулки и носки разные... Но! Входила в аудиторию и начинала лекцию с того слова, которым закончила предыдущую!.. Бедняги, они совсем доходили... Не могли же они, как мы, подрабатывать... Вот я – отлично жила!

– Отлично?! Ты говорила, что подвязывала веревками картонные подошвы туфель.

– Ну и что? Ну и подвязывала! Но я ж на заводе еще 800 граммов хлеба получала, шутка ли? Я его продавала и ходила на спектакли. Знаешь, какая театральная жизнь была в военном Ташкенте!

– Что за спектакли?

– Ну, разные... В ГОСЕТе, например, шли «Тевье-молочник», «Фрейлахс» с Михозлсом и Зускиным... Помню, рядом сидели какие-то офицеры, вовсе не евреи, – в Ташкент же было эвакуировано несколько военных академий, – ничего на идиш не понимали. Услышали, что я гогочу, сели вокруг и потребовали, чтобы я переводила... ну, я и переводила весь спектакль... Не знаю – то ли время было такое, военное, то ли нравы почище, но только мы что-то не слышали о каких-то бытовых преступлениях... Я после спектаклей всегда шла пешком до общежития...

– А где было общежитие?

– На Лобзаке, по десятому трамваю... Общежитие, кстати, тоже всю войну не отапливалось. Мы как согревались? Сдвигали по две кровати, укладывались вместе по трое девчонок и накрывались тремя одеялами... Эх, а какой мы однажды устроили картофельный бал! Картошка была недостижимой мечтой, 50 рублей кило. И мы сбросились со стипендии, – целый месяц мечтали, копили! – купили картошки, наварили ее, и... обожрались, как целый полк Гаргантюа – до отвала! И все, как одна, блевали потом всю ночь... Организм, понимаешь, отвык от такой еды... Хотя вот, знаешь, что у нас варили в заводской столовой? Черепаший суп! Столовую можно было опознать по горе панцирей на заднем дворе... Целые грузовики черепах гнали из Голодной степи... Мы сначала поежились, не знали, что это французский деликатес... Потом – ничего, особенно когда постоишь на морозе на посту, на Вышке... А морозы по ночам до 30-ти градусов доходили... За счет чего еще держались, хотя и не подозревали о полезности: на улице Навои сидели в ряд узбечки, продавали орехи. Мисочка – рубль. В нее штук десять орехов входило. А еще покупали в «дорихонс», в аптеке, бутылку сладкой жижи, тягучей, как смола, называлась «Холосас». Вытяжка из шиповника. И пили так чай: положишь три ложки в стакан – вкусно! Понятия не имели: витамины, калорийность, то, се... но именно это помогало выжить... Мы и на хлопок первое время ездили с большой охотой. Еще бы – в день полагались на рыло три лепешки и похлебка! Еду узбеки готовили, казалось бы

– что там в этой похлебке, а – пальчики оближешь! С нами и профессора выезжали. Помню, профессор Сарымсаков – ректор наш, математик, крупный ученый, входил в студенческий барак утром – огромный фартук на брюхе, лицо и руки сажей перемазаны – и кричал: – «Самовара подана!»... Понимасшь, мы были молоды, такая вот банальность... Сейчас я себе представить не могу, как зимой, бывало, в телогрейке стояла с винтовкой на вышке...

– Погоди. а ты же говорила, что работала в цеху, обтачивала корпуса для мин...

– Это уже потом, по благу меня устроили. Понимасшь, однажды мерзавец-нарядчик забыл меня сменить, и я на морозе четыре часа проторчала на вышке. Но ведь не уйдешь, нельзя... и я доковыляла до цеха утром, на рассвете, – стою, плачу, пальцы обморожены, не разгибаются... Меня увидел замначальника 2-го цеха, подозвал, разговорился со мной (оказывается, я ему напомнила его девушку, которую он потерял, не спрашивала уж – как)... ну и поставил меня на станок... Там многие работали, второй цех был большой. Дети несовершеннолетние тоже... Некоторым приспавляли ящики, чтоб до станка доставали... У меня были ночные смены.

– Постой, днем – университет, ночами – завод... Когда же ты спала?

– Ну, это уж как где прихватишь... У меня в жизни самый сладкий сон знаешь когда был? С четырех до пяти утра. Это самое страшное время, когда можно задремать и угодить непароком в станок. Мы по очереди ходили спать в туалет, он отапливался... Сядешь вот так, прямо на цементный пол, коленки обхватишь, к стенке спиной привалишься и минут двадцать дремлешь... Это и есть самый сладкий сон на свете... Подобного уже никогда в жизни не было... Так и напиши в своем романе...»

* * *

Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца – музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бидонов выпевал густой голос молочницы: «Моль-лё-коу! Кислий – пресний мол-лё-ко-у!»... Ей вторил голос другой, помоложе: «Кисляймляка! Кисляймляка!»... Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения: «Сухойхлэбесь?» –

сухой хлеб они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы ссыпали корки и горбушки, если же хлеба не было, так же бесстрастно переходили к другой калитке.

Чуть позже раздавалось шарканье галош: и зычный голос старьевщика раскатывал-разворачивал: «Шар-ра-бар-ра пакпайм! Ста-а-арий вэшшш!» Дважды в неделю, запряженная полудохлой клячей, в переулок въезжала колымага, и престарелый герольд в телогрейке, провонявшей керосином, поднимал свой жестяной рупор: «Кар-ра-сы-ыип!», – вздымая интонацию в середине слова соответственно наклону самого рупора...

Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть странствующие стекольщик или точильщик – каждый со своей поклажей: всплеск солнца, стекающего с плеча на землю по квадрату стекла; огненный пересверк и брызги фиолетовых искр с лезвия точимого ножа...

Эмалевый блеск высокого неба в кронах платанов и тополей.

Ближе к вечеру, мягко озаренный уходящим светом, приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом: «Джя-аренный кок-руз!» – и дети разбегались выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жареной кукурузы...

А спустя несколько лет над этими разрозненными звуками, голосами, припевками, певучими зазывами, высоко распахнется, блаженно их накрывая, беспредельный ангельский шатер «Джа – ама -а -а -а -ай -ки!» ...

* * *

– ...Мам, а ты послевоенный Ташкент хорошо помнишь?

– Спрашиваешь!..

– ...а как одевались, что было в моде, прически, танцы – шманцы?

– А как же, помню, конечно! В те годь! вся жизнь В Ташкенте проходила на улице. Особенно по вечерам, особенно в теплое время года... Неторопливо так прогуливались по центральной, Карла Маркса, пары и компании; мужчины выходили в льняных белых брюках – клеш, дамы – под китайскими зонтиками... Как раз снесли Воскресенский базар – его еще называли в народе «Пьян-базар», – действительно средоточие всякой пьяни, и начали строить театр

оперы и балета имени Навои – ты его хорошо помнишь? Имперского величия здание! Архитектор – Щусев, тот самый, автор Мавзолея... Строили его пленные немцы и японцы, причем пленные немцы ходили без конвоя, а пленные японцы – под конвоем. Кстати, один из прорабов, наш сосед, посмеиваясь, говорил, что японцы возмущаются качеством строительства и материалов, чуть ли не с ужасом говорят: «это здание не простоит и двухсот лет!»

– Слушай, а что носили в то время?

– Девушки – легкие платья из крепдешина, креп – жержета, набивного шелка и ситца... А, да, еще были в моде шелковые юбки фасона «солнце», С подтяжками, и платья фасона «кимono», под горло, С открытыми руками, ну, и надставные плечи, так, чтобы к ушам задирались...

– А душились чем?

– Смотря – кто... Я, по бедности, – духами «ландыш». «Огни Москвы» были очень популярны, но подороже, шли в синем таком флаконе. Позже появились «Красная Москва», «Красный мак», «Пиковая дама»...

– А косметика? Прически?

– Тогда не было принято... девушки не красились... Замужние, те могли пройти по носу пудрой «Лисбедь белая», ну, губы тронуть помадой... А прически... Многие зачесывали волосы наверх, да еще запихивали их в какую-то сеточку, это очень старило...

Да, так – улица Карла Маркса... На ней всех знакомых можно было встретить; останавливались, обсуждали новости, сидели на скамейках вдоль бульвара – крепкие такие скамейки с приземистыми чугунными ножками, с выгнутыми спинками... Тут же зарождались и рушились романы, вспыхивали семейные сцены, в Сквере собирался кружок болельщиков футбола, оттуда несло оживленное обсуждение очередного матча: спортивные термины перемешку с матом.

– А танцы – шманцы?

– Ну, в ОДО, в Окружном Доме Офицеров, трижды в неделю работала танцплощадка – в среду, в субботу и воскресенье, с 9 утра до позднего вечера... Плати рубль и танцуй себе, сколько влезет – танго, фокстроты, вальсы... Ты что, не помнишь парк при ОДО? Он огромным был, очень зеленым, с экзотическими растениями, розарием, клумбами...

– Там ведь и летний кинотеатр был, и эстрадные артисты с концертами выступали? ...

– ...А по вечерам у входа в парк играл духовой оркестр ОДО. Обстановка была страшно романтичная: звездное, прекрасное ташкентское небо, все напоено влюбленностью... Замечательная музыка издалека кружила, – например, вальсе «На сопках Манчжурии»... Так молодёжь зазывалась в парк: офицеры, солдаты, студенты... Понимаешь, время еще было довольно тяжелым, те, кто вернулся с фронта, – наше поколение. – учились, работали, все еще недоедали и недосыпали... но как-то все же по-своему были счастливы. Многие были уверены, что мы живем в самой прекрасной стране, которая победила мировое зло фашизма, ну и так далее...

– А вы что, все идейные были?

– Как тебе сказать... Те, кто умел думать, обобщать... да просто – видеть, понимаешь, просто видеть – это ведь тоже надо уметь... Например, судьба Нины Закржевской, моей сокурницы: ее отца – он был начальником Среднеазиатской железной дороги – арестовали в тридцать седьмом и сразу расстреляли. А мать взяли через месяц. Остались девочки – Нина, ей было двенадцать, и старшая Наташа, четырнадцать лет. От них шарахнулись все родственники, за свои шкуры испугались. Квартиру отобрали, девочки оказались на улице... Взяла их к себе узбечка, молочница. И сестры прожили у нее на балхане год, пока Наташа не пошла работать. Она и Нину вытащила, заставила поступать в университет... А мать их нашла, еще когда сидела. Выжила знаешь за счет чего? Она закончила Бестужевские курсы, а бестужевки учили стенографию. Так что в лагере она оказалась единственной стенографисткой. Этим поддонкам, лагерному начальству, надо было стенографировать все их сходки. Так вот, она выжила благодаря стенографии... Смешной в этой истории эпизод: старшая ее дочь, Наташа, вышла замуж за хорошего парня. Ну и зять написал незнакомой своей, заочной лагерной теще письмо – как, мол, любит ее дочь и все силы приложит... И так далее.. В ответ мать присылает настоящий разнос: «Наташа! Обращаю твое внимание на то, что в письме, твоего мужа допущены две синтаксические ошибки! Это недопустимо! Поработай с ним!»... А освободилась она, когда мы учились на четвертом курсе... И это тоже, скажу тебе, история... Она просто написала дочерям, что, мол, скоро приеду... но не назвала точной даты. Когда

поезд подъезжал к Ташкенту, продала на какой-то станции пальто и на эти деньги – прямо на вокзальной площади зашла в парикмахерскую, сделала завивку, маникюр... И только тогда поехала к дочерям. А?!

– Вот это женщина!

– ...а на другой день мы, сокурсницы Нины, купили огромный букет бульдонежей, помнишь, белые такие шары-цветы, весной продавались в ведрах на каждом углу... и пошли к ней с цветами...

– ...ну, это, знаешь, тоже поступок нехилый...

– Да нет, в Ташкенте как-то было... легче жить... Мы меньше боялись... Может, солнца было много, а в нем ведь, как теперь выясняется – серотонин содержится, да? – ну, тот гормон, что лечит страх, облегчает сердце... Так вот, это Солнце, эти платаны в парке ОДО... листья величиной с тарелку... музыка танго...

– Мам, а под что еще вы танцевали?

– Под «Брызги шампанского», «Утомленное солнце», «Дождь идет»... Под «Рио-Риту»... Еще пели: «Если любишь – приди, если хочешь – найди, этот день не пройдет без следа, если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда»... А заканчивался вечер танцев таким фокстротом, он назывался «Вышибальный – по блату». Никто не знал его настоящих слов. Кто-то из пошляков сочинил что-то эдакое: «По блату, по блату, сестра пульнула брату, а мама адвокату, и все пошло по блату. А папа сердится и все ворчит, а мама лыбится и все молчит»... Такую вот белиберду напевали себе под нос в заключение вечера...

– А я помню, у соседей была радиола и футляр всеюм, там лежали пластинки...

– ...ну, ты-то все время пела! Уже в три года ты исполняла «Бэса мэ мучо» очень музыкально...

– А еще, помню, однажды вы взяли меня на последний сеанс в летний кинотеатр при ОДО, на фильм... – не помню названия... – там играла страшно популярная Симона Синьоре!..

– «Путь в высшее общество» назывался... Да, были сумасшедшие очереди, с милицией... А ты что, правда все это помнишь?

– ...еще помню фильм с концертом Ива Монтана; я сидела между вами на длинной скамейке, болтала ногами и, задрав голову в открытое небо с обалденными звездами, слушала, как он поет эту, твою любимую – «Опавшие листья»...

– О-о, да-а-а... «Листья летя-ат, сад облета-ая, низко к земле-е прислонился ду-уб...

– «...слова любви не замира-ают, они готовы сорвать-ся с губ»...

* * *

«...О Ташкенте? Погодите... Вы меня врасплох застали... Да и странно, ей-богу, там ведь полжизни моей прошло, как я могу – В двух словах? Давайте я напишу, ладно? Я сочинения в школе писала неплохо, даже учительница зачитывала. И потом, это мысли организует... Ну, и все-таки я какой – никакой издатель, пусть маленького, частного, как говорят здесь русскоязычного, но уже много лет выживающего издательства... Так что: ..Лично Я родилась в самом центре Ташкента.

Когда расширили Аллею парадов, местную Красную площадь, мой роддом снесли и поставили на этом месте памятник Ленину. Потом, уже после моего отъезда в Израиль, свежие ветра политических перемен смели и памятник...

Жили мы на маленькой улице Северной, недалеко от Театрально-художественного института. Архитектурой эти окрестности не блистали: дома – глиняные мазанки... Но было какое – то обаяние в нашей улочке, укрытой зеленью, тихо звенящей арыками...

На плоских крышах спали в жару целыми семьями... А на исходе лета пацаны поднимались на крыши – собирать виноград с тех плетей, которые туда взобрались... Самым вкусным было получить полуподсохшую кисточку уже заизюмившегося винограда из рук сборщиков.

А вообще фруктовые деревья сажались не только во дворах. На улицах тоже высаживали вишневые, урюковые, миндальные или сливовые деревца. Особенно красиво было весной, когда все цвело белым, розовым, лиловым цветом, и осенью было красиво: повсюду красно-желтые листья шуршат... Дворники сметали их в кучи и разжигали на рассвете костры...

Но главная особенность ташкентских улиц – чего ни в одном городе я больше не встречала – это арыки. Они разделяли проезжую часть и тротуар. На центральных улицах их бетонировали, а на всех других – просто бежала вода в глиняных бережках. И поливали улицу этой водой, и прохлады от нее шла. И конечно, в ней играли дети. В жаркий летний день подоткнешь юбку или зака-

таешь штаны выше колен – и броди босиком по прохладной воде сколько влезет. А еще в арыке можно было набрать глины и поиграть в тулай – это лепешка из влажной глины, ее бросали о тротуар. Если в твоём туляе возникла дырка, можно отщипнуть кусок от соседского и дырку заделать. У кого в итоге получался самый большой тулай, Тот и побеждал.

...Вспоминаю наших соседей – кто на этой маленькой улице только не жил, кого там только не было: по официальной переписи населения в Ташкенте обитали девяносто восемь наций и народностей! Стихийный интернационал, «Ноев ковчег»... Удивить кого-то тем, что ты армянин, айсор, еврей, грек, татарин, уйгур или кореец, было трудно.

Молочница, носившая нам козье молоко, была украинкой. К ней однажды приехала в гости дочь с маленьким ребенком. Еврейка бы тут же заявила, что это лучшее дитя на свете. А украинка выразилась откровенно: «Ой, Лыду, яке ж воно в тэбэ дурнэ!» Стоявшие рядом узбечки тут же закачали головами и сказали, что ребенок выправится. «А я говорю – дурнэ!» припечатала бабушка.

Как-то мы общались на всех языках понемножку. До сих пор помню, как с соседкой, татаркой по имени Венера, мы убегали от здорового гусака и во все горло кричали по-татарски: «Ани! Карагын!» («Бабушка! Погляди!») Иногда меня «подкидывали» на вечер соседке, узбечке Каят. Та только посмеивалась: «Менга барабир – олтигами бола, еттигами!» («Мне все равно – шесть детей или семь!») Несколько фраз каждый из нас знал на фарси, идишскими ругательствами щеголяли на улице с особым шиком; выражение – «Шоб тоби, бисова дытына!» тоже вошло в мой лексикон с детства. В общем, те еще были полиглоты...

Евреи о политике при детях старались не говорить («Ша, здесь ребёнок!»). А греки-политэмигранты о политике могли говорить везде и всегда. Если два грека вцеплялись друг другу в лацканы пиджаков и громко кричали, это не значило, что один оскорбил другого. Это так они говорили «при политики» (о политике). Им было хуже: дети греков понимали все, о чем говорят родители. А еврейские бабушки и мамы для конспирации перешодили на идиш. Из чистой вредности я выучилась кое – что понимать. Во всяком случае, когда однажды бабушка принялась мыть косточки соседке Гале (мне было лет тринадцать): «Са ене Галька! Зи шлофт мит

цвей мужчине!», я с лукавым удовольствием поправила: «Бабуля, мит цвей менчн!» – «А ты откуда знаешь?»...

И уж евреи в Ташкенте были всех мастей: ашкеназские, бухарские, горские, крымские. Моя подружка, «крымчачка» Хана, спросила однажды: «А вы какие евреи? Русские?» – «Да, а что?» – «Вы русские, а мы – настоящие». – «Так и мы не игрушечные!» – я никогда не оставляла за кем-то последнего слова.

Когда мною овладевала охота к поездке в трамвае, я начинала канючить: «Бабуль, поехали на Воскресенский!» Так коренные ташкентцы называли место, где когда-то был Воскресенский базар (около Воскресенской церкви, в здании которой разместился кукольный театр). На площади уже давно бил фонтан в форме хлопковой коробочки, и стоял построенный пленными японцами по проекту Щусева театр оперы и балета имени Алишера Навои, а старое название еще жило.

Чего только не было там, на Воскресенском! Петушки на палочках! Разноцветные блестящие прыгучие шарики на резинке! Вертушки! Соленый и сладкий миндаль в фунтиках! Можно было обойти фонтан кругом, по барьеру, держась за бабушкину руку. Можно было опустить руки в воду и брызгаться. А чтение афиш чего стоило! – «Бабуль, кто такая Баядера?» – «Это не из нашей жизни!»

Однажды моя бабушка – она всегда и всех жалела – подобрала на улице беспризорную бабульку, которая ушла от собственной дочери. Потом конфликт с детьми (опять же стараниями бабушки) был улажен, но какое-то время Зинаида Антоновна жила у нас. Оказалась выпускницей Смольного института и взялась прививать мне хорошие манеры. Это было необычайно забавно! Реверанс делать я выучилась с легкостью. А однажды, когда вернулась с улицы в перемазанных глиной трусах, она нахмурилась и послала меня немедленно помыться и переодеться: «Деточка, запомни: у дамы белье должно быть, как для свидания в Версале!» Что такое свидание, а тем более Версаль, я спрашивать не стала, но фразу эту запомнила на всю жизнь.

Еще более причудливый тип представляла собой наша соседка в доме напротив – Вера Ильинична. Ее муж работал парикмахером, а она вела дом – пироги пекла чуть ли не каждый день. Половину готового пирога делила на кусочки и разносила соседям, умоляя попробовать: на блюде – салфеточка, на салфетке – кусочек пи-

рога. После землетрясения сын увез ее, уже овдовевшую, в Москву. И представляете? – она пыталась угощать своими пирогами угрюмых и замкнутых москвичей, жителей одной из многоэтажных башен на Проспекте Вернадского: звонила в дверь соседской квартиры и стояла на пороге: на блюде – салфеточка, на салфетке – кусочек пирога. На нее, смотрели как на безумную. Но никакие утешения сына, что в Москве так не принято, не помогали: соседей надо угощать.

Жили на нашей улице и узбеки.

Участковый милиционер Гафуров обитал неподалеку в своем каменном доме, и как не выглянешь на улицу, – на рассвете или в сумерках, – он идет походкой хозяина то по одной, то по другой стороне...

Напротив жила семья профессора Аскарова. Сам профессор к тому времени сбежал к молоденькой аспирантке, а его первая жена Каромат Исламовна с кучей детей остались в доме. Приходила к нам красавица Каромат, садилась на крыльцо, обмахивалась подолом широкого узбекского платья из хан-атласа, демонстрируя цветные шальвары, жаловалась бабушке на жизнь: «Полина Семеновна, как мне всё это надоелся!»

Вообще взаимоотношения с узбеками были у нас в те времена самые душевные. Помню свою старшую сестру, одетую в узбекское платье с бархатной жилеткой, – она на утреннике должна была танцевать узбекский танец. А я обожала надеть платье с карманами и в праздник Навруз ходить с узбечатами по домам – песни петь, получая за это что-нибудь сладкое.

Или зайдешь к соседке, чтобы позвать ее дочку играть на улице, а она тебе – кусок лепешки в руки, или изюма горсть, или орехов. Или слышишь: «Чой ичамиз!» («Чаю попьем!») Гостеприимство – один из важнейших законов узбекской жизни. И в нас, в европейцев, или, как говорил один папин сослуживец – «колониальных белых», – это тоже с годами въелось, так что стало общеташкентским стилем жизни.

Однажды посадили меня соседи за большой дастархан, плов есть. А я возьми да и попроси ложку. Моя подружка Насиба рассердилась: «Ты что, плов есть не умеешь?» Плов полагалось есть руками, сложив пальцы горстью и подгребая помаленьку к себе. Освоить это искусство – не ронять ни рисинки – было не так-то

просто, но необходимо: вдруг позовут на свадьбу или на угил-той – обрезание, а ты плов есть не умеешь! И брезгливость надо отбросить за ненадобностью, если хозяин решил угостить тебя со своей собственной руки. Как говорил наш сосед, дядя Рахматулла: «Кизимкя, кушай, мусульманский рукачи-и-истий!»

Хотя ради справедливости надо заметить, что восточная гибкость, какая-то восхитительная приемистость к перемене обстоятельств у мусульманских наших соседей поражала уже и тогда, когда этот советский интернационал казался самым прекрасным, незыблемым и единственно верным образом жизни. Одно из наших семейных преданий рассказывает, что в свое время, в 1952 году, когда Сталиным готовилось выселение евреев на Дальний Восток, к нам ночью через дувал перебралась соседка и пыталась выторговать у бабушки дом: «Полина, тебе вигонят и ни копейка денги не дадут. Лучше продай!»

А в хрущевские времена у тех же дувалов паслись бесхозные ослики. Вышел такой идиотский указ – запрет на содержание крупного скота в городских домах. Что делать? Коров прирезали, а ишаков куда? Просто повыгоняли...

Переломным моментом в истории Ташкента стало землетрясение 1966 года. Многие рассказывают, что были трещины в земле. – такого не припомню. А вот как гудела земля перед толчком – помню отчетливо. Бабушка, перед тем как выскочить во двор, аккуратно застелила кровать, и это годы спустя вспоминали в семье с неизменной улыбкой.

Говорили, что не такие уж тотальные были разрушения, чтобы с лица земли весь город снести, но, видно, где-то там, «наверху», решили сделать из землетрясения образцово-показательное мероприятие, апофеоз дружбы народов. не понимая, что настоящая дружба народов – это и было то золотое равновесие, которое являл старый Ташкент, великий Носв ковчег, в котором ругались, любили, дрались, воровали и праздновали – каждый свои, а заодно и чужие – праздники, и пыл он себе в океане вечности, рассекая волны; плыл, неся на своих палубах всю свою живность, всех чистых и нечистых, равных и неравных, а главное, всех, кому в нем было хорошо и кто не помышлял покинуть его, палимые зноем, палубы...

Ну и навалились всей страной.

Целые кварталы типовых застроек вырастали на пустырях за считанные месяцы. В центре города поставили бронзовый памятник:

мускулистый мужчина в тюбетейке, а за его спиной женщина с ребенком. Он протягивает руку жестом, как бы ограждающим от беды, но слишком уж похожим на отталкивающий.

Сей монумент тут же прозвали: «Памятник отцу-алиментщику».

А к другому памятнику – Юрию Гагарину в одноименном сквере – сочинили эпиграмму: «Тебе, Ташкент, Москвой подарен огромный хрен, на ём – Гагарин». Так-то: нам, ташкентцам, палец в рот не клади! Наш сосед дядя Гриша сходил посмотреть на этот памятник и вернулся недовольный: «Это ж безовкусица!»

Конечно, наша жизнь была не такой идиллической, какой изда- лека вспоминается. Молодые узбеки пытались приставать практи- чески к любой «европейской» девушке. Пойти, скажем, на ежегод- ный карнавал можно было только в большой компании, одной – ни в коем случае, замучают приставаниями. Вообще, в Ташкенте были места, куда женщине лучше было не соваться. В частности, в чай- хану – это была мужская вотчина. В чайхане не только ели и пили чай. Там и травку покуривали... – вился, вился запашок, отпугивая чужих, – кого, может, и тянуло заглянуть в чайхану, выпить зеле- ного чаю в жаркий день.

В чайхане, кстати, часто устраивали состязания острословов – «аскию». Один смешное слово скажет, другой подхватит – и все хохочут. А хохотали узбеки так смачно, что непривычные люди на улицах вздрагивали. Высмеять, подшутить это было в народных традициях, обижаться при этом не полагалось, надо просто немед- ленно отбрызнуть задиру ответной шуткой. Словом, что-то вроде кавэ- эновской разминки, только без тридцати секунд на обдумывание.

Недавно я вспоминала свои детские книжки издательства «Юлдуз»: герои русских сказок там были уморительно похожи на узбеков. До сих пор помню скуластую Марью – царевну с бровями «чайкой» и слегка раскосыми глазами...

Мне часто Ташкент снится: платаны, карагачи, тополя... воздух его, вкусная вода... Светает, смеркается... – участковый милиционер Гафуров идет по улице...

И все снятся и снятся эти розовые корни деревьев, шепот ары- ков, нежный шелк струящихся в воде водорослей...

Наверное, человеку свойственна привязанность к местам своего детства и юности... Может, потому, что в них, как в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой образ в те годы, когда ты был

счастливы... А если и зеркала того уже нет? Если исчезли с лица земли те улицы и здания, деревья и люди, которые тебя помнили? Это неправильно, знаете... Города должны жить долго – дольше, чем люди. Они должны меняться постепенно и величаво, строиться основательно и не наспех, улицы и площади называться раз и навсегда, памятники – стоять незыблемо... Это плохо, когда человеческая память переживает память города, да еще такого обаятельного и милосердного города, каким был Ташкент, который всех нас берег и хранил, а вот мы его – не сохранили...»

...Если долго ходить вдоль рядов и смотреть на еду, узбеки угощают. Узбеки добрые. Отрезают липкий жгут-косицу от бруса сушеной дыни или гроздку винограда оторвут и протянут: «Ай, чиройли кизимкя!...»

С некоторыми обитателям Алайского она уже была хорошо знакома. Слева от главных ворот сидел мастер Хикмат, чинил расколотую фаянсовую посуду. Вера стояла рядом минут по двадцать, смотрела, как с помощью ручного привода в виде древнего лука и сверлышка, вокруг которого петелькой обернута тетива, он сверлит в черепке дырочки, а затем скрепками их соединяет. Чашки, блюда, чайники возрождались к новой жизни, в этом были и справедливость, и доброта...

В сторонке у забора сидела на складной холщовой табуретке старуха – продавала нитки, гребешки, мотки бельевой резинки, а также всякий причудливый хлам, который все же находил свой спрос и был предметом постоянной Веркиной тревоги: среди старых открыток она давно приглядела себе две: на одной, блекло-серой, неуловимо нежной, и спутанной по настроению, мчалась карета с невидимой и загадочной девушкой внутри. Почему девушкой? Тонкая рука высывалась из распахнутой дверцы, то ли пытаясь остановить карету, то ли подавая кому-то знак...

На другой открытке сидел волоокий красавец со свисающей с кресла кистью прекрасной руки... Верка боялась, что кто-то опередит ее и купит эти старые открытки, и тогда все пропало. (Что же пропало? – удивлялась она самой себе, и не могла ответить. Желания, почти все ее желания, в то время были настолько сильны, что смириться с любой потерей, любым недостижением желания было невыносимо...)

Каждое утро блеская, с измученным лицом женщина приводила и усаживала под старым дубом, изобильно плодоносящим патрона-

ми крупных желудей, своего слепого и одноногого, вечно пьяного мужа. На плече его сидела птица – ворон, Илья Иванович, гадатель, источник благосостояния семьи. Мужик с утра был уже выпимши, но при нем всегда находилась бутылка, и в течение дня он на ощупь наливал себе водки в граненый грязный стакан, опрокидывал его, и с новой, возроденной силой, сипло кричал:

– Кто в судьбу свою заглядывать желает –

Па – адхади, Илья Иванович гадает!

или:

– Тебе счастье или горе ожидают?

Па – адхади, Илья Иванович гадает!

Были в его поэтическом арсенале еще несколько версий, сменявших друг друга в течение дня.

В полуденное время инвалид засыпал, открыв рот и опершись спиной о ствол дуба. Его храп перекрывал даже зазывные вопли торговцев дынями. В эти минуты Илья Иванович, привязанный шпагатом за лапку к единственной, в пыльном хромовом сапоге, ноге Хозяина, бродил вокруг ствола по убитой растрескавшейся земле и клевал лакированные панцири желудей, удивленно отпрыгивая, если какой-нибудь высоко подскакивал от удара клювом.

Если кто доверчивый и рискованный все же подходил, не жалея десяти копеек, ворон нырял клювом в корзинку со скатанными в трубочку записками и доставал одну – там какое – нибудь счастье обязательно обещалось: «сакровище пиратов», например, «каварная любовь прекрасной половины» – это на всякий случай, для любого пола...

Довольно часто своей судьбой интересовался айсор Кокнар из сапожной будки по соседству. Разворачивал бумажку, внимательно вчитывался в прорицание, шевелил губами, качал головой, говорил: «Я так и знал!»... Он был, кстати, дядькой Веркиного одноклассника Генки Гамзаянца; однажды хулиганы раскатали его будку вместе с ним, вопящим изнутри, и опрокинули ее набок...

Вечером жена слепого забирала его домой – пьяненького, с вороном на плече, – убогого предсказателя базарной фортуны...

Вере нестерпимо хотелось узнать свою судьбу – например, не выпадет ли такого счастья, чтоб мать куда-нибудь навеки запропала?. Однако для гадания Ильи Ивановича нужны были десять копеек, деньги немалые, на дороге не валяются... Нет, пусть уж судьба улыбнется пока таинственно и призывно...

Масса лавочек, будок, навесов, палаток, тележек занимает все окрестные к Алайскому улицы и переулки аж до Бородинской, до Алексея Толстого, до Крылова... Отовсюду, под крики перевозчиков товаров: «Пошт, пошт!!!» – «поберегись!», несется узбекская музыка, монотонная и одновременно сложно – витиеватая, с горловым надрывным похныкиванием... Под своими навесами, прямо на виду у толпы, работают ремесленники: жестянщики, кузнецы, плотники, гончары. Чего только не найдешь в этих будках – развешанные на дверях медные кумганы, подносы, кружки... В глубине лавок – штабеля разновеликих сундуков, препоясанных цветными медными и жестяными поясами, свежеструганные люльки-бешики для младенцев, ведра – тазы любых размеров... Дощатые заборы захлестнуты цветастыми волнами сюзана и ковров...

Через каждые сто-двести метров восходит над жаровнями синий, нестерпимо благоуханный дым от шашлыков... Вообще на Алайском видимо-невидимо забегаловок, харчевен и шашлычных, да просто столиков на одной ноге, под открытым небом, где можно перекусить и даже, кому захочется, – выпить красного винца.

...Часто Верка забредала в конец базара, где под брезентовым навесом один парень готовил вкуснейший лагман. Огромный, бритый наголо, великолепно сложенный, – стоял, голый по пояс, и хлестал себя по спине и груди длинными веревками растянутого теста.

Брезгливые кричали ему:

– Эй, что делаешь?!

Он весело отвечал: – Слоистей будет!

Тридцать лет спустя картина «Лагманщик на Алайском базаре», где он, сверкая улыбкой на почти черном лице, все еще стоит, и будет всегда стоять, хлеща себя по могучей спине веревками растянутого теста, продана за 34 000 долларов на аукционе в Ницце. В борьбу за ее обладание вступают адвокат из Лиона, генеральный менеджер сети отелей «Холидей Инн» и некий бизнесмен из Чикаго, собственно, и взвинтивший последнюю цену до невероятного предела, после чего никто, кроме него, на это небольшое полотно уже не претендовал.

Тут же, под навесом, стояли три шатких фанерных стола, покрытых кусками истертой клеенки, с разнокалиберными стульями

немыслимой ветхости. Однако никогда они не пустовали. Два раза Верке тут налили почти полную касу божественно жирного и густого лагмана, что остался на дне гигантской кастрюли... Она, однако, не злоупотребляла: раза три отказывалась, говорила, что сыта, глотала слюнки...

Да... базары моего детства... – Шейхантаурский, Фархадский, Госпитальный, Туркменский... И самый главный, легендарный и грандиозный – Алайский!

Кто только на нем не торговал!

Поволжские немки из высланных – в белейших фартуках – предлагали хозяйкам попробовать свежий творог, сливки и сметану.

Сморщенные пожилые корейки пересыпали в вощенных ладонях жемчуга желтоватого или белоснежного риса.

Красавцы все как один – турки – месхетинцы – артистически взвешивали первую черешню, загребая ее растопыренной большой ладонью; сквозь пальцы свисали на прутках алые или желтые двойни-тройни...

Издалека душно благоухали прессованные кубы багряных и желтых сушеных дынь...

Россыпью полудрагоценных камней сверкали ряды сухофруктов: черный, янтарный, красноватый изюм, тусклое золото урючин, антрацитовые слитки чернослива...

А оранжево-глянцевые кулаки первой хурмы, а горы багровых, с маленькой сухой короной, гранатов, и один обязательно расколот на погляд: из-под молочной пленки капельками крови выглядывают плотно притертые друг к другу зерна... А бледно – желтые плешивые, с островками замши на каменных боках, плоды айвы! А тяжелые влажные кирпичи халвы – золотистой кунжутной, охристой маковой, урючной... да и бог еще знает какой!

А как умели торговать узбеки! Это был талант от Бога расписать товар вот так же, как художник расписывал ляганы и пиалы.

– Па-адхади наро-од, свой огоро-о-од! – выпевали, выкрикивали тенора, баритоны, басы, высвистывали фистулой слабые стариковские глотки, – от прилавков, с высоты арбузной горы, с перекладки арбы, полной длинных, как пироги, покрытых серебристой сеточкой мирзачульских дынь. – Паллявина сахар, паллявина мьё-од!

К каждой покупательнице, в зависимости от возраста, обращались либо «дочкя», либо «сыстра», либо «мамашя». Те тоже не уступали в умении торговаться. В этом многоголосом торге роли были расписаны каждому наперед. Тут вариантов несколько. Либо говорили: «Уступи, много возьму!», либо делали вид, что уходят, ожидая оклика и готовясь к нему... Либо, втихаря отсыпав часть денег в карман, искренне выворачивали перед хозяином товара кошелек: «Вот все мои деньги. Хочешь – бери!» Хотя самый действенный способ был – обратиться к нему по-узбекски: тут он точно не выдерживал, душа смягчалась, цена падала...

Вот разве что отличало и отличает всех этих бывшеташкентских скитальцев... – это правильная русская речь... потому что из года в год прибывало туда волнами разных штормов множество непростой штучной публики. Кого только не приносило: офицеров русской армии Кауфмана, а с ними – целый отряд новоиспеченных «иностранцев», всех этих, закончивших Оксфорды – Кембриджи, деток киевских, одесских и прочих коммерсантов, у которых хватило денег обучить талантливое чадо за границей, но не хватило пороку пробить Московско – Питерскую стену. Ну, и те ринулись в молодой Туркестанский край, и основали тут целые династии врачей и ученых... А отсидевшие срок зека, которым заказано было вернуться в столицы, и они оседали здесь, в глинобитных кибитках, преподавали языки и прочие другие науки, просто целительно присутствуя в пространстве!.. А эвакуированные писатели, кинематографисты, актеры, ученые! Да и просто нормальные грамотные люди, занесенные сюда, ветрами исторических потрясений! Что ж удивляться, что уровень интеллигентности на душу населения в Ташкенте был гораздо выше, чем в среднем по стране! Учительница наша по языку и литературе, Зара Марковна, как живая перед глазами:

– Именительный падеж: нога! Родительный падеж: нет, не дай бог, ноги!..

Я и в Москве сейчас, бывает, покупаю на рынке соленья у девушки-корейки, и если она таким правильным ученическим говорком говорит мне: «попробуйте капустку, эта чуть-чуть острее, зато вот эта нежнее...» – я понимаю, что она из наших корейцев и спрашиваю:

– Вы из Ташкента?

– Откуда вы узнали?! - и я улыбаюсь в ответ и говорю:

– Язык...

Нет, я не за то, чтобы вот так взять и похерить все хорошее, что было... Я и не спору – было! Точно так же, как в любом детстве, в любом городе... Взять этих ребят, греков, среди которых я вырос... Родители этих мальчишек и девчонок были бывшие партизаны, коммунисты, воевавшие с немцами. У нас появились, когда там к власти пришла реакционная клика, ну, и Сталин их принял, как политических беженцев...

Мы вместе росли, на праздники веселились вместе – громкая – музыка, национальные танцы, костюмы... Запахи жареного мяса – на пустыре за домом крутили на вертеле целого барана... В будни тоже из окон неслась какая-нибудь мелодия сзаезженной пластинки Теодоракиса или Хадзидакиса.

Старики их сидели во дворах и играли в нарды. Причем нарды были диковинными, расписанными разноцветными конусами – я тогда ничегошеньки в этом не понимал, но за игрой наблюдал заворуженно...

Ну, и конечно, то, что мы вместе пережили то всенародное землетрясение... Кстати, историю в школе нам преподавала суровая такая тетка по фамилии Колоно. Говорила: «Учите предмет по учебнику истории ВКП (б) 46- го года. Замените, говорила, – Сталина на партию и народ, и учите, – хороший учебник»... Так вот, когда грохнуло землетрясение и директор запретил ученикам выезжать в центр города, историчка вошла в класс и сказала: «Немедленно Идите в центр города, и смотрите, смотрите! Вы потом всю жизнь не простите себе, если не пойдете!».

Да, так наши греки... Когда в середине семидесятых в Греции восторжествовала демократия, они все постепенно стали возвращаться домой... Взрослые, конечно, радовались, а вот дети... дети, которые родились в Ташкенте и выросли там... вот их-то души и резали по живому...

Нет, спорить не буду: когда кто-то при мне произносит имя «Ташкент»... я вижу-то не подаю, но в памяти моей возникает гул проснувшихся горлинок за окном. Помните этих, нежно фиолетовых, словно с византийских мозаик сошедших, птичек? У бабушки окно выходило в сад, и на каникулах я просыпался под их воркотливый говорок... А поездил я немало, в каких только странах, в

каких домах, на курортах, отелях – мотелях не просыпался... – нигде не слышал рассветный такой гурлѐж, каким полоскали горлышки ташкентские горлинки... Я, когда устаю и долго заснуть не могу, пытаюсь вызвать в слуховой памяти этот баюкающий безмятежный звук... И если удаётся – если, говорю, удастся! – то засыпаю тогда как младенец...»

* * *

В этой забегаловке, похожей немного на общепитовские места нашего детства, только чуть более чистой, мы часа два сидели, не в силах расстаться, перебирая Ташкент, как четки, нащупывая друзей, знакомых, соседей... Я говорила – как все-таки они, наши ташкентцы, не теряются нигде! А он исправлял меня – да не ташкентцы, не просто, не Сызрань какая – нибудь, не Кинешма... – «колонизальные белые»! – это же особый тип людей, всегда готовых к неизведанному, гибких, покладистых к обстоятельствам, и – рискованных... Так говорил дядя Миша, умнейший алкаш, – ты не знала его? – яркий такой персонаж, завсегдатай шалманов, одно время он жил с безумной матерью безумной Веры Щегловой. Мать его и утробила, ты знала эту историю? Просто зарезала, и все, вроде от ревности...

Не-ет, «колонизальные белые», это, я тебе скажу! Да я за версту в любой стране их вижу! – это же вечные караванщики на привалах Великого Шелкового пути... И, в отличие от таких же бакинцев – тбилисцев – ереванцев... каким русским языком они говорят, а? А все потому, что город буквально кишел странными пришельцами: какими-то нищими полуживыми дворянами, белогвардейскими китайцами, сиделыми по лагерям профессорами... Ё-моё! Как вспомнишь сейчас – кого у нас там только не было! Не-е-ет, эти «колонизальные белые» с детства жизнью обкатаны, – как вот море КА-мешек катает...

И знаешь, откуда их удачливость на новом месте берется? Я много думал над этим... Понимашь, с детства варясь в Нашем Вавилоне этносов, наций и народностей, мы знали, что человек может быть другим, более того: что он всегда другой, но надо, надо сосуществовать, раз некуда друг от друга деться, что важнее всего – сосуществовать, что жизнь на этом стоит! И вот это самое умение понимать другого, как выяснилось в экстремальных условиях са-

мых разных эмиграций, и есть – одно из лучших качеств блядской человеческой натуры... То, что на Западе называют безликим словом «толерантность»... Да не толерантность это, а – вынужденное милосердие, просто – наипросто смирение своего «я», – когда понимаешь, что ты не лучше другого, а он – не выше тебя...

Я шла бесцельно, как в детстве, глаза по сторонам, ведомая все тем же утробным чувством общего направления... Ощущение родного города – оно возникает спазмами.

Вдруг обнаружилось, что в центре Ташкента все еще можно встретить небольшие пустоши среди одноэтажных улочек под гнистыми платанами и тополями, – пустоши с высокой густой травой, в которой пасутся овцы.

На меня обрушились запахи ташкентских дворов по весне, одобренные влажной духотой плодородной почвы, нежной и буйной зеленью апреля – кухонные миазмы из окон, запах вывешенного на просушку белья и прелых курпочей и чапанов, запах пасущихся овец и оброненных конских яблок, запахи травы и расцветающих деревьев... Так терпко и сладко пахнет пот любимого...

Я мгновенно ошалела и благодарно заплакала, потому что стала узнавать – не улицы, а мгновения, эпизоды моей – на этих улицах – жизни.

Оказалась на Педагогической и пошла по ней.

По пути выплывали из небытия Хореографическое училище – тяжелос сталинское здание с двумя балеринами улановского облика на барельефе, Окружной дом офицеров и ТЮЗ, в котором я бывала раз двести, но который вынал из моей памяти, как стена дядькиного дома – выпал вместе с площадью и памятником, если не ошибаюсь, Навои. Или Хорезми. Бронзовый, словно аршин проглотивший, худой старик...

А свернув за угол, я увидела, как железная баба рушит старый особняк, – раскачивается и бьет, и бьет в стену дома... Большой кусок кирпичной стены ввалился внутрь, и в проеме густо засинели обои с золотым узором...

Вдруг я поняла, что бывала в этом доме...

Обрывки иностранных слов, произнесенных высокомерно любезным тоном, закружились в моей памяти, как клочки разорванного письма в водовороте арыка: Зинаида... (отчество? отчество, черт возьми! – Анатольевна?) Антоновна!

Зинаида Антоновна, старуха, из бывших дворян, отсидевшая, разумеется, на всю катушку... жила вот в этом самом доме... Чаепитие по – не вспомнить уже какому – поводу... Ах да, я заходила за нотами! – у нее был «Темперированный клавир» Баха с замечательной аппликатурой, проставленной самим Глазуновым.

В 60-е годы какой-то гость привез ей из Польши фигурку ангела на пробке для винной бутылки. Серебряный ангел, приподняв сутулые крылатые плечи и благочестиво сложив на цыплячьей грудке острые ладошки, понурил мятое серебряное личико. Она говорила – приходите посидеть под ангелом. Пила немного и только с гостями. Время от времени в прихожей звонил телефон, и она беседовала с какими-то своими знакомыми, то на английском, то на французском, то на немецком... И когда опускала трубку, продолжала по инерции говорить со мною на том языке, на котором только что беседовала по телефону...

А неподалеку отсюда жил композитор Козловский, тот, что подобрал раненого аиста в своем саду и вылечил его. Тот больше не мог летать, но целыми днями много лет разгуливал по двору и саду... А когда композитор умер, аист, как траурный часовой, три дня простоял в изголовье гроба, на одной ноге...

Как странно, что столько лет я не вспоминала историю этого ташкентского аиста... И вот, вспомнила... Вспомнила!

...И я поняла, что дошла наконец до высоких невидимых ворот моего города, что воздушные стены его расступились и приняли меня. Воздушные стены исчезнувшего города, в котором мне по-прежнему было хорошо.

То невысокое деревце... деревце – ... дже?.. жи?.. джида! Я даже вспомнила – каковы они на вкус, плоды этого дерева, вернее ягоды – сухие, словно из папье-маше, ворсистые, как бархат.

Та улица, с непроизносимым ныне названием, – она вела к школе, а на крыльце того особнячка всегда сидели два старика. Здесь жил доктор, дантист. Грек. И это было нетипично. У греков принято было шить костюмы, и стричься в их колонии – в Греческом городке. Греки были мастерами, они привнесли нам западный стиль. У меня была марка! – как я могла забыть! – «Солидарность с греческой демократией».

Ее мечтал у меня выманить Демос, одноклассник, – лица не помню, помню только недетскую степенность и торжественный строй речи.

– Иисус был грек! – утверждал он.

– Почему? – удивлялись мы все, ибо уверены были, что Иисус, конечно же, был русским.

– Послушай: Езус Христос! – говорил он, подняв палец. – Грек! Кто же еще?!

... Приземистое старое здание кинотеатра «XXX лет комсомола» – здесь играла Комиссаржевская. А жила где-то недалеко, на улице Самаркандской... Каждое поколение смотрело здесь свои фильмы. На долю нашего выпали «Фантомас», «Лимонадный Джо», «Амаркорд» и «Искатели приключений» как сладко, сквозь слезы, целовалось на последнем ряду, когда эти классные ребята навеки опускали на морское дно тело убитой Летиции в скафандре...

А позже, а выше, над юностью, над любовью – витает поцелуйное словечко «вермут», С липким причмокиванием на смыкании губ. Да: в подвале, рядом с кинотеатром, был винный магазинчик, в него мы спускались по пути из консерватории...

Я шла, и все было по пути, все кетати, все двигалось со мною, вдоль и обочь меня, словно я стала осью, вокруг которой нарастал мой собственный, давно утонувший, город. Он собирался, восстанавливался, восставал из выцветших картинок моей безалаберной памяти, как восстанут в будущем мертвые из маленькой, но нетленной косточки.

Как собралось и выстроилось в затылочек странное имя улицы – Маломирабадская.

Как выросло вдруг на углу старое кирпичное здание аптеки.

«Дорихона»! Как я смела забыть это слово, ведь я с ним выросла, с этим словом, пахнущим йодом и новенькими бинтами, мамиными «каплями Вотчела» и приторными подушечками «гематогена»!..

* * *

...Когда я сильно устаю, я вспоминаю вязкий мед ташкентского солнца... Керамический блеск виноградных листьев, тяжелые брусы янтарных, слезных на срезе, сушеных дынь, светящуюся изнутри золотую плоть абрикосов, сладкую истому черной виноградной кисти с желтыми крапинками роящихся ос.

Из дому надо выходить с запасом тепла... – мне до сих пор тепло, благодарение Создателю.

Солнечное свечение дня... Солнечная, безлюдная сторона улицы... Карагачи, платаны, тополя – в лавине солнечного света.

Мне до сих пор тепло.

Я уже ничего не выдумываю, ничего уже не пытаюсь понять, просто закрываю глаза и погружаюсь на дно потока. И если за быть, что я – это я, то и раствориться в этом потоке совсем не страшно.

Но страшен миг обнаружения себя в бездонных водах времени, – вселенский ужас и вселенская тоска: где я? кто я? как смогу одолеть этот бурный путь в кошмарной мгле?

И неужели меня не станет, когда я доплыву?

Вопросы

1. Чем является Ташкент для самой писательницы?
2. Как и какими средствами охарактеризован образ Ташкента в романе «На солнечной стороне улицы»?
3. Какую роль сыграла Хадича в судьбе главной героини романа?
4. Какая часть города выступает как «визитная карточка» города Ташкента в художественной системе романа?
5. Какую функцию выполняет образ базара в раскрытии художественного лика Ташкента?
6. Какие черты характера узбекского народа воссоздаются через образ базара?
7. Какие базары описываются в романе Дины Рубиной?
8. Какими средствами автор передает Вавилонский характер Ташкента?
9. Какие черты национального характера узбекского народа раскрыты в романе?
10. Как характеризуются ташкентцы в романе Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы»?

Татьяна ТОЛСТАЯ



Толстая Татьяна Никитична (род. 1951 г.).
Прозаик. Родилась в семье, отмеченной
значительными литературными дарованиями:
А.Н.Толстой – дед по отцовской линии, поэтес-
са Н.В.Крандиевская-Толстая – бабушка, пе-
реводчик М.Л.Лозинский – дед по материнской
линии.

В 1987 вышел первый сборник рассказов «На
золотом крыльце сидели...», который с востор-
гом был принят критикой. Толстая проявила устойчивый интерес
к странным, нелепым героям (в основном детям, старухам, ненор-
мальным).

В 90-х годах были опубликованы книги «Любишь – не любишь»,
«Сестры», «Река Оккервиль». Проза Толстой открыла новую
страницу в русской прозе, которую впоследствии определили
«другой литературой» (Л.Петрушевская, С.Каледин, Е.Понов,
Вен.Ерофеев, В.Нарбикова и др.). Толстая стремилась к дефор-
мации реальности, раскрепощению человеческой фантазии и
воображения, вела полемику с мнимыми народопоклонниками и
псевдодемократами. В 2001 опубликовала первый роман «Кысь», в
2002 г. – роман «Изюм». «Ее щедрая проза китит той причудливой
живостью, что заполняет картины Босха» (А.Генис).

Предлагается глава из романа «Кысь».

Литература

1. Александрова А. На исходе реальности // Грани. – 1993. №168.
2. Бахнов Л. Человек со стороны // Знамя. – 1989. № 7.
3. Булин Е. Откройте книги молодых // Молодая гвардия. – 1989. № 3.
4. Вайль П., Генис А. Городок в табакерке // Звезда. – 1990. № 8.
5. Грекова И. Расгочительность таланта // Новый мир. – 1988. №1.

Сперва Бенедикт думал, что ему мышинного шороха не хватает. Ведь мышь – это все. И поесть, и одежду из шкурок скроить, и в обмен на торжище чего хочешь на нее дадут. Вот как он тогда двести штук наловил, но новый год-то? Душа пела, люди подпевали! Вспоминалось, как шел чуть ли не вприпляску, осевшие сугробчики потаптывал, в лужи пяткой бил, чтоб брызгало радугой! Честная плата за честные труды! А сколько он всего на тех мышей наменял-то! Ведь они после с Никитой-то Иванычем неделю это добро ели, доесть ни могли. Старик ватрушек напек... Как-то они на тех ватрушках сдружились, что ли. Если вообще с прежним стариком дружить можно. Правда, кулинар из него аховый, ежели с тешей сравнить. Ватрушки, но правде если, были кривоватые: с одного боку сырые, с другого подгорелые, поверху – не творог, а неznam што. Тещины-то ватрушки сами во рту тают.

Потом думал: может, по избе своей соскучился. Бывало, и сон снился: идет он будто по тестеву дому, с галереи на галерею, с яруса на ярус, а дом вроде и тот, да не тот: словно он длиннее стал, да эдак вбок, все вбок искривляется. Вот идет он, идет да дивится: что это дом все не кончается? А нужно ему будто одну дверь найти, вот он все двери и дергает, открывает. А что ему надо за той дверью – неведомо. Вот он одну дверь-то открыл – а там изба его, да тоже не такая, а словно бы побольше стала: потолок высоко вверх уходит, в темноту, и не увидеть. А только сено сухое с потолка помаленьку сыплется, шуршит и сыплется. Вот он будто стоит и на то сено смотрит, а в сердце страх, и будто кто лапой сердце сожмет, то отпустит. И вот он сейчас что-то узнает. Вот сейчас узнает. А тут будто Оленька идет и бревно тащит. А сама непривстливая, тоже сухая какая-то. Куда ты, Оленька, бревно тащишь, почему непривстлива? А она усмехается так неприятно и говорит: какая же я Оленька, я не Оленька... Смотрит: и правда, не Оленька это, а другой кто-то...

...Вот проснешься от такого сна – во рту сухость, а сердце: тылдых! тылдых! И не понять, на каком ты свете. И ощупаешь сам себя: а я ли это? А луна сквозь пузырь светит, ярко так и страшно. И дорожка лунная на полу протянулась... А есть люди, которые во сне ходят, когда луна в полную силу взойдет: а звать лунатики. А

их, говорят, луна манит. Вот в такую ночь они с постели встанут, руки вытянут, пальцами шевелят и идут. А зачем они руки вытягивают, мы не знаем. Похоже, как если б подавния просили али помощи какой, а только если возьмешь такого за руку – отпрыгнет. И на личике изумление. И прислушивается: головку набок склонит и прислушивается. А глаза открыты, а нас они не видят. Такие голубчики с постели встанут, во двор выйдут, ходят – бродят, а потом давай на крышу карабкаться, ловко так, как по лестнице. Взойдут на крышу, под самый конек, и разгуливают. Там, видать, к луне поближе. Вот они на луну-то смотрят, а она на них: на луне вроде как лицо видать, а то лицо плачет: смотрит на нас, на жизнь нашу, и плачет.

Да, думал, что по избе соскучился. Даже съездил посмотреть: запряг Тетерю и прокатился до родимой слободы. Но – нет: не то. Посмотрел на избушку, на крышу соломенную: совсем прохудилась. Дверь настежь, во дворе лопух, с весны не полот, да дергун – трава, да кусая – трава, да еще какой-то сорняк неведомый: остья черные, длинные, лист жухлый. Первые снежинки кружатся, падают, равнодушные. Постоял шапку сняв, как все равно у могилы. Внутри небось все разворовано. Вроде жалко, а вроде и нет: от сердца оторвалось, отвяло. Да и зря сани брал: после той поездки Тетеря распустился, совсем уважать перестал. Пока Бенедикт у плетня стоял, скотина перекурил да сплюнул наземь, а потом и говорит:

– Хэ! У меня распашонка в Свиблове лучше была.

– Тетеря, как ты разговариваешь с барином?! Твое место в узде!

– А твое – знаешь где... У меня сервант был зеркальный... Телевизор Рубин, – трубка итальянская... Стенка югославская, шурип достал, санузел раздельный, фотообои золотая осень.

– Поразговаривай у меня! А ну, запрягайся!

– Линолеум только на кухне, а так все паркетная плитка. Плита трехконфорочная.

– Тетеря! Я кому сказал!

– Холодильник двухкамерный, пиво баночное... Водка на лимонных корочках, холодная...

И стоит, тварь, на задних лапах, как ровня, и о плетень оперся, и разговаривает, и в глазах мечта, и за хозяина не считает! В воспоминания ударился!

– Помидорки кубанские, огурчики эстонские с пупырышками... Паюсную ели, зернистую западло держали... Ржаной за

двенадцать... Иваси с лучком... Чай со слоном... Зефир бело – розовый... Пьяная вишня куйбышевская... Дынька самаркандская...

Вот как завел, как пошел свое нести, кто ж выдержит! Правильно Никита Иванович говорит: уважение должно быть к человеку, справедливость! А эта скотина человека не уважает, ни в грош не ставит! Бенедикт осерчал да и обломал ему бока-то кнутом, надавал заушин да ногой пнул. А тесть говорит: Терсентий смиренный, это Потал норовистый! Каков же тогда Потал?! Если этот смиренный?.. А после этой поездки, вишь, Петровичем его зови. Сейчас прям.

Потом еще думал: может, хвоста ему недостает? всю жизнь жил с хвостом, виляя, радовался. Когда хвостом виляешь, другой раз даже за ушами щекотно. Хороший был хвост, гладкий, белый и крепкий. Да, стыдно иметь хвост, когда у других его нету, но сам по себе он был хороший. Это правда. А теперь Никита Иванович его обрубил, почти что под самый корешок, – ужас до чего страшно было. Никита Иванович перекрестился: Господи, благослови! – да ка – а – а – ак... но не так больно, как боялся. А это потому, говорит Никита Иванович, что в нем хрящ. А не кость. «Поздравляю, – поздравил Бенедикта, – с частичным очеловечиванием». Пошутил так, значит. «Может, поумнеешь», – пошутил.

Теперь на месте хвоста пупырь вроде шишки и саднит. Целую неделю после Бенедикт враскорячку ходил и сидеть не мог, но до свадьбы зажило. И вот теперь как-то странно: не повилеешь, нечего. Вот так, значит, думаешь, остальные люди себя чувствуют. Хм.

Но а с другой стороны, – что значит остальные? Кто остальные-то? Ведь у каждого свое Последствие. Вот у родни когти. Пол портят. Теща, она тяжелая, грузная, из французов, – наскребет половицы так, словно цельная голова волос на пол упавши. Оленька поделикатнее, кучки после нее поменьше. От тестя поскребыш длинный, толстый, хоть печь растапливай. Вот Бенедикт предлагал Оленьке: давай тебе когти подрежем. Боялся, что она его в постели оцарапает. А она в крик: ты что!? ишь!.. Эвон на что замахиваешься! На организм! Нет!!! Ай!!! Не далась.

А у перерожденцев – хоть они, наверно, не люди – когтей нет. На ногах у них ноги, а на руках руки. Только грязные: они ж целый день в валенках, если в карты не играют. А то иногда сядет, ногу выпростает и за ухом чешет, быстро – быстро; ну вот приглядишься и видишь: когтей нет.

В общем, грусовато было первое время, зад как бы осиротел, и даже Бенедикт провожал глазами всякий хвост, что на встречу понадался: козляк ли то, птичка, пес, мышь ли.

Пушкина ездил проведать. Перед самой свадьбой, за неделю, Бенедикт решил: ну, хватит, считай, готов. Куда же еще.

Да он уж к концу не столько фигуру резал, сколько мелочь всякую подправлял: кудерьки сверлил, затылок на нет сводил, чтоб гений больше как бы ссутулившись стоял, как есть он очень за жизнь в общем и целом опечален: пальцы там, глазки. Пальцев он сразу вырезал шесть. Никита Иваныч опять возмущался, филиппики выкрикивал, но Бенедикт уже к его крикам привык и разъяснил спокойно, что так по столярной науке всегда полагается: лишнее про запас никому не мешает. Мало ли как повернется, ошибку какую допустишь, по пьяному делу не туда топором наподдашь. Лишнее потом всегда обрубить можно. Вот он работу, считай, закончил, сухой ржавью натер, а называется – отшлифовал, а чтоб гладенько все было и без заноз, – тогда, конечно, заказчику на выбор предложение сделал: который таперича палец певцу свободы приятно, на любой же вкус! Хочешь – этот, а хочешь тот, а не нравится – так вон этот, а может, тебе этот приглянулся, а то тут тюкнем, а то – там. Ну? Душа же поет, когда все по науке: пышно и богато.

А Никита Иваныч кручинился и выбрать не мог, бегал кругами и волосья на себе рвал – волосьесв у него до ужасти много, – как же он, дескать, своевольно и кошунственно, но собственной прихоти, дерзнет обрубить поэту руки? Добро бы хвост, а то – руки!!! Закрывал личико ладошками, головой мотал, одним глазиком подсматривал, потом его зажмуривал, мучился – мучился, да так и не решился. Все шесть пальцев оставил. А ног у Пушкина нету, ноги резать не стали. Не успели. Только верхнее тулово, до кушака. А дальше – как ступа, гладкое.

Волокли вшестером – наняли холопов, рассчитывались мышами. Из Прежних – приятель Никиты Иванычев подмочь взялся. Лев Львович, из диссидентов. Идола одобрил.

– Ну чистый даун. Шестипалый Серафим. Посечина общественному вкусу, – высказал. Но таскать – волочь помощи от него, худосочного, мало было, он больше на руководящей, сказать, должности выступал: «давай – давай – давай! стоп! заноси! во! не

так! влево заноси!» — ну как всегда руководят. Хотели Пушкина поставить где Никита Иванович указал, — чем-то ему это место приглянулся. Начали уже ямочку под пяточку копать. Да только там хозяин злой оказался: выбежал, руками машет, слюной брызгает: укроп ему, вишь, потоптали, а укроп этот — растение самое пустое, ни вкусу от него, ни запаху, а большие для красоты держат; но, конечно, с голодухи и укроп съешь.

Никите Ивановичу беспрерывно надо было символ посередине грядки воздвигнуть, он и уговаривал, и стыдил, и сулил огня без очереди, и к холопам взывал, чтобы народный глас и ропот возвысили, а холопам-то что: стоят хмурые, ногу об ногу заплетая, платы ждут, покуривают, ждут, пока начальство откритится, сердце сорвет да и затихнет, а так всегда и бывает. И пришлось волоочь дубельт через дорогу напролет. Там место ничейное, промеж заборов.

Стало быть, вот он у нас стоит, сердешный, шум уличный слушает, как заказывали, — из — за угла повернешь и видишь его, на пригорке, на ветру, черного такого. А эта древесина, дубельт, всегда от дождей чернеет. Вот он стоит, как куст в ночи, дух мятежный и гневный; головку набычил, с боков на личике две каклеты — бакенбарды древнего фасону, — нос долу, пальцами как бы кафтан на себе рвет. На голове, конечно, птица — блядуница расселась, а такая у ней манера, у бессовестной: чего увидит, то и обгадит, оттого и прозвище ей дано срамное, за срамотицу за ее.

...Ну, съездил, Пушкина обсмотрел. Ребят малых шуганул, чтоб по нем не лазали. Хотел снежок вокруг обтоптать, да из саней вылезать поленился. Обсмотрел... ну и обсмотрел. Пущай стоит, места не простоят.

Вот думал — думал: чего же ему не хватает? А потом осенило, али сказать, стукнуло: книжек! Книжек давно не читал, не переписывал, в руках не держал! Почитай, с мая! На работу ходить самовольно бросил, потом отпуск, потом свадьба, потом жизнь семейная, и вот уж осень новая на зиму переламывается, все переселиться не может, — ну это как всегда в природе бывает, словно бы маета какая. День дождь, день снег. Уж и Октябрьский Выходной, шутка ли! А только в этом году на пересчет не ходили. Тесть по службе пошел — ругался, но пошел, а нам сказал: сидите дома, я и так знаю, что вас трое. В список внесу.

Вот уж как Бенедикт Октябрьский Выходной терпеть не мог, — да и кто ж его любит, разве мурза какой, и то по должности, — но

все ж какое – никакое, а развлечение было, и на людей посмотреть, и, глядишь, из Склада чего выдадут. Да теперь нам это без надобности. Вот в природе маета, и в голове маета. Заняться – ну нечем. Как бы сказать, скука.

Вот слоняешься по дому, слоняешься, слоняешься; развлечения себе ищешь. Вот палец послиюнишь, к стенке приложишь и ведешь по стенке-то. Ведешь, ведешь, всю горницу обведешь, али пока слюна не высохнет, тогда опять палец послиюнишь и опять ведешь.

Ну что еще? На корточках сядешь, локти в коленки упрешь, подбородок кулачками подопрешь и качаешься: взад – вперед. Взад – вперед.

А то нижнюю губу выньятишь и пальцем по ней дрынькаешь, а она вроде как хлопает: звук такой смешной, шлеп – шлеп.

Или сидишь себе на табурете али на лавке, качаешься, язык высунешь, один глаз зажмуришь, другой вбок скосишь и язык рассматриваешь. Кусок носа виден да языка кончик. Но мутно.

А то еще: пальцами глаза оттянуть вбок и смотреть, что получается; а то и получается, что все, что видишь, эдак перскашивается.

Можно голову между коленок свесить, чтоб до пола, и ждать, пока кровь прильет. Зашумит в голове, затуманится; в ушах гул и стукота.

Можно еще что делать: пальцы переплетать. С одной руки палец да с другой руки палец, потом опять с первой, потом опять со второй, а как все пальцы выйдут, дак руки-то и вывернуть. Или просто: пальцы расставишь и пошевеливаешь туда – сюда. Это на руках. А если на ногах попробовать – так плохо выйдет: судорога ступню сводит. Вот так попробуешь и удивишься, отчего бы это: на руках так, а на ногах эдак? А знать, оттого, что руки – это руки, а ноги – это уж ноги. Должно быть, так. Не иначе.

Или просто ногти рассматриваешь.

А видений никаких не видишь; как-то они ушли, виденья-то. А жалко. Вот прежде Оленька виделась: бусы там, ямочки, ленточка. А теперь – что ж? Теперь вон она, Оленька. Тут, под боком. Ямочка – дак у нее по всему тулову ямочки. Такие ямочки – палец сунь, дак полпальца провалится. Пожалуйста. Суй. Не возбраняется. Даже, сказать, приветствуется:

– Шалун!.. Что за нетерпеж...

А только раньше как бы мерцание от нее было. Вроде бы тайна какая. А теперь вот она сидит на табурете, личико густо сметаной обмазала – чтоб белее было; а только вид страшный от этой сметаны. Волоса чешет:

– Ну - к, глянь, Бенедикт. Чего это у меня тут? Никак колтун?

Раньше ни про какие колтуны речи не было: коса до пят, и все дела. Но теперь ей косу не полагается, Оленьке: как есть она замужня голубушка, у ней на голове должен быть прибор бабский. А уж возня с этим прибором – не приведи Господь. Вот она волоса на пряди разделит, водой намочит али ржавью и давай на деревянные колобашки накручивать. Всю голову обкрутит, ходит колышется. и колобашки эти целый день друг об дружку постукивают. Кудри ей, вишь, надо. И лицо обмазано: ну чистая гарпия.

– Ты зачем это на себя навертела-то?

– А как же? Для красоты. Для тебя же стараюсь.

Бухнется на лежанку:

– Поди сюды, Бенедикт, любиться будем!

– Да хватит уже, сколько можно.

– Поди, поди, не разговаривай.

– Да я ослаб что-то. Пересел малость.

– Не выдумывай, ты с утра еще не евши.

– Да ты царापаться будешь.

– Какой царापаться!.. Не выдумывай.

– Да у тебя морда в сметане.

– Вот у тебя вечно предлоги! Несчастливая моя жи – и – ись!

И завоет. Но потом перестанет.

– Бенедикт! Поди сюды. Чего это у меня вон тут чешется? Да во – он, вон тут. Вскочило чего?..

– Ничего не вскочило.

– Нет, ты плохо смотришь. Лучше смотри! Свербит чего-то.

– Да нету ничего.

– А чего же свербит-то? Не чирей ли?

– Нет.

– Водырь, может? Не припухло?

– Нет.

– Может, покраснело?

– Нет, нет!

– А чего же тогда? Вот чешется – чешется, а потом как дернет!.. А вот тут? Бенедикт! Не отвлекайся! Вон тут – нет, дальше! Между лопатками!

– Ничего нету.
– Чешуя, может?
– Нет!
– Перхоть, что ли, напала? – саднит. Обтряхни с меня.
– Чисто все! Не выдумывай!
– Всснущками, может, обсыпало?
– Нет!!!
– Дак, может, прыщ какой али бородавка! Вот так выскочит – да и померешь!
– Чистая, говорю, спина! Все мерещится!
– Конечно, раз я страдаю, а не ты, так тебе и все равно! А у меня вот тут под мышкой ломит. Бенедикт!
– Поломит и перестанет.
– Вот другой бы пожалел!.. Вот если я так руку подниму и вот так поверну, сразу ломит! А если я вот так нагнусь, а ногу-то вот так поставлю, у меня немедя в боку колотье, ну – к, погляди, чего у меня в боку-то, мне не видать!..

Вот однажды и стукнуло: книжку бы. Завалиться бы сейчас на лежанку с книжкой! На дворе снег бесшумно падает, в печи дровешки потрескивают – самое оно: с книжкой на лежанку. Рядом на табурете миску с огнецами поставить али еще чего вкусного, чтоб за щеку всунуть, и – туда ... В книжку... Вот у нас, скажем, зима, а там – лето. У нас день, а там – вечер. И распишут тебе, и разукрасят, что за лето, да что за вечер, да кто куда пошел, да чего на мне надето – накручено, да на какой, может, скамейке над рекой кто присемши, да кого ждет – а мил – дружка, не иначе, – да какие птицы сверху поют, да как солнышко садится, да мошки токутся... И чего из – за реки слышать, какую песню. И все напишут: как в кустах шуркнет, – мил – дружок на свидание пришел, – да чего промеж ними сказано, да о чем стоворено... Али кто ладью большую построили на море – окиян ее спустил, и сколько народу в ту ладью набилось, да куда плыть хотят, и какое у той ладьи устройство, – все распишут. И как они плывут да меж собой перелаялись, и у кого на сердце против других накопело, как он чернее тучи стал да думает ... А другие дознались да говорят: ай, что ж он на нас смотрит как все равно пес, будет нам от него вред, а ссадим его на остров...

Вот читаешь, губами шевелишь, слова разбираешь, и вроде ты сразу в двух местах обретаешься: сам сидишь али лежишь ноги по-

догнувши, рукой в миске шарить, а сам другие миры видишь, далекие али вовсе небывшие, а все равно как живые. Бежишь, али плывешь, али в санях скачешь: спасаешься от кого али сам напасть задумал, – сердце кололится, жизнь летит, и ведь чудеса: сколько книжек, столько и жизней разных проживешь! Как все равно оборотень какой: то ты мужик, а то вдруг раз! – баба, а то старик, а то дитя малое, а то целый отряд, что в дозоре сидит, а то просто незнам что. А если правда это, что не сам Федор Кузьмич, слава ему, все эти книги сочинил, так и что с того? Знать, другие Федоры Кузьмичи, древние люди, сидели, писали, виденья видели, оно и пусть.

А сейчас небось в Рабочей Избе свечки зажжены, свитки возвращены. Шакал Демьяныч зорко по сторонам посматривает. Константин Леонтыч быстро – быстро строчит, переписывает, да время от времени письменную палочку бросит, да руками-то всплеснет! да вскрикнет! – очень он всегда волнуется, что там в книгах-то понаписано. А потом опять письменную палочку хватить да давай дальше строчить... А Варвара Лукинишна голову склонила, гребешками трясет, про себя что-то думает... Что у ней за книга-то дома припрятана? Там про свечу что-то было, про обманы... А ни Бенедикта, ни Оленьки в Избе уж нету... Оленька на лежанке лежит нудит, сметаной обмазанная. А Бенедикт на табурете раскачивается. Сейчас бы мышей наловить, пойти на торжище и на книгу сменять. А только мышей в нашем доме нету.

А вот что за книгу тесть выносил, Бенедикту совал? А вот пойти да спросить? Раз уж тесть не заболел, тьфу, тьфу, тьфу, так это уж точно: можно в руки брать.

Вопросы

1. Что означает «слово» в жизни героев Толстой?
2. Укажите специфику стиля автора.
3. Какое место занимает книга в жизни героя?
4. Как в повествовании выражена русская ментальность?
5. Какое место в повествовании занимает имя Пушкина?
6. Какие жизненные ценности у героя Бенедикта?
7. В чем заключается ценность мысли?
8. Как названы главы в романе Т.Толстой?
9. Какую функцию выполняет ирония в структуре романа?
10. В чем проявилась сказовая форма повествования в романе?



Галина ЩЕРБАКОВА

Щербакова Галина Николаевна родилась в г. Дзержинске Донецкой области, как пишет в автобиографии «в пору великого украинского голода». Окончила Челябинский пединститут, работала в школе. Автор книг «Справа оставался городок» (1974), «Вам и не снилось» (1983), «Анатомия развода» (1990), «Love-стория» (1996), «Год Алены» (1996), «У ног лежащих женщин» (1999). Постоянный автор «Нового мира». В 1998 году в «Новом мире» опубликованы «Армия любовников», в 1999 – «Актриса и милиционер», в 2000 – «Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом», в 2001 – «Мальчик и девочка», в 2002 – «Ангел Мертвого озера». Г.Щербакова выдвигалась на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года за произведения последних лет.

Роман Г. Щербаковой «Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом» печатается фрагментарно по изданию: Г.Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом // Новый мир. – 2000. № 3.

В центре романа – судьба человеческого рода по женской линии в трёх поколениях, связь между которыми скорее патологическая, основанная на внутреннем разрыве. И четвертое поколение (внуки главных героинь) намечают тот же путь: путь отчуждения, отрицания долга перед родителями.

Литература

1. Ремизова М. Бабыня дурь – «Независимая газета», 1999, №65. 10 апреля.
2. Щербакова Г. «Люди столько не живут, сколько я хочу рассказать» (Беседа с Мих. Бутовым) – «Новый мир», 1999, №1.
3. Басинский П. Постфеминизм: у русской литературы была женская душа. – ж. «Октябрь», 2000, №4.
5. Щербакова Г. Уткомесьть, или моление о Еве. – Новый мир, 2000, № 12.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ХОЛМ ЦАРЯ СОЛОМОНА С КОЛЯСКОЙ И ВЕЛОСИПЕДОМ

Сто лет назад или около на дороге из Пуши-Водицы в Киев умерла старуха. Баба Руденчиха совершенно не собиралась этого делать, она была настроена на жизнь и на долгое путешествие аж до самой Белой Церкви, где вдовела ее старшая сестра. Семидесятилетняя Руденчиха собиралась соврать сестре Варваре, что пришла ради нее, чтобы подмогнуть в старости, все-таки той уже ближе к восьмидесяти, а Руденчиха, слава Богу, крепкая, до работы спорая, она еще самое то – принести и сделать. И баба шла быстро, ее босые пятки стучали по шляху вполне энергично и, может даже, отдавались в центре земли.

Пуша-Водица дула ей в спину ветром недобрым, но чем дальше, тем дула слабее, и в этом положительная сила расстояния. В Киеве баба собиралась помолиться, для чего говела уже две недели, чтоб снять грех со своей души, но главное, с души тех, которые вытолкнули ее на дорогу. «Хай! – молилась Руденчиха. – Хай жить!» Главное было – не думать про это все время. Про то, что она одна на дороге, в легком мешке у нее все, что у нее есть, и ей, как потом скажут ее правнуки совсем по другому поводу, нельзя ни шагу назад.

Одновременно... Из Киева в Пушу-Водицу – совсем наоборот – шел еврей Хаим, это был случайный проходящий еврей, которому вообще-то надо было в другую сторону, но так встали звезды, что и он своими босыми пятками (ну чем их можно еще заменить?) дошел до того места, где ногами в сторону Киева лежала баба Руденчиха, и рот ее был навсегда открыт небу.

Через сто лет или около на тахана-мерказит маленького города близ Хайфы, что в Израиле, сомлела пожилая дама, всем своим видом доказывающая непричастность к народу этой земли. Она уперлась спиной о бетонный стояк этой самой таханы, или этой самой мерказит, одним словом, дело было на автобусной станции. Дама, значит, сомлела, но не упала, а осталась сидеть, откинувшись на стояк.

Никто никогда не искал бабу Руденчиху. Сестра Варвара в голову не могла взять, что кто-то там к ней идет на подмогу. Какая подмога? От кого? В Пуше-Водице живет сестра, так у нее ж трое детей, внуков она даже не знает сколько... Какая подмога! Смех с вас!

Злые языки говорили, что кто-то из детей сестры – от шинкаря, потому как это дело естественное: раз есть одно, то и другое идет следом. Но Варвара знала точно: брехня. Два раза, тайком от чужих глаз, была у нее непутевая – это когда надо было травить ребенка. «Не от Николая», – говорила она Варваре и ложилась на грех и муку. Правда, кончалось все благополучно. Организм у грешницы был крепкий.

Не искали бабу Руденчиху и ее дети. Старший сын давно существовал где-то в кацапских краях, средний пил и гулял, считая, что если не это, то тогда зачем жизнь? В смысле – вообще? Мать являлась ему тогда, когда настырный такой хлопец-чертеня садился ему на шею и бил его копытками под самый что ни на есть кадык. Вот тогда и являлась с рушником ридна матынько и рвала рушник на чертячьих рожках, но маленьке бесеня прыгало с шеи, гогоча по-своему. Где ж она, мать, думал сынок, обшупывая болючие ребра, звидкиля появлялась и куцы счезла? И он спрашивал сестру Паню, от которой и ушла с мешочком старуха Руденчиха: От матери ничего нема?

Совсем в другое время, когда уже и внука Пани на свете не было, его внучка играла в настольный теннис в огромном редакционном холле, а тамошние мужики и парни в этот момент всегда открывали двери, потому что каждому хотелось поймать глазом красшек трусиков Паниной праправнучки, когда та дотягивалась ракеткой до шарика, который взбрыкивал от нее подальше.

Сейчас Жорику семнадцать, Майке одиннадцать с половиной, мать живет с Астрой, технолога нет и в помине. Уехал на север за длинным рублем, да так там и остался, прижился у какой-то коми-женщины и сказал, что «это хорошо». Правда, в алиментах был честен, что да, то да.

Лилька написала матери письмо, в котором без всяких обвиняков сказала: «Ты всю жизнь жила для своей Астрочки, так вот расстарайся и для меня и для Майки, моя дорогая. А то людям сказать стыдно...» Что стыдно, было не ясно, но именно неопределенность обвинения ударила мать в сердце. Мы ведь боимся не того, что уже стоит на пороге, а того, что таинственно скребется, не имея лица. С тем, что есть, уж как-нибудь, туда-сюда разберемся, а там, где нам ставят три точки и на что-то намекают, – все. Сердце такого может не выдержать. Мать выписалась и примчалась к старшей дочери,

Лилька прописала ее в два дня, явилась к Минутко-Секундо и шлепнула его по рыжей пятнистой лапе материнским паспортом.

– Нас четверо, – сказала она. И боком потерлась о рукав начальника, как бы подбадривая его совершить традиционную шалость.

Лилька получила вожделенную двухкомнатную квартиру, перекрасила кухню, отциклевала пол, врезала глазок, а однажды, сидя с матерью перед телевизором, сказала как бы между прочим, что теперь мать может вернуться к Астре.

А матери так понравилось жить в большом городе. Пять минут – и ты на набережной главной речки России. Вода в ней то отдает фиолетом, а то зеленью, густая такая вода, как настойка пустырника, и пахнет пьяно, не сказать чем, каждый раз по-разному. То разрезанным пополам грибом, то сохнувшей после зимы бочкой, а бывает и спермой, от этого запаха у матери возникали молодые и забытые чувства, и ей виделся то беглец с крыльца, то канувший в войну специалист по силикозу, но несомней всего возникал недавно умерший третий муж-бычок, который был хорошим человеком, что там говорить! Взял ее с двумя девками и даже не задумался. И когда у этой дуры Лильки случился аборт в десятом, успокаивал и жалел и мать и Лильку, а мог бы и выгнать девчонку, люди бы поняли. Такие люди понимают всегда.

Но умер... Болел несильно, кашлял, и на тебе – воспаление легких, и на тебе – осложнение, и на тебе – нет человека.

Тут же, в большом городе у реки, мать, что называется, отошла душой и приготовилась жить еще долго-долго, а Лилька качнула ногой и так, как бы между делом, предложила вернуться к Астре.

У Астры же в тот период возьми и случись шанс.

Объявился работник оresa, вдовый дядька, приезжий, местными связями не опутанный. Пришел шить себе костюм из ткани заказчика. Сестра шупала ткань – «дрек» (в смысле барахло), а не ткань. Глаз не поднимая на клиента, она пыталась по трубам штанин выяснить глубину личности заказчика, но картина в голове не складывалась, требовала расширения обзора, и Астра подняла глаза и увидела очки, что, конечно, не стало вдохновляющим открытием.

На этом историческом моменте и вернулась мать. Вся обиженная, вся во внутренних слезах. Вот тут-то и возникает подспудно, всплывает, как Поэтому Астра пишет гневное письмо Лильке и покупает матери (выписанной из домовой книги) обратный билет.

На процессах переезда – мать приехала «к старшенькой», а у той для нее уже билет обратный – она стала скукоживаться. Было в матери, еще хорошо, как выясняется, помнящий запах спермы, добрых семьдесят пять кило, а усохла до шестидесяти. И никто – никто! – этого не заметил. Даже она сама, перекручивая в который уж раз резинку в сползающих рейтузах, думала о качестве галантереи, в которую «забыли положить» главное – резиновую нитку, на усыхание же собственного тела внимания не обратила. У всех пламенем горела душа, до плоти ли было!

А тут случись... Лилькин четвертый муж (не Майкин отец, отчим) – ничего на это не указывало заранее! – собрал вещички, трусы к трусам, рубашки к рубашкам, в полиэтиленовый пакет (редкость по тем временам), набил комочки носков, громко хрустнули коленом и ушел. У Лильки в голове случился ступор, потому что она была убеждена: она хорошая, можно сказать, замечательная жена. У нее чистота и порядок, у нее заработок не ниже мужнего, у нее супы и борщи – закачаешься, не говоря уже про специфические женские умения. Предыдущих мужей она бросала сама, Майкин отец в свое время чуть умом не тронулся, когда она его бросила. Она всегда была такая: если хотела, то брала, если очень просили – давала, не смущалась пребыванием в тамбуре там или в фотолaborатории или даже торжественным собранием в честь... Итак, развод. И мать при нем особенно лишняя. Не надо ей видеть! Не надо! Как бы гуманная позиция.

А на другом конце – свадьба. Тоже не повод вторгнуться и поселиться жить. Мать в сердечном приступе (предположительно) ссадили с поезда на полустанке, не подумав о длине перегона. Какая «скорая» поедет в чистое поле по колдобинам и выбоинам? Люди же, которые ссаживали, мысли имели хорошие: случись окончательный исход, все равно придется выносить на ближайшей станции труп, так лучше вынести еще живенькую старушку, которая на земле, без поездной качки, может и оклематься, задышит воздухом простора, а не духотой плацкартного вагона. Ведь старики живес всех живых.

Мать вынесли и посадили на травку, как ребенка. Спину ее оперли на столбик шлагбаумного цвета. Все сказали: смотрите, как ей тут хорошо. Она тут отдышится. Посадите ее потом на вечерний скорый. И чемодан поставили рядом. И сумку с документами. Прав-

да, двести рублей, которые там лежали, вытащили, когда искали паспорт заболевшей. Дело простое, естественное: когда лежат деньги, как же их не взять?

Дочки долго ничего не знали. Астра думала: мать осталась у сестры. Сообразила, мол, та, что не время матери возвращаться. А Лилька думала: обиделась мать и не отписывает. А ей сейчас это и годится: надо соскрести себя со стен, чтоб жить дальше.

Так удачно появился гость из Москвы, из ЦК комсомола, классный такой мужчина, с которым было и легко, и просто. Пробегая пальцами по тутому Лилькиному животу, без единой жириночки, замирая ими же над пупочным кратерком, Леня (для остальных – Леонид Всеволодович, но Лилька сказала: не то у нее здоровье – такие отчества выговаривать) пообещал: – Я тебя заберу в Москву. Разбазаривание кадров – держать тебя здесь. Но надо быстро. До сороковника.

И не соврал. До того как переехать в Москву, были поминки по матери на территории Астры, и случился жуткий скандал, сестры чуть не убили друг друга. И если бы не Майка, которая стала вопить, могли бы и покалечиться. Обе были сильные и цепкие. Но унялись и поминки уже делали в четыре руки. Странные поминки на семнадцатый день смерти в отсутствии могилы. Столько именно времени потребовалось, чтобы найти родственников уже законанной там же, на полустанке, покойницы, которая тихо отошла в чистом поле. Последние ощущения матери – вытягивающиеся в длину, вдаль, ноги. Она смотрела, как все дальше, на большой скорости убегали от нее ступни ног, уже где-то там, ближе к горизонту, виднелись прюнелевые туфли, сохранившиеся еще от послевоины. Мать тянула к ним невероятно короткие руки, и на этом странном действе, действе-попытке придать себе привычные соразмерные формы, мать и отлетела, не подумав ни о чем таком значительном, какое полагалось бы, если б сообразить.

Поминки прошли, и слава Богу. О матери старались не говорить. Уже ее нету. Все. Какие тут могут быть разговоры? На самое дно положили сестры то, что они втайне друг от друга считали своей виной, но называли вину иначе – обстоятельствами. На поверхность же была извлечена и всячески обнародована мысль – как знамя: мать должна быть там рада перемене участи дочек. Одна в столице на хорошей работе и в хорошей однокомнатной квартире.

Другая снова в замуже. Они так и лежали где-то там на тарелках весов – Москва и замуж – и находились практически в равновесии. Временами колыхнутся чаши, то одна перевесит, то другая. Но это было такое время – время не до конца определенных ценностей.

Сестры старели. У Астры обнаружилась стенокардия, осложненная непредсказуемыми аллергическими реакциями то на одно, то на другое. У Лилии Ивановны стали болеть придатки и прочая женская мелочевка. Сказалось ношение капрона в ветреные зимы, потому что Лилия Ивановна всю жизнь следила за красотой нижнего белья как решающего момента в делах и начинаниях.

С сестрами случилась еще одна не замеченная предвидением вещь. Выросли дети. Еще вчера – Жорик, Масчка, деточки, сынуля и доча, а они уже вон какие. У Жорика – баба с семилетним дитем, он к ней бежит каждую ночь. У Майки – парень кудрявый, статный и бравый, из команды КВН. Такой веселый и находчивый, что Масчка подзалстела с ним, как и ее маменька. Девочка вторжения острослова-кавээнщика, считай, и не заметила.

Маечка родила Димочку. Однокомнатная квартирка, в которой все элегантно стояло по стеночке, где два дивана вытягивались на ночь вперед ножками, а днем их подбирали, растянулась, как старая вязаная кофта на локтях и запахе. Та же, считай, кофта, но уже, получается, на выброс. Где там стеночки, где подобранные ножки диванов-кроватей. Кавээнщик, радый месту, спал на одном. Майка на другом. Промеж ними детская кроватка. От стены к стене натянули лесочки для пеленок. Время той новой музыки – по нынешним временам просто пещерное. Оно не знало одноразовых радостей памперсов, оно ставило ведерную кастрюлю на газ, круглые сутки в ней кипели кашкинские подгузники. И дышала всем этим Лилька, которая жила теперь на кухне.

Естественность переселения привела ее в шок уже потом, через некоторое время, когда она, лежа на раскладушке, вдруг обнаружила над собой смятый сыростью потолок. Он странновато рябил по ночам, освещенный уличным фонарем. Казалось, на нем проступали некие письма, которые не давались пониманию.

Надо было срочно что-то делать. Но даже залетно не возникала мысль, что должен что-то предпринять статный и бравый кавээнщик. Он улыбочиво переступал раскладушку, на которой лежала Лилия Ивановна, не сердясь на нее за то, что та расплзлась на

дороге к чайнику и к форточке, в которую он курит. Он, можно сказать, благородно принимал чинимые тещей неудобства его жизни. Он был широк и не обужен, он был вполне коммунальное дитя, но Лилька-то – нет!! Даже общежитие в ее жизни имело два окна, просвет для трюмо и желтенький (как трогает сердце!) краник, и все это было на двоих! Потом с жильем у нее все было лучше и лучше, потом стало совсем хорошо, когда прописали маму... Царство ей небесное, она их не ущемила. Ушла себе спокойненько... Так было вычерчено в памяти дочери: мать ушла на тот свет без болезней, можно сказать, на ходу. Всем бы такую смерть... Праведница...

Лилька стала отхлопывать большую квартиру, вписала зятя, написала слезницу в профком... Не первая и не последняя на этом пути. Майка сказала:

– Лучше выйди замуж. Ну, дадут нам две комнаты... Три-то все равно не дадут.

Со Свинцовым жизнь не получалась. То есть все было как бы в порядке, но чего-то важного не было. Лилька не могла понять: чего? Тут для понимания не мешало бы перейти на сторону Свинцова. Тогда кое-что станет понятным. Дело было в философии. Так-то... Свинцов не мог смириться с разрушением в нем этической конструкции, которая вполне вкладывается в сегодняшний рекламный слоган: «Река – Волга. Поэт – Пушкин. Журнал – “Огонек”. Жена – одна».

Потрясением того времени были «Унесенные ветром». Лилька благодаря издательской деятельности сумела прочитать книгу даже раньше других. И была сражена простотой мудрости: о плохом, трудном – не надо думать сразу. Отложить на потом, плохое может и отсохнуть! Может! Она же знает про это. Как и Скарлетт. И она не стала думать, где прописана, не стала брать в голову родственный – якобы! – обмен.

Получалось, что она берегла силы для наиглавнейшего потрясения той ее жизни, которое, как всякое истинное потрясение, не оказывает себя раньше времени. Не высылает оно вперед гонцов предупреждения, не машет издали платочком – вот оно, мол, я, вот! Как всякое уважающее себя потрясение, оно нисходит сразу на голову, на плечи, оно только ему известным ударом – снизу и вверх – пронзает сердце, и кричи потом открытым ртом, кричи!

После похорон Лилия Ивановна спала почти двое суток. Конечно, очень многое на себя взял сын Свинцова, и она подумала, что не

успела полюбить пасынка раньше, а получилось, что сейчас как бы и не время. Но лучше поздно, чем никогда. Она ведь помнила, что жила всю жизнь не прописанной, но кто ж не знает, что она – законная жена уже десять лет как... Она быстро пропишется, потому что паспортистка живет в соседнем доме, сами собой у них случились отношения в отделе продуктовых заказов, когда кило гречки стоило особых связей. Проспав после поминок почти сорок часов, Лилия Ивановна стала собирать документы и наткнулась на папку, в которой была и приватизация, и завещание, и письмо ей. И не то что это все было спрятано, нет. Все лежало в нижнем ящике письменного стола, где хранились разные отработанные бумажки, счета на квартплату, квиточки о междугородных переговорах, гарантийные талоны на то и се. Палочка лежала во всем этом. Откроешь ее – и сразу грамота ЦК КПСС, тут же и закроешь, но под ней-то все и было. Убийственное. Конечно, можно от этого умереть. И Лилия Ивановна даже уж не хотела читать письмо, которое, по всей вероятности, должно было ей что-то объяснить. Хотя разве это можно объяснить? Но тем не менее, сделав вдох и выдох, она вынула страничку, написанную уже тяжело больным почерком, с прерыванием букв, их недорисовыванием. Как будто письмо не писалось, а выклевывалось клювом. «Лилия Ивановна! Я знаю вашу оборотливость, поэтому принял меры. Вам надо покинуть квартиру, в которую вы вошли как татаро-монгол. Мне удалось найти ваших мужей и взять с них показания на вас. Это на случай вашей недобровольности. Исчезните! Я проклинаю тот день, когда вы встретились мне на пути».

– Это посильнее, чем «Фауст» Гёте, – сказала она вслух, следя за тем, как где-то в глубине ее начинается великое оледенение, и вопрос недлинного времени – сковать ее в айсберг, торос или какую другую глыбу. Потом она поняла, что не это самое страшное. Самое страшное – это с грохотом обвалившееся прошлое, как если бы ты шел, шел, а за спиной вдруг взрыв и пламя, оборачиваешься – а там ничего нет. Пустота и дым, а ты на кромочке, все разверзлось у самых пяток, но каков гуманизм! Пятки остались на тверди. И тут же выясняется, что без того, что было позади, нет и того, что впереди, и идти некуда. Это уже не великое оледенение, это не просто ты – ледяная дура внутри себя, это что-то другое.

Когда Лилия Ивановна посмотрела на часы, то выяснилось, что с момента открытия папки прошло пять часов. Странное ис-

чезнувшее время на кромке провала. Ни мыслей, ни чувств, и застывающая от холода кровь.

Потом произошло включение. Она снова взяла письмо в руки. Оно так и лежало открытым. Она его свернула и обнаружила на обороте выклепанные буквы. Уже не письменные, плакатные. Буквы сложили слово: «ЛИ-МИТЧИЦА». Лилия Ивановна представила, как Свинцов волочил ноги к столу, возможно, когда она ездила в онкологический диспансер за рецептами. Возможно, она в тот момент моталась в конец города, где ей по заказу делали специальные подгузники. Свинцов признавал только русский самострел. Однажды он высказал ей мысль, что не завали нас Америка «ножками Буша», он вполне мог остаться здоровым. Он объяснил ей строительство их холодильников по принципу газовых камер, где нейтральные к политике куриные ноги подвергались особому опылению, которое тут убивает и калечит русских. «Мели, Емеля!» – смеялась Лилия Ивановна. Но не сердилась. Больной человек вправе молотить чепуху, она его отвлекает. И чем дурее чепуха, тем дальше она уводит от главного – болезни. У Лилии Ивановны было свое отношение к дури как таковой. Она наша национальная черта, думала она. Она часть замеса русского характера, притом немалая. Она наше горе и наше спасение. Дурь нам ниспослана. Она помогает не понять степень собственной катастрофы. Поэтому пусть! Пусть Свинцов сводит счеты с Бушем. Самое для него время. Очень спокойно, почти облегченно подумалось, что ей ничего не стоит разломать эту конструкцию, которая называется приватизация и заведение. Сладко подумалось, как она сметет это все с лица земли. Без напряжения вошли в верхний слой памяти телефоны, фамилии, должности. Как все будет просто!

Она набрала номер сына Свинцова.

– Слушай, Филипп, – сказала она. – я разобрала бумаги и нашла распоряжения отца. Я думаю, ты в курсе. Я съеду на следующей неделе, после девяти дней. Пока! – и положила трубку.

Телефон тут же стал звонить, она не сомневалась, что это сын, что, может, он приготовил какие-то жалкие слова, может, просит ее не прикасаться больше к вещам, может, еще что, но Лилия Ивановна трубку не брала. Она знала, что совершила глупость, что эта глупость на конкурсе красоты глупостей заняла бы первое место, но знала она и другое: рухнуло что-то большее, чем квартира, и обна-

ружилось что-то большее, чем, может быть, сама жизнь. Хотя что есть большее? Бог? Но нет! Бога оставим в покое. Воистину это тот самый случай, когда не Его это дело, не Его... Она еще не способна до конца сформулировать. Ее еще обдувает сзади бездна, а впереди у нее сумрак ничего. Красивая, сволочь, жуть.

Накануне пересзда Майки с сыном Лилия Ивановна произвела досмотр всех своих доспехов, отобрала те, что годились для прохождения службы, аккуратно, как всегда умела, сложила вещички в хороший легкий чемодан и скрипнула молниями. Дочь на порог – а мать с порога.

– Ты куда это? – занюхоненно спросила Майка. – Сейчас же привезут вещи!

– Живи, детка, – напевно ответствовала мать. – Живи! Ты же меня не спросила... А мне тут жить запаadlo...

– А где же ты будешь жить? – ничего не понимала Майка. Какая она у нее простодыра – дочь!

– Подробности письмом! – почти смеялась в ответ Лилия Ивановна. Была некоторая потасовка, когда Майка вырывала из рук матери чемодан, был тычок матери в дочерино тело («Боже! Что делаю? Что делаю?»), но Лилия Ивановна втащила в лифт, нажала кнопку.

– Ну и черт с тобой! Черт с тобой! – кричала и плакала в лифтовую шахту Майка. «Очень правильные слова. Самое то!» – думала летящая вниз Лилия Ивановна. Кто бы ей сказал, что на старости лет она будет способна на такой выбрык! Суть же заключалась в том, что у новорожденной Лилии Ивановны, так хорошо и грамотно планировавшей всю свою прежнюю жизнь, на этот раз не было никакого плана. Ей уже в эту ближайшую ко дню ночь ночевать было нигде. И уход ее был дурыю, другого слова не найти, но что тут сделаешь, если пришло время дури? Явление дури столы же закономерны и целесообразно, как пришествие наития гению. И еще неизвестно, что более матери-истории ценно.

Ужас охватил Лилию Ивановну на улице, сразу за дверью. Но не возвращаться же назад? По закону дури она шла вперед.

Ощущение себя нигде. Чемодан тяжел, сапоги неудобны. И ни один человек из другого двора не вышел сказать ей, дуре: «Кого ты зовешь, женщина?»

На станции она села в первую попавшуюся, электричку. С этой минуты Лилия Ивановна исчезла из поля зрения дочери, сестры, издательства по шаманизму и разных прочих шведов.

А там, где была Астра, где она ожидала от сына важных, существенных слов, происходило совсем другое. Истекал срок пребывания матери у сына, а никаких намечтанных слов ею услышано не было. Астра не сомневалась: слова эти существовали в голове у Жорика, просто он не замечает, как быстро летит время, а им ведь многое предстоит обсудить до того, как она поедет в последнюю поездку на свою первую (эта, конечно, вторая, хотя и первая по глубинной сути) родину.

Как-то на большой лоджии, где только у ее детей ничего не росло и не завязывалось, она сказала невестке, цепляющей мокрые детские футболки: – Я потом здесь все посажу. Я завью вам зеленую солнечный бок, где палит. И столик белый купим, со стульями. Как у тех... – И Астра ткнула пальцем в соседнюю лоджию, где под ярким зонтом стоял балконный гарнитурчик.

Невестка замерла с вытянутыми вверх руками, по ним вниз, под мышку, стали наперегонки скатываться капли с плохо отжатых футболок.

И еще у невестки слегка открылся рот, и в нем – было видно – дрожал почему-то желтый язык. Видимо, от экзотических фруктов, которые та ела корзинками.

Нет, невестка ничего не сказала. Шумно выдохнув, она закрыла рот и в один миг прищенила белье.

Вечером Жорик спросил мать, что она хочет, чтоб они ей купили в память о поездке. Именно так, четко было проартикулировано. Память о поездке. Рапан там с надписью «Привет из Хайфы!», сувенирные стеклышки с волнистыми линиями, изображающими море, и белыми пятнами облаков, на которых млеют какие-то неведомые слова.

Значит, и ей. Астре, полагался израильский рапан и никаких слов? И больше никаких слов?!

– В следующий раз приедем уже мы, ~ затараторила невестка, – еще не на следующий год, но потом...

– У отца какой размер? – перехватил мелодию разговора Жорик. Это она? Астра, настояла, чтоб сын называл Николая Сергеевича отцом. Но сейчас ее это почему-то параннуло. Может, каким-то неведомым путем пришло к ней знание о соприкосновении двух рук на клеенке под вишней – руки хранительницы музея и руки ошущенного как бывший мужа? А может, было другое? Просто Астра

засобиравалась в неведомую дорогу, еще не осознавая, что это за дорога и куда она ведет.

Она вскочила, что-то залопотала про то, что хочет пройтись. Она стала фальшива и неестественна, но ни Жорик, ни невестка этого не заметили. Суетится перед отъездом старуха – подумаешь! К тому же сама она ощущала в себе странную горе-радость побега. Оказывается, горе-радость гнездилась где-то глубоко, и, видимо, гнездилась всегда, а вот сейчас взяла и расщеперила смятые, волглые крылышки и норовит взлететь, норовит взмыть эта ее птица побега.

Таким вот образом и оказалась Астрада на тахане-мерказит, по-простому – на автобусной станции, где можно было сесть на длинную лавку, а спиной прижаться к бетонному столбу. Очень хотелось вытянуть ноги, и она подняла их на свободное место. Подняла и удивилась, как далеко от нее оказались детские носочки на ее ногах, в какой-то такой необозримой дали, что ей теперь до них как бы уже и не добраться никаким живым путем.

Стремление на могилу Астры стало ее манией.

Поездка на ту могилу закрывала для Марии какие-то внутренние пустоты. С точки зрения ходового здравого смысла это, конечно, дурь. Но при чем тут смысл? Более того, отодвигание здравого смысла в сторону – посторонись, дескать, – и было главным в поездке. Поди ж ты, какая чушь! Но с некоторых пор все больше краешком ума касаешься этой весьма небогоугодной идеи – не эта ли последняя, что на букву «ч», и движет солнце и светила? Крутись они от другой буквы, стало бы с людьми то, что стало?

За три дня до отъезда Жорик отправил Марию на экскурсию в Иерусалим. Мария обрадовалась, но сильнее взволновалась.

С ощущением робости вступила она на землю Древнего Города. И первое, что почувствовала, – жар. Город входил в ее ступни внутренним огнем.

Так же теплом и покоем входил в нее Иерусалим. Дальше начиналось странное, чудное, хотя странным и чудным это все-таки не было. Все было естественным, как согревание после мороза. Она узнавала Иерусалим нутром. И еще она его угадывала. Так она признавала сразу храм святой Анны, бабушки Христа.

Хотя смешно сказать – признала. Что, она подозревала о его существовании? Что, она хоть раз подумала о том, что у Божьей

Матери, к которой она всегда тайно обращалась, – а к кому же еще? – была своя мама? И существовала какая-то их человеческая жизнь, и была она, видимо, бедная, видимо, с болезнями – а какая же еще?

Оказалось, есть храм Бабушки.

Мария плакала, размазывая слезы, а те не кончались и не кончались. И это совсем сбивало с толку – существование ее абсолютно живых и мокрых ладоней. Разве там плачут?

– Бот отрет, – услышала она голос и совсем заполощилась оттого, что ее застали врасплох.

Она увидела большие босые ноги во вьетнамках. Боже, как она их ненавидит, эти вьетнамки. Ее ступни всегда сползали в них во все стороны, а пальцы жалко цеплялись за перемычку. Поносив их один день, она сказала: «Никогда! Никогда в жизни!» Ноге же, возникшей перед ней, было в них хорошо. Длинные пальцы без следов мозолей и потертостей красиво и спокойно стояли на оранжевой резине. Ногти без заусениц чуть поблескивали.

Она подняла голову и увидела балахон, достаточно мятый и явно плохо отстиранный – это когда у стирающей женщины не хватает ума и понятия потереть материю между фалангами пальцем до скрипа чистоты. Стирка же абы как уже на другой день не имеет вида.

– Соломон, что ли? – тихо, скорее себя, чем незнакомца, спросила Мария, напуривая глаз на мужчину.

Он вполне был ее возраста. Тридцать седьмой – тридцать восьмой год рождения. Красивый старик с чувственными губами.

Сейчас она думала об одном: повести себя правильно она упустила женщин, она не упустит Соломона.

– Я пришла специально, – быстро сказала Мария.

– Зачем? – спросил он.

Она не знала, что говорить дальше. И снова заплакала. Но ей не хотелось, чтобы он видел ее слезы, поэтому она быстро – раз-раз – промокнула их пальцами; но пальцы были сухими.

И уже кричит криком.

– Перенеси меня как-нибудь на родину, – просит она, – на любое место, хоть в чистое поле. Хочу в свою землю. Она меня примет и глупую.

– Сама уйдешь. – сказал он и протянул ей руку, сухую и сильную. Всталось легко. Даже коленки не скрипнули.

Она стояла на дороге. Она ощущала свое тело. Мягкое и теплое.

Вопросы

1. Какой тип женщины представлен в образе главной героини романа?
2. Способы выражения авторской позиции.
3. Какие характерные приметы времени? Как они выражены?
4. Как раскрывается мысль о разрыве связи поколений?
5. Функция заключительной главы в структуре романа. Образ Марии и ее роль в системе героев.
6. Какую функцию в повествовании выполняет исторический экскурс?
7. Какая эпоха отражена в романе?
8. Как сложилась судьба Лильки?
9. Как сложился жизненный путь Астры?
10. Какие жизненные принципы Лильки оказались несостоятельными и почему?



Писателю и журналисту Сергею Шаргунову 30 лет. Выпускник МГУ, по специальности журналист-международник. Лауреат Государственной премии Москвы, а также премий «Эврика!» и «Дебют» в номинации «Крупная проза».

Повесть «Ура». – М.: ЭКСМО, 2003.

Origin: <http://fuego.front.ru/bibliobig2.htm>

Лауреат премии «Дебют» – 2003. «Новый Мир» – 2002, № 6.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРИКА

Происхождение «ура!» – тюркское. Переводится: «Бей!» Это «ура!» меня с детства занимало. Яростное, как фонтан крови. В этом слове – внезапность.

Короткое, трехбуквенное. Все же захватчики принесли нам простор и поэзию.

Мистика простоты. Заряд энергии. Есть слова, которые выплескиваются за свои пределы. Больше и шире, чем слова! Вязко шевелящийся «х...» заставляет себя писать на стене и в тетради. Никуда не убегает. Не вымарать и «ура!». Звуки-инстинкты. В них магия жизни. «Х...» – розовато-сизый, хриловатый. А «ура!» – атакующе-алое. «Ура-а-а!» – и в ушах сразу гложет, хохочут кровавые тельца, сердца – скачок! «Ура!» не стормозит, оно летит, бьет на лету! Хрустящая сердцевина арбуза, блик солнца на водной ряби и удар в мясо, в кости. отрывание жизни!

Страшно, когда на тебя орут: «Ура!», темнеет в глазах, и улетаешь, лишь бы не навалились темной массой, не придушили.

Преподавательница музыкальной школы Валя, всю жизнь переживающая краткий роман с Бродским, утонченное нервное создание... На нее в подъезде набросился насильник, придавил к стене, расстегивая ширинку. Потрясенная, она вдруг выкрикнула: «Ура-а-а!» И... сама как вострому дуло, только дверь подъезда хлопнула.

Салюты омыают небо, и рвется из глоток вопль. Однажды под гром праздника юная компания окружила мелкого японца.

– Не, а какие твои пацанские попятня? – наставляли они.

Подростки были возбуждены, то и дело они отвлекались от японца, чтобы вбросить в воздух очередную дозу: «Ура!» Японец обморочно улыбался, по лицу его скользили разноцветные отблески. К концу салюта он потерял сознание.

Для скольких этот звук был последним в жизни, сколько душ впитал он в себя. Бежали слепо, цепляясь за свой же крик, и получали пулю, кроваво давясь криком. На войне все кричат: «Ура!» Из отчаянного командирского зова вырастает общий хор, ветвистое могучее дерево. Я предлагаю вам новый Миф. Миф о Древе Ура. Золотистая крона гудит и шепчется над полями войны.

Корни костистые, плоды красные и кора... Толстенная кора!

МОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Какое-то время я был ко всему равнодушным. Только наркодилерша меня занимала. Все силы из меня высасывали мысли о ней. Как я мог так жить? Ведь имя «Алиса» – гадко. Липкий клочок помидорины из горячего борща. Алиса... Я спал тяжким сном и прижимался к клочку помидорины, и клочок запеловывал сквозь сны.

И вставал я поздно.

Однажды меня разбудили нанические звуки. Девчачьи выкрики: «Гори-им!», а вместе с ними – чавканье и гарь. Я выглянул в окно. У самого основания дома, из подвала выбивался пухлый оранжевый клоч. Огонь лизал ускользающие окна и балконы. Дым спешил ввысь, мимо меня. Пламя трещало, кидало ворохи искр и кривые блики.

Но даже сонный, я ужаснулся своему поражению. Опять представился красочный случай, и я опять мертв. Я пытался огненно затрепетать, просиять в ажиотаже, испугаться, что пожар до меня достанет. Но хотел спать. Алиса меня кинула, и я был мертв. Предраассветные сугробы набухли у меня под глазами. И весь мир тоже отстранился. Лишь в самом низу мироздания выбивалось пламя. Взрывались стекла среди грязных потоков дыма...

Какая тоска. Неуклюже разворачиваясь на льду, прогремели пожарные машины. Яркие карамельки шлемов, кукольные прыжки пожарных. С чего бы они, как заводные, стали перекидывать одно и то же: «Давай! Давай!» Вместо мата у них этот возглас. Волочился вялый шланг, за него ухватилось несколько рукавиц. «А надо ли тушить?» – подумал я. И на мгновение мое сомнение передалось

пожарным. Они замедлили, растерянные. Но вот кто-то стряхнул наваждение – и снова понеслось:

– Леха!

– Андрюха!

– Давай!

– Давай!

Ударила серая струя, и затрясся тот, который держался за шланг первым.

Наутро траурный дом. На растаявшем от снега асфальте нагло блестели обугленные кучи. Жилы возбужденно сбились у подъезда. Прошло два года. Разлюбив Алису, я очевидно и резко переменялся. Сам бы тушить дом выбежал. Стал отвечать на сигналы реальности. Вообще-то я с раннего детства ощущал в себе тягу к правильному. Имел внутри стержень. Я героически сжимался весь, каменел мышцами, кожа лица натягивалась, и он, мой внутренний Шаргунов, проступал. Я – это он. И я им впредь хочу быть!

Я проникся красотой положительного. Почувствовал всю ущербность, всю неэстетичность и мелкую расчетливость распадenceв. Скукота с ними! Мало от них радости. Бери от жизни все – это не значит сколись и скурись... Надо волно свою тормозить, жизнь превратить в одно «ура!». Ура-мышцы. Ура-своя судьба. Ура-талант...

Но я не противник большинства. Общаясь с человеком темным, больше которого знаю, я всегда ощущал не превосходство, а стыд и не мог рта раскрыть. Что бы я ни изрек, все было неправдой. И еще одного я стыдился – других совращать своей тоской. Если знакомый парень вздыхал: «Все ужасно!», я начинал ему вымученно ухмыляться: «Да ты че? Нормально все». Лишь бы другие не вязли в грязных идеях! Лишь бы другие приняли жизнь.

Моя правда простая и поверхностная. Семья – это добро. И народ – добро. Бытие, оно своим овальным пузом навалилось. И навязало людям: укрываться стенами; строить государство; собираться в семьи и давать приплод. Огороды возделывать. Станками грохотать. Слава труду!

А что анархисты в тухлых косухах... Чего они могут? Напугать престарелую, толстобоко бредущую прохожую? Пукнут всем скопом, ну а она, ясно, напугается: «Ой, Господи!» Она нормальная.

Люблю нормальное. Закат над оледеневшим озером. Рукавицы. Шерстяные носки. Прозрачные сосульки.

А не терплю еще гуманитариев из задымленных подвалов-кафе. Ноют-ноют мелодии. Несвежие волосы свисают в кружки пива. Впалые щеки. Волосы касаются пены. Они бы хотели круглосуточного хэша, чтобы совсем отупеть, совсем размякнуть до состояния водорослей. И хлебать пиво, нудно обсуждая свою «проклятую» литературу. Еще базарят про деньги. И хищно вздрагивают на писк мобильных. А деньги им на что? Чтоб забить больше гнилых косяков, и больше пивной пены сглотнуть, и на десерт купить книжку давно сгнившего пидора Жана Жене...

– Приходи в следующую субботу. – Юноша скалит жеребьячи зубы. – Хэш подвезут. Отличный хэш!

На юноше глупая тряпочка. Травоядный...

Ладно, дуй свой хэш, вонючий, как горящая палая листва. Ну а если легализовать хэш? Как же наш народ и юная часть народа? Хэш убеляет мозги, никакого просвета. Мозги – как школьная доска, закрашенная мелом. А у нас меры-то никто не знает. Тинейджеры от хэша заливаются хохотом и без покусываний совести пойдут мочить всех подряд! Пройдет подросток, хихикая, сплевывая и потрясая вырванным с мясом скальпом... Чьим скальпом? Да твоей прокуренной гривой!

Лучше умереть – отключиться сознанием и сгнить в земле, – чем гнить заживо и разную чушь гнать. Героям же смерть не страшна. За тело свое не тревожусь. Разъедание трупа червями – это явление недолгое. Будет опрятный, складный такой скелет. Плоть распадется, зазеленеют кладбищенские растения. Скелет останется. Аристократично, белая кость. Даже сейчас, оценивая свои речи и жесты, я не забываю про свой скелет. Белый в черных почвах. Сверху зеленый куст.

Стеклянные двери метро в красной и синей наклейках. Ближайшая красная: «ВХОДА НЕТ». «ВХОД» – предлагает синяя. Кругом пусто, и мне бы не задумываясь толкнуть красную. Но я делаю лишний шаг. К синей двери! Бездны идеологии разверзаются. Упрямо я толкаю синюю, ведь там «ВХОД». Правильный Шаргунов, бодрость сердца, четкость движений. Миную турникет под настороженным оком контролерши. Жужжит отработанная карта. Я метнул эту карту – в черную урну, не на стальной турникет, как многие, а в специальную урну... Придаться не к чему!

Плохо быть плохим. Хорошо быть хорошим. Какие красочные избитые фразы. Мне кажется, их слишком часто повторяли эти за-

коны жизни. Так часто, что они, нет, не просто истрепались, с них уже сорвана кожура, рыдают и кровоточат. Мокро блестят! Юные слова. От бесконечных повторов к ним вернулась первозданная свежесть. ЧУВСТВО ЛОКТЯ. ИМЕТЬ СТЕРЖЕНЬ. Я наслаждаюсь их звучанием. Слово ОТЗЫВЧИВОСТЬ всплескивает, как лужа под шинами авто... Отзывчивос-ть!

Никуда отзывчивость не убирается. Автобусная остановка. Женщина распласталась на брусках скамьи, высматривая что-то. Юбка задралась. Сел парень в кожанке, белесая шерстка волос.

– Я обмочилась...

– Чем обмочилась? – сухо спросил он.

– Мочой. Вся.

Она завозилась с пластмассовой бутылкой, потом протянула парню:

– Ты не откроешь?

Он безмятежно отвинтил крышку.

– Спасибо тебе, – говорила женщина, она вливала бутылку в рот.
– Хоть перед смертью наемся.

Парень кивнул.

«Чем наемся? – думал я, тепло на них коясь. – Что там за похлебка?»

Я горд, да, горд отзывчивостью своей натуры. У нас целый кусок Фрунзенской набережной был отрезан для военных. Сразу за моим сталинским со шпилем домом раскинулось Министерство обороны. Зимой я в белых вихрях гулял возле министерства. Река через набережную, замерзая, шла волдырями. Метель секла наотмашь солдата.

– Эй! – позвал он. – Слышь, малый, сгоняй в магбазин. Шоколаду купи...

Рот его запекся желтенько по углам. Как будто куриная слепота расцвела.

Солдат-дежурный.

– Какого? – Я растерянно напоминал.

– Да «Белочек» возьми штук пять...

Я бросился со всех ног домой, выпросил у мамы денег и – в магазин!

Я скакал к солдату сквозь залпы снега.

– Ну? – кричал он издали. Протянул оледенелую рукавицу, выхватил сласти. И отмороженными зубами впился в шоколад, роняя шелест упаковки.

Моя роль была исчерпана. Я от него удалялся, ветер вонзал в меня любвеобильные снежинки...

Пожалуй, надо еще про армию рассказать.

Их приводили в бетонную котельную. На свет из этой серой коробки смотрело окошко, забранное решеткой. Внутри – нестерпимо душно и сыро. Они были стройбат. Стройбат – звери в армии, им оружия не выдают, гласит анекдот, и лопатами справятся... С ними я, Маугли, с этими «зверями», завел дружбу. Песочница, где я игрался, была ровно напротив. Я перелезал ограду двора и заходил. Голые тела подставлялись под самодельный – поворачивался ржавый вентиль – душ, пар клубился, мат сплошной, целая орава мокрых солдат, а я расхаживал меж них. Их забрили ото всюду, с разных советских республик. Были желтые, коричневые, розовые. Мне улыбались. Потом они, одевшись, строились перед своей серой коробкой, и мы шагали под мякеным солнцем.

Солдаты звали меня «командир», и я действительно командовал их маршем и в такт помахивал рукой. Я-то, конечно, воспринимал это всерьез. Не знаю, искренним ли было их нежное ко мне отношение. Они отправлялись рыть какие-то траншеи. Я их оставлял и брел в песочницу.

Да, свою тень на наш дом отбрасывало Минобороны, но и вблизи подъезда № 2 дома был подвал, ступени вели вниз, там шили военную форму. Дети, мы забегали и видели девочек, согнувшихся над тканями под стрекот швейных машинок. Нас гнали негодующие голоса. А через двор, на Комсомольском проспекте, хмуро высились казармы... Там случались стрельбища, и таинственно распространились гильзы. Лучшая забава детворы, гильзы, заполонили песочницу, путаясь среди песка и песочных куличей. Попадались и боевые патроны. Их я взрывал, роняя сверху булыжник и теряя слух в миг сладостного грома.

С солдатами я виделся опять лишь вечером. Они отдыхали, за день утомленные. В любом случае я нес им пользу – конфеты нес, сыр, колбасу из родительского холодильника. Но не покривлю против истины, бутылку водки, которую они просили, я им из дома не вынес, побоялся.

В один из вечеров, когда они пили на моих глазах, я там и встретился с дедовщиной. Вспотевшие, прямо среди этой средневековой котельной принялись учить сослуживца. Щуплый азиат

какой-то. Полагаю, дело не в том, что он нацмен, – я сказал, были разные оттенки их мяса. Но на этого бедолагу пришлось пинки, тычки, и вот обратились ко мне: «Дай ему затрецину, браток!» Я помню черный загнанный его взгляд. Но я не хотел отставать. «Провинился», – решил я. «Не надо», – произнес он ломано, но тотчас был прерван чем-то вроде: «Че вякаешь?» Я подошел и под дружный гогот шлепнул его по желтой скуле. Ужасно.

Пару раз я делил с ними их трапезу. Выковыривал тушенку из жестянки одной вилкой. Арбуз ел. С детства я был приучен к глупой брезгливости, но здесь я был с ними плоть от плоти, слюна от слюны...

Однажды приехал, урча, грузовик, и они запрыгнули в кузов. Все до единого махали мне, уезжая. Исчезли за поворотом. Разве тот азиат только и не махал. А так все. Моя армия. Я тоже им помахал.

Больше не было там никаких шаргуновцев. Туда вселились кошачьи семейства, и худая черная кошка юркала в решетчатое окно.

Вопросы

1. К какой плеяде писателей относится С.Шаргунов?
2. С каким манифестом выступили писатели «нового реализма»?
3. Какие литературные принципы отстаивают писатели «нового реализма»?
4. В чем кредо их творчества?
5. Какое значение молодые писатели придают крику «Ура!»?
6. Какие жизненные позиции писателей «нового реализма» выражаются через крик «Ура!»?
7. В чем смысл жизни у молодого поколения?
8. Раскрыть образ «положительного героя».
9. Каких писателей можно отнести к плеяде «нового реализма»?
10. Как соотносятся позиции автора и героя в повести С.Шаргунова «Ура!»?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдиев И. О Вен. Ерофееве. // Театр. – 1991. № 9.
2. Айзенберг М. Некоторые другие... Вариант хроники: первая версия // Театр. – 1991. № 4.
3. Баткин Л. «Как склеить историческую личность из гипсовых осколков?» // – М.: Москвитинский рабочий, 1989.
4. Баткин Л. Синяевский, Пушкин и мы // Октябрь. – 1991. № 1.
5. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М.: Худож. лит., 1975.
6. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990.
7. Битов А.Г. Мы проснулись в незнакомой стране: Публицистика. – Л., 1991.
8. Большев А., Васильева О. Современная русская литература (1970-90-е годы). – СПб., 2000.
9. Борхес Х.Л. Коллекция: Рассказы. Эссе. Стихотворения. Спб.: Изд-во Сев. – Запад, 1992.
10. Вайль П., Генис А. Страсти по Ерофееву // Книжное обозрение. – 1992. 14 февр. № 7.
11. Вайль П., Генис А. Цветник российского анахронизма // Октябрь. – 1991. № 9.
12. Вайнштейн О.Б. Постмодернизм: история или язык? // Вопросы философии. – 1993. № 3.
13. Васюшкин А. Петушки как Второй Рим? // Звезда. – 1995. №12.
14. Гараджа А.В. После времени: Французские философы постсовременности // Иностранная литература. – 1994. № 1.
15. Генис А. Лук и капуста: Парадигмы современной культуры // Знамя. – 1994. № 8.
16. Геопанорама русской культуры: провинция и её локальные тексты / Сост. В.В.Абашеев, А.Ф.Белоусов. – М.: Языки русской культуры, 2004.
17. Голлербах Е. Прогулки с Терцем // Звезда. – 1993. №7.
18. Дарк О. Миф о прозе // Дружба народов. – 1992. №5.
19. Ерофеев Вик. Памятник для хрестоматии // Театр. – 1993, № 1.
20. Забайкалов Л., Шапинский В. Постмодернизм: Учебное пособие. – М., 1993.
21. Заманская В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века: Диалоги на границах столетий. – М., 2002.

22. Иваницкая Е. Постмодернизм – Модернизм? // Знамя. – 1994. № 9.
23. Ильин И.П. Постмодернистская чувствительность // Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США). Концепции. Школы. Термины: Энциклопедический справочник. – М.: Интрада, 1996.
24. Кожин В. Жизнь в слове // Наш современник. – 1992. № 1.
25. Колядич Т.М., Капица Ф.С. Русская проза XXI века в критике. Рефлексии. Оценки. Методика описания. – М., 2010.
26. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: В 3 кн. – М., 2001.
27. Липовецкий М. Апофеоз частиц, или Диалоги с Хаосом: Заметки о классике, Венедикте Ерофееве, поэме «Москва-Петушки» и русском постмодернизме // Знамя. – 1992. № 8.
28. Липовецкий М. Закон крутизны // Вопросы литературы. – 1991. Ноябрь-декабрь.
29. Липовецкий М. Изживание смерти: Специфика русского постмодернизма // Знамя. – 1995. № 8.
30. Липовецкий М. Мир как текст: Вик. Ерофеев. Тело Анны, или Конец русского авангарда. Рассказы. – М.: Московский рабочий, 1989 // Литературное обозрение. – 1990. № 6.
31. Немзер А. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. – М., 1998.
32. Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. – М., 2003.
33. Немзер А. Дневник читателя в 2006 году. – М., 2007.
34. Нефагина Г. Русская проза конца XX века: Учебное пособие. – М.: Флинта–Наука, 2003.
35. Огрызко В. Изборник. Материалы к словарю русских писателей конца XX – начала XXI века. – М.: Литературная Россия, 2003.
36. Огрызко В. Кто делает литературу в России. – Вып. 1: Современные русские писатели. – М., 2006.
37. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. / Под ред. Н.Д.Тамарченко. – М., 2008.
38. Роднянская И. Движение литературы: В 2-х т. – М., 2006.
39. Руднев В.П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты – М.: Аграф, 1997.

40. Современная русская литературы (конец XX – начало XXI века): Хрестоматия: Учебное пособие / Сост. И. Скоропанова – М., 2002.
41. Скоропанова И. Русская проза конца XX века. – М., 2002.
42. Чалмаев В. Испытание надежд... Перестройка и духовно-нравственная ориентация современной прозы // Москва. – 1988. № 4.
43. Черняк М.А. Феномен массовой литературы XX века. – СПб., 2005.
44. Шмид В. Слово о Дмитрие Александровиче Пригове // Знамя. – 1994. №8.
45. Эпштейн М. После будущего: О новом сознании в литературе // Знамя. – 1991. № 5.
46. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX-XX вв. – М., 1987.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Виктор АСТАФЬЕВ	
Урок (из цикла «Затеси»).....	8
Заматерелое зло.....	17
Зачем меня окликнул ты?.....	19
Леонид БЕЖИН	
Калоши счастья.....	23
Леонид БОРОДИН	
Посещение.....	37
Юрий БУЙДА	
Одноногая жизнь одноногого мужчины.....	55
Михаил БУТОВ	
Свобода.....	66
Борис ЕКИМОВ	
Пиночет.....	83
Венедикт ЕРОФЕЕВ	
Москва-Петушки.....	98
Фазиль ИСКАНДЕР	
Жил старик со своею старушкой.....	104
Анатолий КИМ	
Остров Ионы.....	110
Владимир МАКАНИН	
Однодневная война.....	121
Юрий МАМЛЕЕВ	
Русские сказки: Сон в лесу.....	137
Ярослав МЕЛЬНИК	
Книга судеб.....	144
Марина ПАЛЕЙ	
Евгеша и Аннушка.....	158
Виктор ПЕЛЕВИН	
Жизнь насекомых («Инициация»).....	167
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ	
Время – ночь.....	179
Вячеслав ПЬЕЦУХ	
Государственное дитя.....	188
Валентин РАСПУТИН	
Дочь Ивана, мать Ивана.....	204

Дина РУБИНА	
На солнечной стороне улицы.....	216
Татьяна ТОЛСТАЯ	
Кысь («Слово»).....	246
Галипа ЩЕРБАКОВА	
Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом.....	256
Сергей ШАРГУНОВ	
Происхождение крика.....	272
Рекомендуемая литература.....	277

83.3(Рос=Рус)6

М86

Миркурбанов, Н.М.

Современный литературный процесс: русская проза. Хрестоматия / Составители: Миркурбанов Н.М., Хегай О.Ч.; Ответственные редакторы Балтабаев Х.У., Рахманов Т.Я. – Ташкент: MUMTOZ SO‘Z, 2012. – 284 с.

И. Хегай О.Ч.

УДК: 821.161.1

КБК 83.3(Рос=Рус)6

ISBN 978-9943-398-80-2

Научно-методическое издание

Редактор издательства: Махкам Махмудов
Корректор: Камола Болтабоева
Технический редактор: Бехзод Болтабоев

Издательство ООО «MUMTOZ SO‘Z»

Лицензия издательства АИ № 103. 15.07.2008
Подписано к печати 14.11.2012
Формат 60x84 1/32. Офсетная бумага. Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 17,0. Уч-изд. л. 17,75. Тираж 200.

Ташкент, ул. Навои, 69.
Тел: 241-60-33
E-mail: mumtoz_soz@mail.ru

Отпечатано в отделе печати
ООО «MUMTOZ SO'Z»
Ташкент, ул. Навои, 69.
Тел: 241-81-20